



Счастливая

Элис Сиболд

Книга о том,
как выразить невыразимое

Впервые на русском — дебютная книга Элис Сиболд, прославившейся романом «Милые кости», переведенным на сорок языков и разошедшимся многомиллионным тиражом по всему миру. В этом автобиографическом повествовании она рассказывает о том, как студенткой-младшекурсницей была жестоко изнасилована, как справлялась с психологической травмой и как, несмотря на все препятствия, добилась осуждения своего насильника по всей строгости закона. Уже здесь виден метод, которым Сиболд подкупила миллионы будущих читателей «Милых костей», — рассказывать о невероятно тяжелых событиях с непреходящей теплотой, на жизнеутверждающей ноте.

Элис Сиболд

Счастливая

Глену Дэвиду Голду

Уважая чужое право на личную жизнь, я изменила имена и фамилии некоторых участников описанных здесь событий.

В том месте, где я была изнасилована (это бывший подземный ход в амфитеатр, откуда артисты выбегали на сцену прямо из-под трибун), незадолго перед тем нашли расчлененный труп какой-то девочки. Так сказали полицейские. И добавили: нечего и сравнивать, тебе еще посчастливилось.

Но эта убитая девочка была для меня понятнее, чем широкоплечие здоровяки-полисмены и перепуганные однокурсницы. Мы с ней обе побывали в одной и той же преисподней. Обе лежали распластанными на сухой листве и осколках стекла.

Мне тогда бросился в глаза один предмет, валявшийся среди пыльных листьев и битых пивных бутылок. Розовый бант. Во время рассказа о замученной девочке до меня явственно доносились ее мольбы, точь-в-точь как мои собственные, и думалось: в какой же момент ее волосы рассыпались по плечам и кто сорвал эту ленту. Возможно, убийца, а возможно — чтобы хоть на миг остановить пытку, в надежде, что потом можно будет поразмышлять, не было ли тут признаков «пособничества нападавшему», — она распустила волосы сама, по его приказу. Этих подробностей мне никогда не узнать; даже не установить, принадлежала ли розовая лента той самой девочке или же попала в подземный ход случайно, вместе с мусором. Каждый раз при виде розовых бантов я буду мыслями возвращаться к ней. К девочке, доживающей последние минуты.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот что запомнилось. Губы кровоточили. Прикусила их, когда он напал со спины и зажал мне рот. А сам прошипел: «Будешь орать — убью». Я оцепенела. «Усекла? Вякнешь — зарежу». Я кивнула. Правой рукой он удерживал меня за туловище, лишая возможности двигать локтями, а левой зажимал мне рот.

Потом убрал ладонь.

У меня вырвался крик. Резкий. Короткий.

Я не сдавалась.

Он снова зажал мне рот. Ударом сзади, под коленки, сбил с ног.

— Кому сказано? Убью, сучка. На перо поставлю. Убью.

Ладонь снова ослабила хватку, и я с воплем рухнула на мощенную кирпичом тропу. Он, расставив ноги, громоздился сверху и пинал меня в бок. Я издавала какие-то звуки, но все без толку: выходил жалкий шелест. Это его разозлило, даже взбесило. Я думала уползти. Ступнями, обутыми в мягкие мокасины, пыталась защититься от зверских побоев. Но либо брыкала воздух, либо едва-едва задевала его штанины. Никогда в жизни не дралась, да и по физкультуре была хуже всех в классе.

Каким-то образом — сама не понимаю, как это вышло — ухитрилась подняться на ноги. Помню, я кусалась, толкалась, уж не знаю, что еще. Потом бросилась бежать. Будто могучий великан, он только протянул руку — и поймал меня за длинные каштановые волосы. Рванул что есть силы, и я упала как подкошенная. Первая попытка бегства сорвалась из-за волос, из-за моих длинных волос.

— Будешь знать, как рыпаться, — гаркнул он, и я начала молить.

Он полез в задний карман и вытащил нож. Я все еще трепыхалась, надеясь освободиться, и теряла сознание от боли, когда он клочьями выдирал у меня волосы. Подавшись вперед, я вцепилась обеими руками ему в ногу; он пошатнулся и едва не упал. Тогда мне было невдомек — это уж потом следователи установили, что именно в тот момент он выронил нож, который так и остался валяться в траве, рядом с моими разбитыми очками.

Теперь в ход пошли кулаки.

Он прямо остервенел то ли от потери ножа, то ли от моего упрямства. Так или иначе, предварительный этап завершился. Я лежала ничком. Он уселся на меня сверху. Пару раз ударил головой о кирпичи. Разразился бранью. Перевернул меня на спину и сел мне на грудь. Я бормотала что-то бессвязное. Умоляла. Тогда он сомкнул пальцы у меня на шее и стал душить. На миг я потеряла сознание. А очнувшись, встретила взгляд убийцы.

Тут я сдалась. Поняла: моя песня спета. Спротивляться не осталось сил. Он мог делать со мной что угодно. Вот и все.

Течение времени замедлилось. Поднявшись, он за волосы потащил меня на траву. Я корчилась и пыталась ползти, чтобы только не отставать. Как в тумане, впереди темнел подземный ход амфитеатра. По мере приближения этой черной хищной пасти меня обуял дикий ужас. Стало ясно: спасения нет.

Перед входом в тоннель была старая, примерно метровой высоты железная ограда, а в ней — узкий проход, через который протиснешься разве что боком. Он тащил меня за волосы, я все так же корчилась в попытках ползти, но при виде этой ограды лишилась

последней надежды: дальше была только смерть.

На какое-то мгновение я слабо уцепилась за основание решетки, но от грубого рывка пальцы разжались. Принято считать, что физическое изнеможение парализует волю жертвы, но я вдруг решила бороться дальше и всерьез — всеми правдами, неправдами и уловками.

Кто занимается альпинизмом или серфингом, обычно говорит: нужно слиться со стихией, чтобы каждая клеточка тела настроилась особым образом, но это трудно объяснить словами.

На дне тоннеля, среди битых пивных бутылок, прошлогодних листьев и всякого другого — пока еще неразличимого — мусора, я настроилась на этого негодяя. В его руках теплилась моя жизнь. Нужно быть последней дурой, чтобы утверждать: лучше смерть, чем изнасилование. По мне, лучше уж изнасилование — хоть сто раз. Впрочем, кому что.

— Вставай, — приказал он.

Я подчинилась.

Меня трясло. К страху и бессилию добавился холод; озноб не унимался.

Содержимое сумочки и книжного пакета полетело в темный угол.

— Раздевайся.

— У меня в заднем кармане восемь долларов, — залепетала я. — У мамы есть кредитки.

И у сестры — тоже.

— На кой мне твои баксы? — заржал он.

Я посмотрела на него в упор. Заглянула прямо в глаза, словно передо мной стоял разумный человек, с которым можно договориться.

— Только не трогайте меня, умоляю, — выдавила я.

— Раздевайся.

— Я — девушка.

Он не поверил. Еще раз приказал:

— Раздевайся.

У меня тряслись руки, пальцы не слушались. Тогда он схватил меня за пояс джинсов, а сам привалился к черной стене грота.

— Поцелуй меня, — велел он.

Он притянул к себе мою голову, и наши губы соприкоснулись. Потом еще раз дернул меня за пояс, чтобы крепче прижать к себе. Запустил руку мне в волосы и сгреб их в кулак. Задрал кверху мое лицо, уставился. У меня хлынули слезы и мольбы.

— Ну пожалуйста, — повторяла я. — Не надо.

— Заткнись.

Во время второго поцелуя он просунул язык мне в рот. Это не составило труда, потому что я не закрывая рта молила о пощаде. Тут он грубо дернул меня за волосы:

— Целуйся, кому сказано!

Выхода не было.

Получив желаемое, он отстранился и нашарил пряжку моего ремня. Но пряжка была секретом и так просто не поддавалась. Чтобы только он меня отпустил, чтобы ослабил хватку, я вызвалась:

— Я сама.

Он не сводил с меня глаз.

Когда я справилась, он рванул вниз молнию на моих джинсах.

— Кофту скидывай.

На мне была длинная шерстяная кофта-кардиган. Пришлось ее снять. Грубые пальцы забегали по пуговицам блузки. И опять безуспешно.

— Я сама, — повторила я.

Блузка с воротничком тоже опустилась на землю у меня за спиной. Как будто я сбрасывала перья. Или крылья.

— Лифон снимай.

Я повиновалась.

Он схватил их — мои груди — обеими руками. Тискал. Давил и расплющивал о ребра. Крутил. Думаю, излишне говорить, какая это боль.

— Не надо так, ну пожалуйста, — упрашивала я.

— Кайф: белые сиськи, — промышчал он.

После этой фразы они стали мне чужими: каждая часть моего тела, до которой он добирался, переходила в его собственность — губы, язык, грудь.

— Холодно, — простионала я.

— Ложись, — бросил он.

— Прямо на землю? — Дурацкий вопрос, только лишь от безнадежности.

Среди сухих листьев и бутылочных осколков разверзлась могила. Все мое туловище застыло — увечное, поруганное, неживое.

Вначале я просто осела на землю, но не спешила ложиться. Он без труда стянул с меня расстегнутые джинсы. Я кое-как пыталась прикрыть наготу (по крайней мере, на мне еще оставались трусы), а он придирчиво меня разглядывал. До сих пор помню, как этот взгляд лучом скользил в потемках по моей мертвенно-бледной коже. Под этим лучом оно — мое тело — вдруг сделалось гадким. *Уродливым* — это еще мягко сказано.

— Ну и мымра — попалась же такая, — фыркнул он.

Это было сказано с отвращением, это было сказано без обиняков. Осмотрев добычу, он остался недоволен.

Но не отпускать же.

Тут у меня лихорадочно заработала мысль: в ход пошла и правда, и ложь — нужно было его разжалобить. Показать, что я по сравнению с ним убогая и никчемная.

— Меня из приюта взяли, — зачастила я. — Даже родителей своих не знаю. Пожалуйста,пусти. Я еще девушка.

— Ложись давай.

Вся дрожа, я медленно распласталась на холодной земле. Досадливо сдернув с меня трусы, он скомкал их в кулаке и отбросил в сторону, куда попало.

У меня на глазах его расстегнутые штаны сползли до лодыжек.

Он лег сверху и начал совершать толчки. Это было знакомо. В школе мне нравился один парень, Стив, так вот, он проделывал то же самое, зажав мою ногу, потому что большего я не позволяла. Конечно, в таких случаях мне и в голову не приходило оголяться, и Стиву тоже. Он уходил от меня в расстроенных чувствах, зато мне ничто не угрожало. Родители всегда были дома, в другой комнате. Я внушала себе, что это любовь.

Как он ни пыжился, ему пришлось помогать себе рукой.

Я неотрывно смотрела ему в глаза. Боялась отвести взгляд. Думала: стоит только зажмуриться — и провалишься в преисподнюю. Чтобы остаться в живых, надо присутствовать здесь до последнего.

Он обзывал меня гадиной. Ругался, что у меня все сухо.

— Прости, прости, — повторяла я; сама не знаю, почему нужно было все время извиняться. — Я девушка.

— Не фиг пялиться, — буркнул он. — Зенки закрой. Чего трясешься?

— Я не нарочно.

— Вот и не дергайся, а то хуже будет.

Я сумела унять дрожь. Собрала все свою волю. Но мои глаза смотрели еще пристальнее. Его кулак заворочался у меня между ног. Пальцы — не то три, не то четыре — полезли внутрь. Там что-то лопнуло. Потекла кровь. Зато ему больше не было сухо.

Он оживился. Проявил интерес. Теперь во мне ходил, как поршень, целый кулак, а я старалась думать о другом. В мозгу крутились стихотворные строчки, выученные в школе: у Ольги Кабрал есть стихотворение, которое мне больше нигде не встречалось, называется «Кресло Лилианы»; потом вспомнилось еще одно — «Собачий приют» Питера Уайлда. Нижняя часть моего тела будто утратила чувствительность, а я вспоминала стихи. Молча шевеля губами.

— Кому сказано, кончай пялиться, — бросил он.

— Прости, — выговорила я. — Ты такой сильный. — Это был очередной заход.

Ему понравилось. Он стал наяривать с удвоенной силой. Мой копчик разбивался о землю. В спину и ягодицы впивались осколки стекла. Но у насильника что-то не заладилось. Точнее сказать не берусь.

Отстранившись, он теперь стоял на коленях.

— Ноги подними, — велел он.

Не понимая, что ему нужно, — у меня ведь не было ни любовного опыта, ни даже книжных познаний, — я задрала ноги вертикально вверх.

— Раздвинь.

Я и это сделала. Ноги не гнулись, они стали каучуковыми, словно у куклы Барби. Его это взбесило. Ухватив меня за икры, он дернул руками в стороны, едва не разорвав меня пополам.

— Вот так и держи, — распорядился он.

И все сначала. Засунул в меня ручищу. Принялся терзать груди. Рвал соски, лизал их языком.

У меня текли слезы. Я куда-то проваливалась, но вдруг слышала голоса. Шаги по дорожке. Смех парней и девчонок. По дороге из школы я видела в парке отвязную тусовку, которая праздновала конец учебного года. Мой мучитель, похоже, ничего не слышал. Нужно было пользоваться моментом. Я издала резкий вопль — и у меня во рту немедленно оказался его кулак. Неподалеку опять зазвучал смех. Он несся прямо по направлению к тоннелю, в нашу сторону. Улюлюканье, гогот. Разухабистое веселье.

Мы застыли; кулак лез мне в горло, пока гуляки не пошли своей дорогой. Их праздник продолжался. Мой второй шанс на спасение растаял.

Но насильника это сбило с толку. Он не рассчитывал, что дело настолько затянется. И предложил мне надеть *штаники*. Буквально так и сказал. Мерзкое словцо.

Я прикинула, что будет дальше. Меня трясло, но, по крайней мере, теперь казалось, что он насытился. Судя по количеству крови, его цель была достигнута.

— Ну-ка, отсоси. — Он выпрямился во весь рост, а я ворочалась в грязи, пытаюсь собрать одежду.

От пинка я сжалась в комок.

— Отсоси, я сказал. — Его рука приподняла пенис.

— Как это? — не поняла я.

— Что значит «как это»?

— Откуда мне знать? — выдавила я. — У меня не получится.

— Возьми в рот.

Я стояла перед ним на коленях.

— Можно хотя бы лифчик надеть?

Во что бы то ни стало нужно было одеться. Мой взгляд упирался в его мускулистые, волосатые, колоколом утолщавшиеся от колен ляжки и вялый пенис.

Безжалостные руки стиснули мне голову.

— Возьми в рот и соси.

— Как соломинку? — спросила я.

— Типа того.

Сначала пришлось взять его член в руку. Совсем маленький. Горячий, дряблый. От моего прикосновения он чуть дрогнул. Грубые руки дернули мою голову; я приоткрыла губы. Ощутила нечто на языке. По вкусу — то ли грязная резина, то ли паленая шерсть. Как могла втянула в рот.

— Да не так. — Он с досадой оттолкнул мою голову. — Ты что, не знаешь, как минет делается?

— Откуда мне знать? — сказала я. — Говорю же, я никогда этим не занималась.

— Вот сучка, — бросил он.

Придерживая безжизненный пенис двумя пальцами, он стал на меня мочиться. Короткая, резко пахнущая струя задела губы и нос. Его вонь — густая, неистребимая, тошнотворная вонь — липла к моей коже.

— Ложись, — скомандовал он. — Будешь делать, что скажу.

Я подчинилась. Когда он приказал мне закрыть глаза, я сообщила, что без очков все равно ничего не вижу.

— Чего затихарилась? А ну, говори со мной, не молчи, — потребовал он. — Вижу, ты и в самом деле целка. Я у тебя первый.

А сам опять навалился сверху и стал по мне елозить. Я повторяла, какой он сильный, какой мощный, какой добрый. Ему удалось немного возбудиться и проникнуть в меня. Повинуясь окрику, я обвила его ногами, и он стал толчками вбивать меня в землю. Целиком подчинил себе. Единственное, что осталось ему неподвластным, — это мое сознание. Оно не отключалось, а наблюдало и фиксировало все до мельчайших подробностей. Его лицо, все, чего он хотел, как я ему помогала.

До моего слуха опять донеслись шаги, но меня уже здесь не было. Насильник, пыхтя, протыкал мое тело. Таранил, таранил — а очередная компания как ни в чем не бывало шагала по дорожке в другом мире, где когда-то жила и я.

— Пяль ее во все дырки! — заорал кто-то у входа в тоннель.

По всей видимости, студенты бурно отмечали конец сессии; мне подумалось, что в Сиракьюсском университете я никогда не стану своей.

Весельчаки прошли мимо. Я смотрела насильнику в глаза. Была с ним.

Ты такой сильный, такой мужчина, спасибо, спасибо, я этого хотела.

И тут все закончилось. Получив удовлетворение, он разом обмяк. Я лежала,

придавленная его тяжестью. У меня бешено колотилось сердце. А в мыслях были Ольга Кабрал, поэзия, мама — да мало ли что еще. Потом я уловила его дыхание. Легкое, ровное. Он похрапывал. В голове мелькнуло: бежать. Но стоило мне под ним шевельнуться, как он проснулся.

Уставился на меня непонимающим взглядом. Потом начал каяться.

— Ты уж прости, — нудил он. — Моя хорошая. Не держи зла.

— Можно одеться? — спросила я.

Откатившись в сторону, он встал, натянул брюки и застегнул молнию.

— Конечно можно, — закивал он. — Сейчас помогу.

Меня опять затрясло.

— Да ты совсем зачоченела, — посочувствовал он. — Вот, одевайся.

Он держал мои трусы за верхний краешек, как заботливая мать. Когда ребенку только и остается — ступить в них сперва одной ножкой, потом другой.

Ползая по земле, я собрала вещи. Кое-как нацепила лифчик.

— Как себя чувствуешь?

Вопрос прозвучал неожиданно. Участливо. Но мне было не до размышлений. В голове стучало только одно: самое страшное позади.

Поднявшись с земли, я взяла у него из рук свои трусы — и едва не упала. Джинсы пришлось надевать сидя. У меня мелькнули жуткие подозрения. Ноги почему-то не слушались.

Он буравил меня взглядом. Стоило мне одеться, как его тон резко изменился.

— А ведь я тебя обрюхатил, сучка, — хмыкнул он. — Что делать будешь?

Я поняла: это повод меня прикончить. Чтобы не оставлять улик. Спасти меня могло только притворство.

— Умоляю, никому не говори, — зачастила я. — Сделаю аборт, вот и все. Только, пожалуйста, никому не говори. А то мать меня прибьет. Умоляю, — повторяла я, — чтобы только никто не узнал. Меня из дому выгонят. Пожалуйста, никому ни слова.

Он захохотал:

— Уболтала.

— Вот спасибо. — Блузку я надевала уже стоя; она так и осталась вывернутой наизнанку. — Так я пойду?

— Погоди-ка, — спохватился он. — А поцеловать?

Для него это было завершение любовного свидания. Для меня — новый виток ужаса.

Я его поцеловала. Кажется, у меня было сказано, что мое сознание осталось свободным? Вы и сейчас этому верите?

Он снова рассыпался в извинениях. Даже прослезился.

— Какой же я подлец, — твердил он. — А ты хорошая девочка, умница, не обманула.

Меня поразила эта слезливость, но в то же время испугала — еще одна непостижимая деталь. Чтобы не испортить все дело, нужно было тщательно выбирать слова.

— Да ладно, — выдавила я. — Все нормально.

— Нет, где ж нормально. — Он замотал головой. — Я кругом виноват. Ты хорошая девочка. Правду мне сказала. Уж прости меня.

В кино и в театре мне всегда были ненавистны подобные сюжеты: сначала женщину берут силой, а потом долго и нудно вымалывают прощение.

— Я не в обиде. — Что ему хотелось услышать, то и сказала. Лучше отдавать жизнь по

кусочкам, чем сразу.

Он встрепнулся. Будто впервые меня увидел.

— А ты красивая.

— Можно забрать сумочку? — Без спросу я боялась пошевелиться. — А книги?

Его голос вмиг стал деловитым:

— Говоришь, у тебя с собой восемь баксов?

Из моего заднего кармана он извлек сложенные банкноты. Между ними затесались мои водительские права с фотографией. В штате Нью-Йорк выдают права другого образца, не такие, как в Пенсильвании.

— Что за фигня? — спросил он. — Карточка на скидку в «Макдональдсе»?

— Не совсем.

Когда к нему попал мой документ, я похолодела. Он и без того отнял у меня слишком многое: при мне остались только мозги да личные вещи. Я надеялась уйти из тоннеля, сохранив при себе хотя бы это.

Прищурившись, он взгляделся получше. Фамильное колечко с сапфиром, которое поблескивало у меня на пальце, осталось без внимания. Побрякушки его не интересовали.

Ко мне вернулась сумочка, а потом и книги, которые в тот самый день мы купили вместе с мамой.

— Ты сейчас куда? — спросил он.

Молча я указала рукой.

— Ну, ступай, — сказал он. — Береги себя.

Я пообещала непременно себя беречь. Сделала шаг, потом другой. По дну тоннеля, через проход в ограде, за которую мои пальцы отчаянно цеплялись чуть более часа назад, по мощенной кирпичом дорожке. Путь домой лежал через парк.

Через считанные мгновения сзади раздалось:

— Эй, крошка!

Пришлось обернуться. Как здесь написано, я всецело принадлежала ему.

— Тебя как звать-то?

— Элис.

Язык не повернулся соврать.

— Ну, лады, — гаркнул он. — Еще свидимся, Элис.

И побежал прочь, вдоль цепного ограждения бассейна. Я отвернулась. Что задумала, то мне удалось. Я его уболтала. Путь был свободен.

Пока я дотащила до трех невысоких каменных ступеней, которые вели из парка на тротуар, мне не встретилось ни одной живой души. На другой стороне улицы находился университетский клуб. Я даже не замедлила шаги. Так и брела вдоль парка. На лужайке перед клубом было людно. Студенты расходились после вечеринки. У того места, где улица, ведущая к моему общежитию, упиралась в парк, я свернула в переулок и направилась вниз под горку, мимо другого, более внушительного общежития.

На меня то и дело устремлялись любопытные взгляды. Именно сейчас тусовщики расходились по домам, а «ботаники» выбирались на воздух — проветрить мозги перед отъездом на каникулы. Все шумно переговаривались. Но меня среди них не было. Голоса доносились откуда-то извне, а я, словно контуженная, замкнулась в себе. Время от времени кое-кто подходил поближе. Некоторые даже бросались на помощь, но, видя мою безучастность, шли своей дорогой.

— Что это с ней? — говорил один другому.

— Может, обдолбанная?

— Смотри: вся в крови.

Ноги несли меня под горку, мимо множества чужих людей. Те вызывали у меня страх. На высоком крыльце общежития «Мэрион-холл» толпились те, кто меня знал. Если не по имени, то хотя бы в лицо. В этом трехэтажном здании женский этаж находился между двумя мужскими. На крыльце собралась преимущественно мужская компания. Мне открыли входную дверь. Кто-то поспешил придержать внутренние двери. Все взоры устремились на меня; оно и неудивительно.

В холле за конторкой сидел дежурный. Из числа старшекурсников. Невысокий, серьезный с виду араб. После полуночи у всех проверяли документы. При моем появлении его как подбросило.

— Что случилось? — встревожился он.

— Документов нет, — выдавила я.

Мое лицо представляло сплошной кровоподтек, нос был разбит, губы изранены, по щеке текла одинокая слеза. На голове — колтун из волос и сухих листьев. Одежда вывернута наизнанку и заляпана кровью. Глаза остекленели.

— Тебе плохо?

— Мне нужно к себе, — сказала я. — А документов нет.

Он жестом разрешил мне пройти.

— Помощь не нужна?

На лестнице топтались парни. С ними было несколько девушек. В общежитии почти никто не спал. Я плелась к себе. В тишине. Под посторонними взглядами.

Пройдя по коридору, я постучалась в дверь к своей лучшей подруге Мэри-Элис. Никого. Постучалась к себе, надеясь застать соседку по комнате. Никого. Достучалась только до Линды с Дианой — они тоже входили в нашу дружную шестерку, сложившуюся в течение учебного года. Сначала эти тоже не отвечали. Потом дверная ручка повернулась.

Став на коленки в кровати, Линда не стала зажигать свет, а просто дотянулась до двери. Мой стук ее разбудил.

— Ну что там еще? — проворчала она.

— Линда, — выговорила я, — меня изнасиловали и чуть не убили.

Она так и рухнула в темноту. Попросту вырубилась.

Дверь — на пружине, как и все прочие двери в этом корпусе — громко стукнула.

Дежурный у входа, вспомнилось мне, предлагал помощь. Развернувшись, я стала спускаться по лестнице и опять оказалась перед его конторкой. Он вскочил.

— В парке меня изнасиловали, — призналась я. — Можешь вызвать полицию?

Парень в ужасе затараторил по-арабски, но тут же опомнился:

— Да-да, конечно, заходи сюда, пожалуйста.

У него за спиной была выгородка с застекленными стенами. Она пустовала, хотя считалась офисом. Дежурный предложил мне переждать здесь. Не найдя стула, я опустилась прямо на письменный стол.

Снаружи собрались парни, которые глазели на меня, прижав носы к стеклу.

Не знаю, сколько мне пришлось там торчать. Думаю, всего ничего: университетские здания — на виду, а больница в каких-то шести кварталах к югу. Полицейские прибыли раньше «скорой», но теперь уже не вспомнить, что я им говорила.

Меня уложили на каталку и пристегнули ремнями. Повезли через холл. Толпа собралась такая, что к выходу было не пробиться. Краем глаза я заметила, как дежурный, провожая меня взглядом, дает показания.

Кто-то из полицейских взял ситуацию под контроль.

— Освободить проход! — гаркнул он любопытствующим. — Потерпевшей требуется помощь.

Довольно долго оставаясь в сознании, я различала его слова. Пострадавшей была я. Толпа отхлынула. Санитары на руках снесли меня с крыльца. «Скорая» поджидала с распахнутой дверью. Когда водитель, включив сирену, рванул с места, я позволила себе отключиться. Уплыла глубоко внутрь себя и, свернувшись калачиком, отгородилась от всего, что произошло.

Меня без промедления доставили в приемный покой. Положили на смотровой стол. Пока санитарка помогала мне переодеться в больничную рубашку, рядом стоял полицейский. Это ее коробило; правда, он отводил глаза и листал блокнот, готовя чистую страницу.

Как тут было не вспомнить детективные телесериалы. Над моим неподвижным телом переругивались двое: служитель закона с места в карьер требовал показаний и изымал вещи в качестве улик, а санитарка промывала мне спиртом израненную физиономию и спину, приговаривая, что скоро придет доктор.

Санитарка запомнилась мне лучше полицейского. Она норовила вклиниться перед ним, чтобы загородить меня от его взгляда. Пока офицер вел предварительный допрос, фиксируя основные моменты в своем блокноте, она брала у меня пробы для экспертизы и не умолкала ни на минуту.

— Представляю, как он от тебя драпал, — говорила санитарка.

Беря соскоб из-под ногтей, удовлетворенно замечала:

— Хорошо ты ему морду попортила.

Наконец мы дождались врача-гинеколога. Это была женщина, доктор Хуса.

Она разъяснила сущность предстоящих манипуляций, и санитарка вытолкала полицейского в коридор. Я по-прежнему лежала на столе. Для расслабления мышц доктор собиралась вколоть мне демерол, чтобы потом произвести внутреннее обследование. Она предупредила, что инъекция может вызвать позывы к мочеиспусканию. Но придется потерпеть, продолжала она: для экспертизы необходимо взять мазки, не нарушая влагалищной среды.

Дверь приоткрылась.

— Тут к тебе посетительница, — оживилась санитарка.

Почему-то я решила, что это мама, и пришла в панику.

— Мэри-Элис, что ли.

— Элис? — донесся до моего слуха знакомый голос. Тихий, настороженный, ровный.

Она взяла меня за руку, и я сжала ее ладонь.

Мэри-Элис была настоящей красавицей: натуральная блондинка с изумительными зелеными глазами; в тот день она показалась мне похожей на ангела.

Доктор Хуса разрешила нам пообщаться, а сама стала готовить инструменты.

В тот день Мэри-Элис вместе со всеми ходила в соседнее общежитие, где по случаю окончания сессии была устроена грандиозная пьянка.

— Признай, что это я тебя отрезвила. — С этими словами я впервые за все время дала

волю слезам, а моя подруга сделала то, что было нужнее всего: робко улыбнулась, оценив мою шутку.

Ее улыбка стала первой ласточкой, прилетевшей на этот берег из прежней жизни. В пути эта улыбка исказилась до неузнаваемости. Лишилась примет блаженного дурачества, из которого в тот год рождались все наши улыбки, но все же принесла мне утешение. Мэри-Элис уже свое выплакала: ее лицо распухло и пошло пятнами. Она поведала, что Диана, которая, как и сама Мэри-Элис, была рослой девчонкой, схватила коротышку дежурного поперек живота, оторвала от пола и не отпускала до тех пор, пока тот не раскололся насчет моего местонахождения.

— Он не собирался посвящать в это дело никого, кроме твоей соседки, но Нэнси валялась в полном отрубе.

Я заулыбалась, вообразив, как Диана и Мэри-Элис держат на руках беднягу дежурного, а тот сучит ногами в воздухе, будто гном из мультика.

— У нас все готово, — объявила доктор Хуса.

— Побудешь со мной? — попросила я Мэри-Элис.

И она осталась рядом.

Доктору помогала все та же санитарка. Они то и дело принимались растирать мне бедра. Я требовала объяснений. Хотела знать, что со мной делают.

— Это не простой осмотр, — сказала доктор Хуса. — Я обязана взять мазки для экспертизы.

— Без улик того гада не прижучить, — уточнила санитарка.

Им требовались образцы лобковых волос: как срезанные, так и вычесанные; были обнаружены следы спермы и взяты мазки из влагалища. Когда я вздрагивала, Мэри-Элис еще крепче сжимала мне руку. Санитарка отвлекала нас беседой: расспросила, на кого учится Мэри-Элис, позавидовала, что у меня есть такая верная подруга, и заключила, что мои травмы подстегнут копов немедленно заняться этим делом.

— Сильное кровотечение. — В голосе врача сквозила тревога.

В какой-то момент доктор Хуса воскликнула:

— Ага, наконец-то чужой волос попался!

Она стряхнула лабораторный материал в подставленный санитаркой пластиковый пакетик.

— Отлично. По частям его расфасуем, — сказала санитарка.

— Элис, — обратилась ко мне доктор Хуса, — сейчас можно помочиться, а потом будем накладывать швы.

Мне помогли сесть на судно. Из меня била такая струя, что Мэри-Элис то и дело переглядывалась с санитаркой; всякий раз, когда им казалось, что фонтану пора бы иссякнуть, обеих разбирал смех. Облегчившись, я увидела, что в судне плещется не моча, а кровь. Санитарка поспешно набросила сверху полотенце:

— Нечего тут разглядывать.

С помощью Мэри-Элис я опять легла.

Доктор Хуса велела мне подвинуться вперед и стала накладывать швы.

— Несколько дней будет саднить, — сказала она. — Хорошо бы недельку полежать, если есть возможность.

Мой ум отказывался воспринимать такие категории, как несколько дней или неделя. Я жила только следующим мгновением, убеждая себя, что с каждой минутой мне будет легче,

что мало-помалу вся эта история бесследно канет в прошлое.

Полицейских я попросила не звонить моей матери. Не осознавая, какой у меня вид, надеялась скрыть это происшествие. Ведь мама даже в уличной пробке начинала сходить с ума. А уж известие о моем изнасиловании могло убить ее наповал.

После гинекологического осмотра меня привезли в ярко освещенное помещение с белоснежными стенами. Оно было напичкано диковинными устройствами для поддержания угасающей жизни; на идеальных поверхностях из нержавеющей стали и стекла играли слепящие блики. Мэри-Элис не пустила дальше приемного отделения. Новехонькая, сверкающая аппаратура привлекла мое внимание еще и потому, что я впервые осталась одна — с того момента, как был запущен механизм моего спасения. Лежа на каталке в одной больничной хламиде, я начала мерзнуть. Как будто меня положили в камеру хранения вместе с медицинскими приборами. Довольно долго туда никто не заходил.

Потом появилась медсестра. Я спросила, нельзя ли принять душ — в углу была душевая кабина. Женщина взглянула на закрепленную в ногах каталки табличку с диагнозом — я даже не подозревала о ее существовании. Можно только гадать, что там написали: не иначе как «ИЗНАСИЛОВАНИЕ» — по диагонали, аршинными красными буквами.

Я лежала пластом, часто дыша. Демерол сделал все возможное для расслабления мышц, но мое тело, облепленное грязью, так просто не поддавалось. На мне не было живого места. Хотелось отмыться от всего, что напоминало о *ней*. Залезть под душ и содрать кожу до крови.

Медсестра велела дожидаться психиатра, который уехал по вызову. И ушла. Прошло еще пятнадцать минут — они показались вечностью, потому что по мне расползалась липкая зараза, — прежде чем в палату ворвался всклокоченный психиатр.

Прописанный им валиум, как мне подумалось, не повредил бы и ему самому. Помню, я сказала, что не нуждаюсь в объяснениях — этот препарат был мне хорошо известен.

— Это успокоительное, — все же сообщил он.

На валиум подседа моя мать, когда я была еще совсем маленькой. Она вечно донимала нас с сестрой нотациями по поводу наркотиков. С возрастом я поняла причину такой озабоченности: напившись или обкурившись, ее дочь могла, чего доброго, отдаться любому прыщавому юнцу. Впрочем, во время этих нотаций моя строгая мать всегда виделась мне в уменьшенном, каком-то ужатом виде, будто ее колочки кто-то стянул сеткой.

Когда врач твердил, что валиум безобидный препарат, я не верила, хоть убей. Так ему и сказала, но он только фыркнул. Едва дождавшись его ухода, я выполнила задуманное — скомкала рецепт и бросила в корзину для мусора. У меня сразу отлегло от сердца. Вроде как послала подальше всех тех, кто считал, будто мою историю лучше спустить на тормозах. Уже тогда я предвидела, что получится, если меня станут щадить. Я просто исчезну с горизонта. Элис больше не будет — понимаете как хотите.

В палату зашла другая медсестра и сказала, что может прислать мне в помощь одну из моих подружек. Поскольку меня накачали обезболивающими, идти в душ одной было опасно. Я бы предпочла Мэри-Элис, да побоялась обидеть Три: соседка Мэри-Элис по комнате, она тоже входила в нашу дружную шестерку.

В ожидании ее прихода я размышляла, что скажу матери — надо же было как-то объяснить, почему меня клонит в сон. Мыслимо ли было представить — хотя врачи предупреждали, — что наутро меня будут терзать адские боли; что мои бедра и грудь, руки и шея сплошь покроются татуировкой разноцветных синяков; что по прошествии времени,

когда я буду лежать дома, у себя в комнате, нашее проступят все точки нажима: в центре бабочкой сомкнутся следы больших пальцев насильника, а горло обхватит цепь круглых пятен. «Убью, сука. Не смей орать. Не смей орать. Не смей орать». При каждом повторе вместо точки — удар затылком о кирпичи, и нажим все сильнее, и воздуха поступает все меньше.

По выражению лица Три, по ее испуганному всхлипу мне бы следовало понять, что шила в мешке не утаишь. Но она мгновенно взяла себя в руки и сопровождала меня в душ. Рядом со мной ей было неловко: раньше я была такой, как она, а теперь стала другой.

Очевидно, в первые часы после изнасилования меня подстерегал неминуемый конец; единственное, что помогло мне удержаться на плаву, — это неотвязная, нарастающая тревога за мать. Боясь, как бы моя история не убила ее на месте, я больше думала о ней, чем о своей беде. Эта тревога превратилась в спасательную шлюпку, на которой я то уплывала в небытие, то возвращалась в сознание, пока меня везли в больницу, осматривали, зашивали и собирались пичкать таблетками, некогда чуть не погубившими мою мать.

Душевая кабина располагалась в углу. Я ковыляла, как дряхлая старуха; Три меня поддерживала. Все мои усилия были направлены на то, чтобы не упасть, поэтому я не сразу заметила зеркало — на стене справа.

— Не смотри, Элис, — сказала Три.

Но во мне проснулся интерес, прямо как в детстве, когда меня повели в археологический музей Пенсильванского университета. Там, в особом зале с приглушенным освещением, экскурсантам показывали необыкновенный экспонат под названием «Синий мальчик». Это была мумия без лица — тельце ребенка, умершего многие столетия назад. Сейчас мне открылось нечто подобное: я сама чем-то напоминала «Синего мальчика».

Из зеркала смотрело мое отражение. Я принялась ощупывать раны и ссадины. Это и впрямь была я. Разумеется, никакой душ не мог смыть следы насилия. Нечего было и думать утаить правду от мамы. У нее хватало здравого смысла раскусить любую уловку. Она работала в газете и с гордостью повторяла, что ее на мякине не проведешь.

Выложенная белым кафелем душевая кабинка оказалась тесной. Я попросила Три включить воду.

— Погорячее, — сказала я.

Стянула и отдала ей больничную рубашку.

Чтобы устоять на ногах, пришлось ухватиться одной рукой за кран, а другой — за никелированную скобу. Толком вымыться оказалось невозможно. Помню, я сказала Три, что не отказалась бы от проволочного скребка, но и он едва ли мог принести облегчение.

Три задернула занавеску, оставив меня под душем.

— Помоги, а? — попросила я.

Она отодвинула занавеску на ширину ладони.

— Говори, что делать.

— Боюсь упасть. Можешь меня намылить?

Протянув руку сквозь водяные струи, она взяла большой кусок мыла. Провела им по моей спине, не касаясь руками кожи. В ушах зазвучало: «мымра»; это слово преследовало меня еще долгие годы, когда приходилось раздеваться в чьем-то присутствии.

— Ладно, — сказала я, не решаясь поднять глаза. — Сама попробую. Клади мыло на полку.

Она так и сделала, а потом опять задернула занавеску.

Я опустила на кафельный пол. Взяла небольшое полотенце, намылила. И стала тереть себя грубой тканью под горячей струей, да так, что кожа вскоре побагровела как свекла. Под конец накрыла этим же полотенцем лицо и обеими руками стала возить вверх-вниз, невзирая на кровоточащие ссадины, пока прямоугольник белой ткани не окрасился розовым.

После горячего душа я надела то, что сумели откопать в моих пожитках Диана и Три. Про нижнее белье они не подумали — я осталась без трусов и без лифчика. Пришлось довольствоваться старыми джинсами, на которых я сама еще в школе вышила цветочки, а когда колени протерлись до дыр, поставила прикольные заплатки из длинных лоскутов узорчатой шерсти и бутылочно-зеленого вельвета. Бабушка называла их «хулиганские штаны». К ним подруги подобрали легкую блузу в красно-белую полоску. Я надела ее навывпуск, чтобы по возможности прикрыть джинсы.

Горячий душ вкупе с инъекцией демерола возымел действие: в полицейское управление меня привезли в полубессознательном состоянии. Помню только, что на третьем этаже, у служебного входа, топталась второкурсница Синди, староста нашего общежития. Я была совершенно не готова увидеть такую жизнерадостную физиономию — символ американского студенчества.

Я прибавила в весе, но джинсы все равно были мне слегка велики, поэтому в то утро я надела мамину блузу-рубашку и бежевый кардиган крупной вязки. Так и хочется сказать: *полный отстой*.

Так вот: на первой «фотосессии», у Кена Чайлдса, я вначале позировала, потом посмеивалась, потом в открытую хохотала. При всей своей зажатости, я тоже поддавалась дурачествам. Взгромоздила себе на голову коробку изюма. Потом сбросила и принялась с умным видом изучать надписи. Задрала ноги на край обеденного стола. Улыбка, улыбка, еще улыбка.

На второй «фотосессии», в полиции, я — никакая. В том смысле, что меня там как бы и вовсе нет. Если вам доводилось видеть фотографии жертв, подшитые к уголовному делу, то вы, наверное, заметили, что снимки обычно получаются либо слишком светлыми, либо совсем темными. Мои вышли явно передержанными. В четырех ракурсах. Лицо. Лицо и шея. Отдельно — шея. Наконец, в полный рост, с учетным номером. В таких случаях никто не объясняет, насколько важны для дела эти фотоснимки. Доказательная база любого дела об изнасиловании в значительной степени строится на внешних признаках. Пока что два видимых признака были в мою пользу: свободная, непровоцирующая одежда и явные следы побоев. Добавьте сюда потерю девственности — и вам станет более или менее понятно, какие факторы учитываются в зале суда.

В конце концов меня отпустили из управления, передав на руки Синди, Мэри-Элис и Три. С меня взяли обещание вернуться через пару часов, чтобы дать письменные показания и просмотреть фотографии из архива. Я старалась говорить серьезно, чтобы офицеры участка не усомнились в моей надежности. Впрочем, у них ночная смена уже близилась к концу. К моменту моего возвращения (на которое у них было мало надежды) все они должны были разойтись по домам, так и не удостоверившись, держу ли я свое слово.

Полицейские доставили нас в общежитие «Мэрион». Было раннее утро. Над холмом Торден-парка забрезжил рассвет. Мне предстоял разговор с матерью.

В общаге стояла мертвая тишина. Синди сразу побежала к себе наверх, а мы с Мэри-Элис решили через какое-то время к ней зайти, потому что только у нее был телефон.

В сопровождении Мэри-Элис я приковыляла к себе и первым делом раскопала в шкафу трусы и лифчик.

На обратном пути мы столкнулись в коридоре с Дианой и ее парнем Виктором. Они всю ночь не сомкнули глаз, дожидаясь меня.

До той поры я недоумевала: что общего у Виктора с нашей взбалмошной Дианой? Спортсмен с голливудской внешностью; на людях его было не видно и не слышно. Задолго до поступления в университет он уже выбрал для себя специализацию. Электротехнику, что ли. Уж конечно, не поэзию, как некоторые. Виктор был чернокожим.

— Элис, — выдохнула Диана.

Из открытых настежь дверей комнаты Синди выходили девчонки. Малоознакомые, а то и вовсе не знакомые.

— Виктор хочет тебя обнять, — сказала Диана.

Я подняла глаза на Виктора. Этого еще не хватало. Нет, понятно, я не отождествляла его с насильником. Не в этом дело. Просто он, стоя поперек дороги, мешал осуществить то, что сейчас было нужнее всего прочего и вместе с тем труднее всего. Добраться до телефона и позвонить маме.

— Мне сейчас не до того, — сказала я Виктору.

— Это сделал черный, правильно я понимаю? — спросил он, вынуждая меня смотреть на него в упор.

— Допустим.

— Прости, — сказал он, не сдерживая слез: они медленно сползали у него по щекам. — Мне так стыдно.

Сама не понимаю, с какой стати я его обняла: то ли потому, что не могла видеть, как он плачет (это было совершенно не в характере скромняги Виктора, который, по моим наблюдениям, только и делал, что корпел над учебниками или с робким обожанием смотрел на Диану), то ли потому, что этого ждали зеваки. Он тоже меня обнял и не отпускал, пока я сама не отстранилась. Вид у него был самый жалкий; до сих пор не представляю, какие мысли роились у него в голове. Возможно, он уже тогда предвидел, что я буду постоянно слышать и от родных, и от посторонних: «не иначе как это был черномазый»; вот он и решил предложить хоть какое-то искупление, сделать — по горячим следам — нечто совершенно противоположное, чтобы у меня не возникало искушения навешивать людям ярлыки и без разбору выплескивать ненависть. Он стал первым мужчиной — независимо от цвета кожи, — обнявшим меня после того рокового случая, и я поняла одно: мне нечего предложить в ответ. Прикосновение чужих рук, смутное ощущение превосходящей силы — это было чересчур.

Между тем вокруг нас с Виктором собралась толпа любопытных. Мне еще предстояло к такому привыкнуть. Разжав объятия, но оставаясь на месте, я видела рядом с собой Мэри-Элис и Диану. Это были свои. Все остальные маячили по сторонам смутными тенями. Просматривали мою жизнь, как новый фильм. Какую же роль они отводили себе в этом сюжете? Как показало время, многие представлялись моими близкими друзьями. Знакомство с жертвой преступления — все равно что знакомство со знаменитостью. Особенно если преступление связано с чем-то гадостным. Одну такую артистку я потом встретила в Сиракьюсе, когда собирала материал для этой книги. Сперва она меня не узнала, просто краем уха услышала, что я пишу про следствие по делу об изнасиловании Элис Сиболд, и прибежала из соседнего кабинета, чтобы сообщить мне и моим помощницам:

«Мы с ней были лучшими подругами». Я так и не смогла ее вспомнить. Стоило кому-то позвать меня по имени, как она заморгала, сделала шаг вперед и бросилась мне на шею, чтобы только не ударить в грязь лицом.

У Синди в комнате я опустилась на кровать, ближайшую к двери. Рядом были сама Синди, Мэри-Элис и Три; вроде бы еще и Диана. Всех остальных Синди выпроводила и заперла дверь.

Момент настал. Я держала телефон на коленях. Мама находилась в считанных милях от университета: приехала накануне, чтобы забрать меня на каникулы. По всей видимости, сейчас она уже встала и суежилась в гостиничном номере недорогой «Холидей-инн». В то время ей приходилось таскать с собой кофеварку и запас кофе без кофеина. Раньше она ежедневно поглощала до десяти чашек крепкого натурального кофе и теперь пыталась избавиться от этой зависимости, а в ресторанах кофейный напиток был еще редкостью.

Накануне, перед тем как она подбросила меня к дому Кена Чайлдса, мы договорились встретиться у общежития в восемь тридцать утра: по ее мнению, поздновато, но что ж поделаешь — я ведь собиралась как следует оттянуться на прощальной вечеринке. Переводя взгляд с одной подруги на другую, я ждала, что кто-нибудь скажет: «Да не такой уж у тебя жуткий вид» или сочинит для меня единственно возможную убедительную историю про то, как я ушиблась и порезалась, — мне самой ничего не приходило в голову.

Три набрала номер.

А услышав в трубке голос моей мамы, произнесла:

— Миссис Сиболд, с вами говорит Три Робек, подруга Элис.

По всей видимости, мама поздоровалась.

— Передаю трубку Элис. Ей нужно с вами поговорить.

И протянула мне трубку.

— Мам, — выдавила я.

У меня ощутимо дрогнул голос, но она, похоже, этого не заметила и начала с явным раздражением.

— Ну что там еще, Элис? Ты же знаешь, я вот-вот подъеду. Имей терпение!

— Мам, мне надо тебе кое-что сказать.

Тут она заподозрила неладное.

— Что такое? Что с тобой?

Я проговорила свою реплику, как по сценарию:

— Вчера вечером, когда я шла через парк, меня избili и изнасиловали.

У матери вырвалось:

— О боже... — От испуга у нее перехватило дыхание; охнув, она взяла себя в руки. —

Как ты сейчас?

— Мамочка, приедешь за мной? — спросила я.

Она обещала примчаться через двадцать минут — ей оставалось побросать в сумку вещи и выписаться из гостиницы.

Я повесила трубку.

Мэри-Элис предложила перебраться в ее комнату и посидеть там до приезда моей матери. Кто-то принес пакет не то рогаликов, не то пончиков.

К этому времени общага пробудилась ото сна. Повсюду царил суматоха. Многие из студентов, включая моих подружек, должны были встретиться с родителями, чтобы вместе позавтракать; кое-кто уже опаздывал в аэропорт или на автовокзал. Девчонки, хлопотавшие

вокруг меня, все время убегали собирать вещи. А я так и сидела, привалившись к шершавой стене. Дверь то и дело открывалась, и до моего слуха долетали обрывки разговоров: «а где она?», «...изнасиловали...», «...видали, что у нее с лицом?», «...она его знает?», «...жуть какая...».

Со вчерашнего вечера я ничего не ела, разве что поклевала изюм в гостях у Кена Чайлдса, но сейчас все эти пончики-рогалики не лезли в горло: на языке оставался неистребимый привкус той мерзости, что побывала у меня во рту. Все труднее было бороться с дремотой. Ведь я не спала целые сутки — нет, гораздо больше, поскольку до этого ночи напролет готовилась к экзаменам, — но боялась заснуть до маминого приезда. Подруги, к которым присоединилась староста общежития, всячески окружали меня заботой (в меру своего девятнадцатилетнего опыта), но я чувствовала, что нас разделяет некий рубеж, хотя им этого не понять. Мне и самой было этого не понять.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ребята уже стали разъезжаться, а я все ждала маму. Сжевала крекер, который сунула мне не то Три, не то Мэри-Элис. Знакомые заглядывали попрощаться. У Мэри-Элис билет был на вечер. Она по наитию сделала то, на что мало кто способен в критической ситуации: спланировала свои действия по минутам.

Мне хотелось переодеться к маминому приезду, чтобы отправиться домой в опрятном виде. Помню, как изумлялась Мэри-Элис, когда я, отбывая на зимние и весенние каникулы, перед посадкой в пенсильванский автобус надевала юбку с блейзером. Сама Мэри-Элис стояла на тротуаре в тренировочных штанах и линялой кофте, готовясь запихнуть в багажник родительского автомобиля многочисленные мешки с нестираными вещами. Что касается моих родителей, им нравилось видеть меня прилично одетой, и мы нередко спорили, в чем мне идти в школу. В одиннадцать лет я села на диету, и главной темой семейных разговоров стал мой вес и внешний вид. Отец был мастером сомнительных комплиментов. «Ты у нас прямо как русская балерина, — говорил он, — только пухленькая». Мама вторила: «Для обаятельной девочки вес не играет роли». Видимо, таким образом они давали понять, что считают меня красавицей. В результате, естественно, я чувствовала себя уродиной.

Изнасилование стало наглядным подтверждением этой мысли. А до этого в школе, на выпускном вечере, двое мальчишек в качестве прощального пожелания вручили мне спички и химический краситель. Спички — чтобы вставлять между веками для исправления азиатского разреза глаз, а краситель — для кожи лица. Я всю жизнь была бледной — бледной и совершенно неспортивной. Рот до ушей, глазки маленькие. Наутро после изнасилования губы покрылись рубцами, глаза заплыли.

Я надела килт из красной с зеленым шотландки, заколов его специальной булавкой, в поисках которой мы с мамой обегали все магазины. Запахивающаяся юбка — вещь рискованная, твердила мама, особенно когда на стоянке или в торговой зоне нам встречались женщины и девушки, у которых ветер задирает переднее полотнище килта и обнажал ляжки — пользуясь маминым выражением — «до критического предела».

Мама была сторонницей просторной одежды; в детстве, помню, моя старшая сестра Мэри жаловалась, что все новые шмотки ей велики. В примерочной, чтобы проверить размер юбки или брюк, мама просовывала руку под пояс. Если рука не проходила, вещь объявлялась слишком тесной. Когда сестра начинала ныть, мама ей говорила: «Не понимаю, Мэри, почему тебя привлекают такие тесные брюки, которые ничего — повторяю, ничего — не оставляют воображению».

Нас приучали сидеть, скрестив лодыжки. Носить гладкую прическу, закрывающую уши. Пока мы не стали старшеклассницами, джинсы позволялось носить не чаще раза в неделю. По меньшей мере раз в неделю нас заставляли надевать в школу платье. Никакой обуви на каблуках, за исключением лодочек от «Паппагалло», предназначенных для посещения церкви, но все равно каблуки не должны превышать полтора дюйма. Резинку жуют только проститутки да официантки, внушалось мне; водолазки и лосины со штрипками носят только коротышки.

Я понимала, что ради своих родителей должна выглядеть пристойно, особенно после изнасилования. За первый курс я, как водится, прибавила в весе, а значит, юбка наконец-то стала мне впору. Хотелось доказать и родным, и себе, что я ничуть не изменилась.

Обаятельная, хотя и пухленькая. Сообразительная, хотя и дерзкая. Скрамная, хотя и падшая.

Когда я переодевалась, в общежитие пришла Триша, сотрудница кризисного центра. Она раздала моим подругам какие-то брошюрки и разложила несколько пачек в вестибюле. Если до этого кто-то и оставался в неведении относительно кошмарных событий прошлой ночи, то теперь все были в курсе. Триша отличалась высоким ростом и худобой; светло-каштановые волосы спадали на плечи жидкими кудельками. Всем своим видом она показывала: «Моя обязанность — тебя поддержать», и такая нарочито сочувственная манера не вызывала особого доверия. Да ладно, рядом со мной находилась Мэри-Элис. Вот-вот должна была подъехать мама. Вкрадчивость этой посторонней девушки мне претила, и действовать с ней заодно не было ни малейшего желания.

Меня предупредили, что мама уже поднимается по лестнице и через минуту-другую будет здесь. Больше всего мне хотелось, чтобы Триша заткнулась — ее болтовня не давала настроиться на встречу; я принялась расхаживать из угла в угол и уже подумывала, не выйти ли на лестничную площадку.

— Открой дверь, — попросила я Мэри-Элис, а сама сделала глубокий вдох и остановилась посреди комнаты.

Пусть мама знает: со мной все в порядке. Плохое ко мне не пристает. Я подверглась насилию, но не сломалась.

Буквально через пару секунд появилась моя мать; вопреки ожиданиям она не грохнулась в обморок, а, наоборот, зарядила меня какой-то свежей энергией, которой я подпитывалась в течение всего первого дня.

— Вот и я, — сказала она.

Когда мы с ней оказывались на грани истерики, у обеих одинаково дрожали подбородок и обеим это было ненавистно.

Я сказала, что придется вторично поехать в полицию. Дать письменные показания и просмотреть фото из архива. Мама перекинулась парой слов с Тришей и Синди, поблагодарила Диану и Три, а потом отдельно — Мэри-Элис, с которой была знакома. Она на глазах брала инициативу в свои руки.

Я без возражений переключивала груз на ее плечи — во всяком случае, на первых порах.

Девчонки помогли маме собрать мои вещи и отнести их в машину. Виктор тоже был на подхвате. А я не двигалась с места. Не могла заставить себя переступить через порог: в коридор выходило слишком много комнат, обитатели которых знали, что со мной случилось.

Напоследок, в знак особой нежности, Мэри-Элис расчесала мои спутанные волосы и взялась делать французскую косичку с приплетом. У меня так не получалось. А она давно набила руку, подрабатывая в конюшне, — перед выставками заплетала конские гривы. Я чуть не взвыла: на голове не было живого места после того, как насильник едва не сорвал с меня скальп, таская и дергая за волосы; но с каждой прядью, которую Мэри-Энн забирала в косу, я призывала на помощь всю свою выдержку. Мама и Мэри-Элис приготовились довести меня до машины, где мне предстояло на прощание обняться с подругой, а я уже твердо решила по мере сил держаться как ни в чем не бывало.

Мы направились в Управление охраны общественного порядка, расположенное в деловой части города. Последние формальности, а потом — домой.

Просмотрев фотографии, я не смогла опознать насильника. Ровно в девять явился сержант Лоренц, который сразу потребовал письменных показаний. К тому времени руки-

ноги меня уже не слушались: я засыпала на ходу. Лоренц привел меня в кабинет для допросов, где стены были обиты толстым войлоком. Я излагала события, а сержант сидел за пишущей машинкой и одним пальцем, будто клювом, стучал по клавишам. Изо всех сил борясь с дремотой, я то и дело заговаривалась, но кое-как довела рассказ до конца. Лоренцу требовалось уместить мои показания на одной странице и приобщить к делу; он ерзал и время от времени перебивал:

— Это к делу не относится; факты давай.

Каждый такой упрек недвусмысленно говорил: к черту подробности, главное — зафиксировать последовательность действий в соответствии с конкретной статьей. Пункт первый: «изнасилование»; пункт второй: «изнасилование в извращенной форме» и так далее. А то, что насильник чуть не оторвал мне груди, совал в меня кулак, лишил девственности — «это к делу не относится».

Чтобы не отключиться, я в какой-то момент стала разгадывать умонастроение сержанта. Измочаленный вид — результат переутомления; осточертела бумажная волокита, только мешает службе; допрос жертвы изнасилования — хреновое начало дня.

И вообще, в моем присутствии чувствует себя неловко. Во-первых, оттого что я подверглась насилию и вынуждена излагать такие подробности, от которых волосы дыбом встают; во-вторых, оттого что меня клонит в сон.

Сержант, в свою очередь, испытующе разглядывал меня из-за своей пишущей машинки.

Когда я сказала, что впервые слышу о необходимости эрекции для введения члена, Лоренц опешил.

— Да ладно, Элис, — усмехнулся он, — мы-то с тобой знаем, что иначе не бывает.

— Нет, извините, — вознегодовала я. — Откуда мне это знать, если у меня даже не было отношений с мужчинами?

Он потупился и прикусил язык, а потом пробормотал:

— Служба у меня такая — неиспорченную девушку редко встретишь.

Я заключила, что сержант Лоренц — человек беззлобный, можно даже сказать, доброжелательный. Он стал первым, кому я открыла все подробности случившегося. Мне и в голову не могло прийти, что он заподозрит меня во лжи.

8 мая 81 г. ок. 12.00 дня я вышла от своего знакомого, прож. по адр. Уэсткотт-стрит, д. 321, и пошла через Торден-парк в свое общежитие по адр. Уэйверли-авеню, д. 305. Ок. 12.05, проходя в районе бани и амфитеатра, я услышала сзади шаги. Я ускорила ход, но внезапно меня кто-то настиг сзади и зажал мне рот ладонью. Этот человек сказал: «Тихо, я тебя не обижу, если будешь слушаться». Он отвел ладонь, и я закричала. Тогда он повалил меня на землю, дернул за волосы и сказал: «Не задавай вопросов, а то убью». Мы оба лежали на земле, он угрожал мне ножом, которого я не видела. Затем между нами началась борьба, и он приказал идти к амфитеатру. По пути я упала, он рассердился, схватил меня за волосы и затащил под амфитеатр. Там он раздел меня до трусов и бюстгалтера. Я сняла бюстгалтер и трусы, он сказал мне лечь на землю, я подчинилась. Он снял брюки и совершил со мной половой акт. По завершении он встал и попросил меня сделать ему «минет». Я сказала, что не понимаю, тогда он сказал: «Соси». Затем он сжал мне голову и приблизил мой рот к своему пенису. По завершении он снова велел мне лечь на землю и повторно совершил со мной половой акт. Потом он ненадолго заснул прямо на мне. Затем он встал, помог мне одеться и взял у меня из заднего кармана деньги в сумме 9

долларов 00 центов. После этого он меня отпустил. Я пошла в университетское общежитие «Мэрион», откуда сообщила в полицию.

Сообщаю, что человек, напавший на меня в парке, — негр, возраст ок. 16–18 лет, рост ниже среднего, телосложение крепкое, вес ок. 150 фунтов. Был одет: футболка голубая с длинными рукавами; джинсы темно-синие. Волосы короткие, африканского типа. В случае задержания указанного лица намерена подать исковое заявление.

Лоренц протянул мне на подпись листок с моими добровольными показаниями.

— Не девять долларов, а восемь, — заметила я, а потом возмутилась: — Почему здесь не записано, как он калечил мне груди и куда совал кулак? И потом, я все время отбивалась, а где об этом сказано?

Мне бросились в глаза многочисленные неточности, которые я приписала невнимательности сержанта, а также пропуски и передергивания моих слов.

— Это без разницы, — сказал он. — Главное — суть. Вот здесь распишись — и свободна.

Я так и сделала. И мы с мамой направились в сторону Пенсильвании.

Еще утром, когда мама приехала за мной в общежитие, я попросила ее ничего не говорить отцу. Но она уже сказала. Первым делом позвонила именно ему. Они заспорили, когда лучше посвятить в это дело мою сестру. Ведь у нее оставался последний экзамен в универе. Но отцу приспичило выложить моей сестре все то, что выложила ему мама. Он позвонил ей в общежитие, когда мы с мамой ехали домой. Мэри пришлось идти на экзамен с мыслью о моем изнасиловании.

В пути у меня созрела теория ближнего и дальнего круга. Ничего страшного, если люди ближнего круга — мать, отец, сестра и Мэри-Элис — станут обсуждать мою беду. Это естественная потребность. Но те, с кем они поделятся — дальний круг, — не имеют морального права распространять эти сведения. В результате, как я надеялась, история не получит широкой огласки. Для собственного спокойствия предпочла забыть толпу зевак, вовсе не обязанных блюсти мои интересы.

Я возвращалась домой.

Жизнь кончилась; жизнь только начиналась.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Населенный пункт Паоли в штате Пенсильвания — это, по сути дела, город. Там есть центр, есть и железнодорожный вокзал, названный тем же именем. Я говорила ребятам, что живу в том месте. Вранье. Жила я в Мэлверне. Во всяком случае, так гласил почтовый адрес. А реальным местожительством был Фрейзер. Унылая безлесная равнина, где бывшие фермерские угодья распродавались под застройку. Наш микрорайон, Спринг-Милл-Фарм, возник в числе первых. Не один год в нем насчитывалось каких-то полтора десятка домов, сиротливо стоявших на месте падения древнего метеорита. На многие мили вокруг не было ровным счетом ничего, кроме новой школы, без единого деревца под окнами. Новоселы вроде нашей семьи въезжали в двухэтажные дома и сразу покупали квадраты дерна или небольшие рулоны газонного покрова, чтобы отцы семейств могли ходить не по голой земле, а по зеленым дорожкам, как обученные щенки. Отчаявшись создать подобие образцовой лужайки, мать не противилась засилью дикорастущих трав. «Черт с ними, — говорила она, — зелено — и на том спасибо!»

Дома предлагались двух видов: у одних гараж выступал вперед, а у других лепился сбоку. Кровля и ставни тоже могли быть на выбор — двух-трех цветов. По моему девчоночьему убеждению, жили мы на пустыре, который приходилось без конца выкашивать, подстригать, засеивать и пропалывать, чтобы только соседи не осуждали. У нас даже был побеленный забор. Я знала в нем каждую штакетину, потому что нас с сестрой заставляли ползать на карачках с садовыми ножницами и подрезать траву в труднодоступных местах, куда было не подобраться с газонокосилкой.

Мало-помалу местность стала заселяться. Впрочем, только старожилам было под силу различить, где заканчивается наш микрорайон и начинается следующий. Кварталы распространялись китайским веером; в эту глухомань я и вернулась после изнасилования.

В мои школьные годы старая мельница, которая дала название всей местности, еще стояла в развалинах; дом мельника, через дорогу от нас, был одним из немногих, оставшихся с прежних времен. Кто-то его поджег, и теперь внушительная оштукатуренная постройка зияла пустыми глазницами, а зеленое деревянное крыльцо обуглилось и кое-где провалилось.

Каждый раз, когда мы с мамой, направляясь в город, проезжали мимо, я смотрела на эту поросшую травой махину со следами ожогов и представляла, как из окон вырываются языки пламени, а наличники покрываются гирляндами копоти.

Пожары стали приметой моего детства; они давали понять, что у жизни есть неведомая мне изнанка. Вне всякого сомнения, пожар — большая беда, но меня не отпускала мысль, что это еще и знак перемен. Например, в один из соседних домов, где жила моя подруга, попала молния. Семья переехала. Больше я никогда не видела ту девочку. А пожар в доме мельника оброс зловещими, таинственными слухами, которые будоражили мое воображение.

Когда мне было пять лет, я побывала внутри похожего дома на Флэт-роуд, неподалеку от заброшенного кладбища. Мы с папой и бабушкой пошли на прогулку. В стороне от дороги показался обезображенный пожаром дом. Мне стало боязно, а отец заинтересовался. По его мнению, там могла уцелеть пригодная утварь, которую стоило перенести в их с матерью

новый, еще не обжитой дом. Бабушка согласилась.

В палисаднике, на некотором расстоянии от стены, валялась опаленная лоскутная кукла. Я бросилась к ней, но отец прикрикнул:

— Оставь! Надо брать только полезные вещи, а не игрушки, да еще неизвестно чьи.

Тут до меня дошло, что в этом жилище раньше обитала точно такая же семья, как наша, с детьми, но эти люди больше не смогут сюда вернуться. Никогда.

Войдя в дом, папа с бабушкой сразу приступили к поискам. Внутри царил разруха; если какие-то вещи и уцелели, они оказались черными от копоти и потому непригодными. В комнатах сохранилась кое-какая мебель, но тоже вся закопченная, совершенно бросовая.

Тогда они решили забрать лестничные балясины.

— Дерево-то с прежних времен, добротное, — заметила бабушка.

— Может, наверх поднимемся? — предложил отец.

Бабушка стала его отговаривать:

— Там, поди, тоже все выгорело, да и ступеньки ненадежные.

Во мне пропадает классная испытательница ступенек. Сколько раз доводилось видеть, как в фильмах героини очертя голову вбегают в горящий дом. Всегда ли они пробуют ступеньки на прочность? Если нет, то мой внутренний голос скептически возмущает: «Не верю!»

Отец решил, что мне можно не опасаться, поскольку я маленькая и легкая. Отправив меня наверх, он с бабушкиной помощью начал выламывать балясины, а мне приказал:

— Что найдешь — крикни! Мебель и всякое такое.

В память врезалась детская комната, заваленная игрушками. В том числе и моделями машинок, которые я коллекционировала. Неповрежденные, яркие — желтые, синие, зеленые, — они в беспорядке расцвели пепелище. В распахнутом платяном шкафу осталась детская одежда, опаленная на сгибах; кроватка стояла незастеленной. Став постарше, я сообразила: пожар случился ночью. В доме все спали.

Посреди кроватки выгорела дыра, сквозь которую виднелся пол. Я так и застыла. Здесь заживо сгорел ребенок.

Когда мы вернулись домой, мама обозвала отца идиотом. Она была вне себя. А он-то считал, что пришел с добычей.

— Из этих балясин получатся отличные ножки для столешницы, — объявил он.

У меня не шли из головы те машинки и кукла. Какой ребенок бросит вот так свои сокровища, пусть даже слегка закопченные? Где в ту ночь были родители? Может, они спаслись?

Из этого пожара у меня выросла целая повесть. Я придумала новую жизнь для обитателей дома. Сотворила семью по своему вкусу: мама, папа, сын и дочка. Все идеально. Пожар стал началом пути. Вестником перемен. Прежняя жизнь была зачеркнута сознательно. Мальчик перерос увлечение машинками. Но память об игрушках не давала мне покоя. Лицо матерчатой куклы неотвязно смотрело на меня с земли блестящими черными глазами.

Первое суждение о нашей семье я услышала от шестилетней подружки. Маленькая, по-детски светловолосая, она жила по соседству. В округе было всего три девочки такого возраста, включая меня, и мы держались вместе, пока не пошли в этом мире каждая своим путем — сперва в начальную школу, потом в среднюю.

Сидя перед нашим домом, возле почтового ящика, мы рвали траву. Пару дней назад нам

впервые разрешили самостоятельно проехать на автобусе. Траву мы выдерживали пучками и складывали бортиком перед собой. Ни с того ни с сего девочка выдала:

— А моя мама говорит, ты чокнутая.

Потрясенная до глубины души, я сделала взрослое лицо и спросила:

— Это почему?

— А не обидишься?

Я пообещала не обижаться.

— Мои мама с папой — и мама Джилл тоже — говорят: это потому, что у вас вся семейка чокнутая.

У меня брызнули слезы.

— Но по-моему, никакая ты не чокнутая. С тобой играть интересно.

Уже в те годы я была не чужда зависти. Хотела, чтобы у меня были такие же светлые, соломенные волосы, рассыпанные по плечам, а не дурацкие черные косички и короткая челка, которую мама, чтобы подровнять, прилепляла мне ко лбу пластырем. Еще я хотела, чтобы отец той девочки был моим отцом, потому что он любил бывать на свежем воздухе, а в тех редких случаях, когда я приходила к ним в гости, сыпал всякими смешными прибаутками: «Здорово-здорово, я бык, а ты корова» или «За „пока“ бьют бока». В одно ухо мои папа с мамой нашептывали: «Мистер Холлс дурно воспитан, хлещет пиво, одевается как грузчик», а в другое подружка твердила: «У тебя родители чокнутые».

Мой отец с утра до ночи просиживал в четырех стенах над огромным потрепанным латинским словарем, водруженным на кованую подставку, вел телефонные разговоры по-испански, пил шерри, а за обедом предпочитал бифштексы с кровью. Пока подружка не открыла мне глаза, я думала, что все отцы одинаковы. Потом научилась подмечать различия. Другие отцы подстригают лужайку. Пьют пиво. Играют во дворе с детьми; прогуливаются с женами вокруг квартала; ездят на машине с прицепом; идя в ресторан или в гости, повязывают галстук с забавными картинками, а то и вовсе обходятся без галстука — надевают рубашку-поло, не бахвалятся значком престижного университета и не шьют жилеты на заказ.

С матерями дело обстояло проще; я так обожала маму, что ни о какой зависти не могло быть и речи. Правда, для меня не было тайной, что она подвержена нервным расстройствам, пренебрегает косметикой, не придает значения нарядам и не стоит у плиты, как другие. В общем, я бы не возражала, чтобы мама была такой, как у всех: почаще улыбалась и занималась бы — по крайней мере на посторонний взгляд — только своей семьей.

Как-то раз мы с папой смотрели по телевизору фильм «Степфордские жены». Папа был в восторге, а меня обуял ужас. Разумеется, я приравнивала маму к Катарине Росс — единственной женщине из плоти и крови, уцелевшей в городе, где всех остальных жен заменили безупречные, послушные роботы. Несколько месяцев меня мучили страшные сны. Повторяю: я бы не возражала, если бы мама немного переменилась, но только с тем условием, чтобы она ни в коем случае не умирала и никогда, никогда не уступала свое место другой.

В детстве меня преследовал страх потерять маму. Она частенько запиралась у себя в спальне. А нам с сестрой по утрам хотелось ее внимания. Мы подбегали к отцу, выходящему из ее комнаты, и он объяснял: «У мамы сегодня болит голова» или «Маме нездоровится, ей нужно полежать».

Через какое-то время я убедилась: если выждать, пока отец спустится к себе в кабинет, куда нам путь был заказан, а потом постучаться к маме, она, возможно, впустит меня к себе. Тогда можно будет шмыгнуть к ней под одеяло, поделиться своими фантазиями или поприставать с вопросами.

Ее недомогания сопровождалась рвотой, и однажды я увидела это своими глазами. Войдя к ней в спальню, с которой сообщалась отдельная ванная с туалетом, я увидела отца, стоявшего ко мне спиной на пороге ванной. Мама издавала жуткие сдавленные звуки. Я успела заметить, как у нее изо рта хлынули в раковину красноватые рвотные массы. В зеркале над раковиной мама заметила мое отражение где-то на уровне отцовских бедер. Содрогаюсь от спазмов, она кивнула в мою сторону; отец выставил меня на площадку и запер дверь. Родители тогда повздорили. «Черт бы тебя побрал, Бад, — сердилась мама, — когда ты научишься запира́ть дверь!»

Помню, от маминых подушек пахло вишней. Такой тошнотворно-сладковатый запах. Похожий запах исходил в тот кошмарный вечер и от насильника. В детстве и юности я долго отказывалась понимать, что это запах спиртного.

Мне нравится история знакомства родителей. Отец служил в Пентагоне, но бумагомарание всегда давалось ему лучше, чем военное дело. (В учебке ему приказали штурмовать стену в паре с приятелем-новобранцем, так папа умудрился сломать тому нос каблуком, не сумев опустить ногу на сцепленные замком руки напарника.) А мама жила с родителями в городе Бетесда, штат Мэриленд, и работала в журналах: сначала в «Нэшнл джиогрэфик», потом в «Америкэн сколар».

Они пришли на первое свидание по совету общих знакомых. И возненавидели друг друга с первого взгляда. Мама сочла отца «самодовольным ослом», и после того вечера — проведенного в компании другой парочки, которая и устроила их встречу, — оба ни о чем больше не помышляли.

Но через год судьба свела их вновь. Не то чтобы между ними вспыхнула страсть, но и неприязни уже не было, и отец пригласил маму на второе свидание. «Твой папа был единственным молодым человеком, кто по доброй воле ездил из столицы на пригородном автобусе, чтобы потом отмахать пять миль пешком от конечной остановки до нашего дома», — любила повторять мама. Это, видимо, подкупило мою бабушку, и вскоре молодая чета пошла под венец.

К тому времени отец уже защитил в Принстоне диссертацию по испанской литературе, и родители, перебравшись в Северную Каролину, осели в Дареме: отец начал читать лекции в университете Дьюка. А мама, томясь целыми днями в одиночестве и не сумев завести друзей, начала выпивать. На первых порах — незаметно.

У мамы всегда был беспокойный характер; ей претила роль домохозяйки. Она не раз повторяла, что нам с сестрой крупно повезло родиться в другую эпоху. Мы верили. Пятидесятые годы были, в нашем представлении, сплошным кошмаром. Мамины отец и муж (наш папа) заставили ее поступиться карьерой, потому что замужней женщине работать не к лицу.

Ее запои продолжались менее десяти лет, но в этот промежуток времени мы с сестрой появились на свет и вышли из пеленок. В этот же промежуток времени папина карьера пошла вверх, и в результате сперва они вдвоем, а потом и все мы вчетвером то и дело переезжали с места на место: сначала в Мэдисон, штат Висконсин, потом в Роквилл, штат

Мэриленд и наконец в Паоли, штат Пенсильвания.

К 1977 году мама была в завязке уже десять лет. За эти годы у нее, как выражались у нас в семье, часто случались «глюки». Так мы называли ее приступы. Если отца было не видно и не слышно (даже в прямом смысле слова: он месяцами пропадал в Испании), то мама порой заполняла собой весь дом. Ее паническая нервозность передавалась остальным, поэтому в таких случаях время тянулось вдвое дольше и мучительнее. В отличие от нормальных семей у нас никогда не было уверенности, что, отправившись в ближайший супермаркет, мы сделаем там покупки. Стоило маме переступить порог магазина, как ее охватывал панический страх.

— Возьми дыньку или что-нибудь такое, — говорила мама, когда я стала постарше, и совала мне банкноту. — Жду в машине.

Во время таких припадков она сгибалась в три погибели и начинала быстрыми движениями растирать грудину, чтобы — говоря ее словами — не лопнуло сердце. Я бежала в магазин, хватала дыню и — на обратном пути — что-нибудь из уцененных продуктов, а сама мучительно думала: доберется ли она до машины? Не убьет ли ее очередной «глюк»?

В кино, как и в реальной жизни, припадочных всегда умирят какие-то типы в белых халатах — все на одно лицо, совершенно невыразительные персонажи. Примерно то же самое можно сказать и о нас с сестрой. Подчас в моих воспоминаниях просто не находится места для Мэри — на первый план всегда выступает мама и ее недуг. А когда я спохватываюсь: «Ах, да, ведь Мэри тоже была с нами», она видится мне именно в таком качестве — как вторая мамина подпорка, захваченная на всякий пожарный случай.

Иногда мы с Мэри сразу брали на себя роль обслуги. Мэри заботливо провожала маму в машину, а я мчалась покупать дыню. На моих глазах сестра превращалась из маленькой девочки, которой мерещился близкий конец света, в своенравную девушку, не желавшую потакать «глюкам» и сносить взгляды и реплики прохожих. «Не смей тереть груди», — шипела она матери.

По мере того как она ожесточалась, я, наоборот, преисполнялась сочувствия: утешала маму и осуждала сестру. Если Мэри предлагала помощь, я ее с благодарностью принимала. Если же она фыркала или сама заражалась маминой нервозностью, я просто воздвигала между нами барьер.

Единственное проявление нежных чувств отца к маме, оставшееся у меня в памяти, — это краткий поцелуй на автобусной остановке, куда мы приехали его проводить перед научной командировкой в Испанию. Тот случай можно описать под заголовком «Только не надо сцен». Попросту говоря, поцелуй был результатом моей подсказки, затем просьбы и, наконец, слезных настояний.

В ту пору я уже начала сознавать, что другие супружеские пары, в отличие от моих родителей, обнимаются, держатся за руки, целуются в щечку. Так они вели себя в супермаркетах, на прогулках, на школьных мероприятиях, куда приглашали родителей, и, конечно, у себя дома, когда я приходила в гости.

Выпрошенный для мамы поцелуй наглядно доказал, что их супружеские отношения, в общем-то прочные, были начисто лишены романтики. Папа уезжал, как всегда, на несколько месяцев, оставляя нас одних, и решил, что обязан выразить какие-то чувства.

Мама тогда вышла из машины, чтобы помочь отцу вытащить из багажника чемоданы, и собиралась с ним распрощаться. Мы с Мэри остались на заднем сиденье. Меня впервые взяли провожать папу в длительную командировку. Он, как обычно, волновался. Мама, и без

того нервная, волновалась еще больше. Наблюдая за ними с заднего сиденья, я сообразила, что в этой картинке чего-то недостает. И я стала канючить: «Поцелуй маму».

Отец буркнул что-то вроде: «Оставь, Элис, это ни к чему».

Но не тут-то было.

— Поцелуй маму! — крикнула я, высунув голову из машины. — Поцелуй маму!

— Жалко тебе, что ли, папа? — с досадой сказала моя сестра, которая была на три года старше и, как я поняла впоследствии, уже знала расклад.

Если мне хотелось получить подтверждение, что мои родители ничем не отличаются от других супружеских пар нашего городка, и даже от мистера и миссис Брэйди, героев популярного телесериала, то этот вынужденный поцелуй ни в чем меня не убедил. Он лишь открыл мне глаза. Дал понять, что в семействе Сиболдов любят по обязанности. Отец чмокнул маму в лоб — чтобы только дочка не приставала.

Много лет спустя мне попались черно-белые фотографии, на которых отец, водрузив на голову венок из ромашек, сидел в озере среди водяных лилий. Он улыбался во весь рот, не стесняясь неровных зубов, которые его родители, весьма стесненные в средствах, не исправили ему в детстве. Но на этих фотографиях он лучился счастьем и не беспокоился о таких пустяках. Кто его снимал? Уж конечно, не мама, это точно. Коробка с фотографиями попала к нам после смерти бабушки Сиболд. Я искала хоть какой-то ключ к разгадке. Мама строго-настрого запретила вытаскивать фотографии, но я спрятала одну за пояс юбки.

Уже тогда я ощущала нехватку чего-то важного, но не могла выразить это словами; мне было обидно за маму, которая, как подсказывало мне чутье, страдала больше всех и могла бы расцвести, получив желаемое. После случая на автобусной остановке я никогда не просила и уж тем более не требовала никаких сантиментов, потому что не хотела вновь увидеть пустоту родительских отношений.

Вскоре мне стало заметно, что папа с мамой прикасаются друг к другу лишь по чистой случайности. В детстве я иногда замышляла военную хитрость с одной целью: добиться ласкового прикосновения. Мама обычно сидела на диване с рукоделием или с книгой. Для моей задумки лучше всего подходили те случаи, когда она читала и одновременно смотрела телевизор. Чем больше отвлекающих моментов, тем больше шансов подкрасться незамеченной.

Устроившись на другом краю дивана, я мало-помалу перемещалась в мамину сторону, прикидывая, как бы положить голову ей на колени. Когда это удавалось, она рассеянно опускала пальцы (если в тот момент занималась вышиванием) и начинала перебирать мои волосы. Помню, наперсток холодил мне лоб, а я, как бывалый воришка, могла с уверенностью предугадать, в какой момент меня застукают. На этот случай были заготовлены жалобы на головную боль. Таким способом можно было выклянчить пару-другую поглаживаний, но и только. По малолетству я еще размышляла, что выгоднее: обратиться самой или подождать, пока меня отстранят насильно и велят сесть прямо или пойти почитать книжку.

Моей слабостью были наши собаки: пара ушастых ласковых бассетов, которых звали Фейхоо и Белль. Первая кличка была дана в честь какого-то испанского писателя,^[1] отцовского кумира, а вторая выбиралась так, чтобы «даже непосвященные» могли понять. «По-французски это означает „прекрасная“», — снисходительно объяснял папа.

Обращаясь к нам с сестрой, отец по рассеянности то и дело называл нас собачьими

кликками; по одному этому можно судить, во-первых, кого у нас в доме любили больше всех, а во-вторых, насколько папа был поглощен наукой. Что собаки, что дети — когда он работал, ему было все равно. И те и другие — мелкие, отвлекают от дела, путаются под ногами.

Собаки твердо знали, что дом поделен на четыре зоны. Отцовский кабинет, мамина спальня, наша с сестрой детская, а также любое место, где в данный момент находилась я. Таким образом, Фейхоо и Белль (а впоследствии — сменившая ее Роуз) всегда могли попытаться счастья в одной из этих четырех зон. В каждой находилась рука, которая в рассеянности потреплет уши или хорошенько почешет бок. Собаки, роняя слюну, неуклюжим паровозиком катались из комнаты в комнату и развозили хорошее настроение. Они нас смешили и объединяли — без них и папа, и мама, и сестра жили бы только своими книгами.

Дома я старалась не шуметь. Когда остальные трое читали или работали, находила себе какое-нибудь занятие. Например, экспериментировала с продуктами. Делала желе из пакетика и ставила под кровать. В сушильном шкафу пыталась приготовить рис. Порой смешивала в аптечных пузырьках мамину и папину туалетную воду, создавая собственные ароматы. Рисовала. Карабкалась по ящикам под потолок погреба и часами просиживала в бетонной темнице, поджав ноги к подбородку. Разыгрывала в лицах историю Кена и Барби, в которой Барби к шестнадцати годам вышла замуж, родила и добилась развода. На бракоразводном процессе (здание суда было сооружено из листа ватмана при помощи ножниц) Барби указала причину: от Кена не добиться ласки.

Но все равно мне было тоскливо. Когда долгими часами пытаешься «хоть чем-то себя занять», волей-неволей начинаешь строить козни. Ни о чем не подозревавшие бассеты частенько становились моими пособниками. По своей собачьей привычке они рылись в корзине у меня под кроватью. И утаскивали трофеи: пропотевшую одежду, несвежие носки, пластиковые контейнеры из-под салатов и всякую всячину. Чем сильнее они втягивались в эту забаву, тем неохотнее расставались с похищенным, а самой возжеленной добычей, будившей поистине животную страсть, были для них мамины использованные прокладки. Бассет-хаундов было за уши не оттащить от прокладок. Никакие силы не могли заставить Фейхоо бросить такую находку. От нее собаки приходили в экстаз.

Ах, до чего же восхитительные сцены разыгрывались у нас в доме. В них участвовали не один-два разгневанных домочадца, а непременно вся семья. От одного вида «непотребства» отец начинал истерически кричать, но мама настаивала, чтобы он участвовал в погоне. Сама затея казалась ему верхом неприличия! Прокладки! А мы с бассетами были на вершине блаженства, потому что все домашние выползали из своих нор, бегали, прыгали и визжали.

Нижний этаж нашего дома имел кольцевую планировку, и бассеты это прекрасно знали. Мы гонялись за ними по кругу — от парадного до черного хода, через большую комнату, кухню, столовую и гостиную. Бассет-сообщник, которому не досталось прокладки, лаял без умолку и преграждал нам путь, когда мы готовились броситься на более удачливого разбойника. Мы тоже оттачивали тактические приемы: блокировали проходы или загоняли собак в угол. Но ловкостью они превосходили хозяев; к тому же у них была тайная пособница.

Я их пропускала. Имитировала броски, направляла родителей и сестру по ложному пути. «У черного хода, у черного хода!» — вопила я, и обезумевшая троица неслась в указанную сторону. А бассеты между тем радостно забивались под стол в гостиную.

Со временем я научилась брать инициативу в свои руки: когда мама спускалась в кухню

или устраивалась с книгой на веранде, я тащила подвернувшегося под руку бассета к ней в спальню и стояла на стреме.

Через считанные минуты:

— Бад! Фейхоо стащил «котекс»!

— Боже, только не это!

— И грызет! — участливо вставляла я.

Распахивались двери, по коврам и паркету стучали шаги. Крики, лай, желанная суматоха.

Тем не менее, когда погоня заканчивалась и удрученным бассетам оставалось только облизывать лапы, мои родители и сестра вновь разбредались по своим норам. А мне предстояло и дальше томиться от безделья в просторном доме. Одной.

В старших классах меня поначалу считали придурочной. Я играла на альт-саксофоне и, как все музыканты, кроме везунчиков скрипачей, вынуждена была ходить маршем в составе школьного джаза. Как и положено второму альту, исполняла «Funky Chicken» и «Raindrops Keep Falling on My Head».^[2] Никакие старания не помогали избавиться от клейма «чокнутой». Во время шоу в перерыве матча «Филадельфия иглз» наш джаз-оркестр изображал Колокол свободы, и мне, учитывая мои актерские «таланты», отвели роль трещины, после чего я ушла из оркестра. Радость от этого избавления была взаимной.

Вслед за тем я увлеклась декоративно-прикладным искусством. У нас был факультатив по традиционным ремеслам; меня влекли разнообразные материалы. Например, серебро. А особо успевающим выдавалось даже золото. Я осваивала ювелирное дело, роспись по шелку, технику эмали. Один раз на занятии у миссис Саттон, которая на пару со своим мужем вела этот факультатив, мы дотемна капали расплавленное олово в кофейные банки с холодной водой. Это было нечто! Такие причудливые формы! Я обожала Саттонов. Они одобряли все мои задумки, даже самые немыслимые. Я изготовила шелковое панно с головой длинноволосой Медузы Горгоны, а потом еще украшенное эмалью кольцо в виде двух рук, сжимающих букетик цветов. На едином дыхании сделала маме в подарок настольное украшение-звонницу. Обрамление состояло из женской головки и пары ладоней. К верхней части крепились два колокольчика с голубыми сердцевидными язычками. Колокольчики издавали мелодичный звон.

В учебе мне было далеко до умницы сестры. Молчаливая и собранная, она училась на одни пятерки. А я была взбалмошной, непредсказуемой и несовременной. Одевалась как Дженис Джоплин, хотя та отошла в мир иной десять лет назад, и пресекала любые попытки повлиять на мою успеваемость или вылечить от пофигизма. При всем том я держалась на плаву. Учителя — по крайней мере некоторые — смогли до меня достучаться. Чета Саттонов и кое-кто из преподавателей английского общими усилиями преодолели мое равнодушие — надеюсь, это заметно — и сделали все, чтобы я не подседа на «колеса» или «снежок» и не торчала в курилке, пряча в ботинке косяк.

Но я бы так и так не стала травить себя дурью, потому что у меня была тайна. Сокровенная мечта: стать актрисой. И выступать не где-нибудь, а на Бродвее. В самых забойных мюзиклах. Как Этель Мерман.^[3]

Для меня она была идеалом. Мое восхищение подогревалось мамиными словами: ни голоса, ни особого мастерства, но такое сценическое обаяние, что на других смотреть неохота. Я наряжалась в жакет с блестками и облезлое боа из страусовых перьев — эти вещи

отложил для меня отец Бройнингер на благотворительной распродаже в нашей церкви. И начинала петь, оглушительно и, как мне казалось, страстно, коронную арию моего кумира. Взбегала по нашей винтовой лестнице и спускалась вниз под взглядами бассетов, составлявших мою публику. Горланила «There's No Business Like Show Business». Мама с сестрой хохотали до упаду, а папа умилялся. У меня тоже не было голоса, но я решила воспитать в себе — попытка не пытка! — сценическое обаяние. В моем багаже имелся успех у бассетов. Небольшой избыточный вес. Семь лет мучений с брэкет-системой. Казалось бы, самое время заняться вокалом.

Из-за увлечения Бродвеем и отсутствия голоса у меня завязалась школьная дружба с мальчишками-геями. Расположившись у мороженицы «Френдли» на обочине 30-го шоссе, мы распевали саундтрек из «Розы» с Бетт Мидлер.^[4] Как-то в субботу вечером мимо прошли Гэри Фрид и Салли Шоу, которые отведали мороженого с фруктами и направлялись к принадлежавшему Гэри «мустангу» 1965 года выпуска. Согласно школьным опросам, их считали самой ослепительной парочкой. Они посмеялись, разглядывая наш черный прикид и серебряные побрякушки, изготовленные нашими руками и почти ничего нам не стоившие.

Сид, Рэнди и Майк были «голубыми». Мы с ними преклонялись перед такими людьми искусства, как Мерман, Трумен Капоте, Одетта, Бетт Мидлер, а также продюсер Алан Карр, который являлся на телешоу «Мерв» в гавайских балахонах немислимых расцветок и смешил Мерва до упаду. Мы хотели стать звездами шоу-бизнеса, чтобы вырваться.

Нас потому тянуло к «Френдли», что больше некуда было податься. Когда Мерв принимал у себя в студии Капоте или Карра, мы бежали по домам. Следили также за выступлениями Либераче.^[5] Однажды он влетел в зал по проволочной растяжке и проплыл в развевающемся плаще над роялем и канделябрами. Мой папа очень высоко его ценил, а Сид из нашей компании — наоборот. «Выпендривается как последний идиот, растрчивает свой талант», — говорил Сид, когда мы покуривали возле «Френдли», привалившись к мусорным контейнерам. Сид собирался бросить школу и переехать в Атлантик-Сити. Там у него жил знакомый парикмахер, который на протяжении всего лета кормил его обещаниями. Рэнди после некоего «инцидента в парке» был отправлен в военное училище. Нам запретили с ним общаться. Майк влюбился в какого-то футболиста и был жестоко избит.

— Когда вырасту, буду жить в Нью-Йорке, — повторяла я.

Мама только приветствовала эту идею. Она рассказала мне про обеденный клуб «Круглый стол», основанный в отеле «Алгонкин», и про его именитых завсегдатаев.^[6] У нее были радужные представления о Нью-Йорке. Ее охватывало радостное волнение при одной мысли, что я попаду в число его жителей.

Когда мне исполнялось пятнадцать, мама решила, что лучшим подарком для меня будет поездка в Нью-Йорк. Думаю, настраиваясь на эту поездку, она убеждала себя, что мои восторги спасут ее от очередного приступа.

В скором поезде, увозившем нас из Филадельфии, она занервничала. «Заглючила», как нарочно. По мере приближения к Нью-Йорку ей становилось все хуже. Это путешествие было моей заветной мечтой, но теперь, видя, как она раскачивается взад-вперед в своем кресле и трясущимися руками одновременно растирает правый висок и ложбинку между грудями, я решила, что лучше все-таки нам вернуться домой.

— Выберемся в другой раз, мама, — сказала я. — Ничего страшного.

Она заспорила:

— Но мы уже почти приехали. Ты так этого ждала. — И после паузы: — Надо сделать

попытку.

Она боролась с собой. Старалась держаться. Лучше бы нам было сразу сесть в обратный поезд. Не иначе как мы одновременно подумали об одном и том же. Мама была просто никакая. Даже не могла распрямить спину. По ее замыслу, мы должны были пройти пешком до музея «Метрополитен», расположенного на пересечении Восемьдесят второй улицы и Пятой авеню, чтобы по пути поглазеть на витрины магазинов и увидеть Центральный парк. У нее все было расписано за несколько недель до поездки. Она рассказывала, что отель «Алгонкин» находится на Сорок четвертой, и обещала показать отели «Ритц» и «Плаза», где, по ее убеждению, останавливалась Мерман, мой кумир. Намеревалась взять конный экипаж и покатавать меня по Центральному парку, чтобы я посмотрела фешенебельный многоквартирный дом «Дакота». И еще шикарный магазин одежды Бергдорф, и Лексингтон-авеню. Бродвейские театры, где шли мюзиклы с участием Мерман. Мама хотела постоять перед статуей генерала Шермана и, как подобает истинной южанке, молча помолиться. Пруд с утками, карусель, старички судомodelисты. Все это вписывалось в мамин подарок.

Но идти она не могла. На Седьмой авеню мы подошли к стоянке такси и дождались своей очереди. Сидеть прямо матери тоже оказалось не под силу. Опасаясь приступа рвоты, она опустила голову и раздвинула колени. И в такой позе проговорила: «Везу дочь в „Мет“».

— Что с вами, леди? — спросил таксист.

— Ничего, — отрезала мама и велела мне смотреть в окно.

— Это Нью-Йорк, — повторяла она, уставившись на заплеванный пол автомобиля.

Всю дорогу я ревела. Больше ничего не помню. Пыталась делать, как она говорила. Здания и люди сливались в сплошное пятно.

— Не выдержу, Элис, — заговорила мама. — И рада бы, но не выдержу.

С нескрываемым облегчением таксист остановился возле музея. Но моя мать не двинулась с места.

— Мама, давай развернемся и поедем обратно, — попросила я.

— Будем выходить или дальше поедем? — спросил водитель. — Что решили?

Мы выгрузились из такси. Перешли на другую сторону. Перед нами открывалась помпезная парадная лестница «Метрополитена». Я крутила головой, стараясь ничего не упустить. Меня так и тянуло взбежать по этой лестнице и смешаться с толпой улыбчивых туристов, щелкающих фотокамерами. Вместо этого я еле-еле одолела каких-то два десятка ступеней, таща за собой согнувшуюся в три погибели мать.

— Давай присядем, — взмолилась она. — Я не смогу зайти в здание.

Мы были почти у цели.

— Мама, — сказала я, — раз уж добрались, надо зайти.

— Ступай одна, — выдавила мама.

Хрупкая провинциалка в выходном платье, мама сидела прямо на раскаленных солнцем бетонных ступенях, массируя грудь и борясь с дурнотой.

— Без тебя не пойду, — заупрямилась я.

Открыв сумочку, она извлекла из портмоне двадцатку и сунула мне.

— Сбегай в сувенирный магазин. Купи себе что-нибудь на память.

Я оставила ее на лестнице. Даже не оглянулась на жалкую, скрюченную фигурку. В сувенирном магазине у меня разбежались глаза, но с двадцатью баксами там нечего было делать. Немного погодя мой взгляд упал на альбом под названием «Дада и живопись»

сюрреализма» — всего за восемь девяносто пять. Расплатившись, я побежала назад. Вокруг мамы уже собралась толпа. Дело принимало нешуточный оборот.

— Скажите, чем вам помочь? — допытывалась почти без акцента супружеская пара из Западной Германии.

Мама и бровью не повела. Сиболды не принимали помощь от посторонних.

— Элис, — выдавила она, — поймай такси. Мне никак.

— Я не умею, мам.

— Стой на тротуаре и тяни руку, — сказала она. — Какая-нибудь машина непременно остановится.

Я так и сделала. Передо мной тормознуло желтое такси компании «Чекер». Пришлось объяснить старому лысому водителю, что та женщина, сидящая на ступенях, и есть моя мама. Для убедительности я ткнула пальцем в ее сторону.

— Не могли бы вы ей помочь?

— А в чем дело? Отравилась, да? Она таки мне весь салон уделает, — пробурчал он с заметным еврейским акцентом.

— Нет, это на нервной почве, — сказала я. — Ее не тошнит. Просто мне одной ее не довести.

Он помог.

Будучи уже взрослой и вкусив нью-йоркской жизни, я поняла, какая это редкость. Видимо, его разжалобила моя обреченность и, если уж говорить начистоту, моя мама. Мы доплелись до машины, я уселась на заднее сиденье, а мама легла у меня в ногах, прямо на пол просторного «чекера».

Таксист, благодарение небу, приговаривал:

— Вытягивайтесь поудобней, мадам, не стесняйтесь. Я новомодных машин не признаю. Мне «чекер» подавай. Места много. Пассажирам просторно. А тебе, барышня, сколько же лет? Вылитая мамочка, вылитая, сама-то знаешь?

Как только мы сели в обратный поезд, мамина нервозность сменилась полным изнеможением. Отец встречал нас на вокзале; по приезде домой мама тотчас закрылась у себя в комнате. К счастью, в школе были каникулы: у меня оставалось предостаточно времени, чтобы сострять историю о захватывающей поездке в Нью-Йорк.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Из полицейского управления мама повезла меня домой, и я, лежа на заднем сиденье, пыталась уснуть. Погрузиться в сон удавалось лишь урывками. Салон автомобиля был синего цвета, и я внушала себе, что дрейфую в океане и меня уносит течением. Однако по мере приближения к дому мои мысли все настойчивее обращались к отцу.

С ранних лет я усвоила: если хочешь пробраться к нему в кабинет и отвлечь от работы, необходима веская причина, иначе не избежать отцовского гнева. Нередко я напускала на себя серьезный вид, чтобы походить на сестру. Изображала мальчишку-сорванца, лишь бы только сделать приятное человеку, который постоянно сетовал, что живет «в женском царстве» (папа с великой радостью принял нового пса, помесь пуделя с дворняжкой, и во всеуслышанье провозгласил, что в доме наконец-то появился еще один представитель мужского пола). Сейчас мне хотелось вернуться в детство, потому что для отца я всегда оставалась ребенком.

Мы с мамой свернули на подъездную аллею; в дом вошли через гараж.

Отец у меня высок ростом, но отличительной его чертой, с моей точки зрения, был не рост, а фанатизм в отношении своей профессии: он вечно сидел у себя в кабинете, что-то редактировал, писал и обсуждал по телефону на испанском языке. Однако в тот день он, сам не свой, маячил у черного хода, в противоположном конце коридора.

— Приветик, папа, — сказала я.

Мама устремилась за мной по коридору. Я перехватила отцовский взгляд, который скользнул по маме, а потом сосредоточился (насколько было возможно) на мне.

Мы обнялись. Из-за большой разницы в росте получилось довольно неуклюже.

Если не ошибаюсь, отец тогда не проронил ни слова. Скажи он «Родная моя, наконец-то ты дома», или «Элис, я тебя люблю», или еще что-нибудь, столь же ему несвойственное, мне бы это запомнилось; а так не запомнилось ничего — возможно, тоже из-за его молчания. Я не искала новых впечатлений. Мне требовалось лишь то, что хорошо знакомо: дом — каким он был до моего отъезда; отец — такой, как всегда.

— Как дела, пап? — Над этим простым вопросом я думала всю дорогу.

Залившись краской, он с облегчением признался:

— После маминого звонка выпил пять порций виски — и ни в одном глазу.

Я прилегла на диван в большой комнате. Отец, пытаясь заполнить то утро хлопотами, кое-как накрыл кухонный стол для ленча.

— Кушать будешь? — спросил он меня.

В ответ я решила жестко расставить все по местам:

— С удовольствием, ведь у меня за последние сутки маковой росинки во рту не было — разве что один крекер и один мужской член.

Думаю, от таких слов посторонний пришел бы в ужас, но для моего отца, стоявшего в дверях кухни, и для матери, которая возилась с нашими сумками, — для них обоих это стало и потрясением, и утешением: их младшая ничуть не изменилась.

— Боже, Элис! — выдохнул отец.

Он замер в ожидании, готовый выполнить любую мою просьбу.

— Конечно, папа. Узнал? — сказала я.

Родители ушли на кухню вдвоем. Уж не знаю, сколько можно раскладывать сэндвичи,

да еще приготовленные заранее. Чем же занимались мать с отцом? Стояли обнявшись? Трудно представить, но вполне вероятно. Нашептала ли мама отцу подробности насчет обращения в полицию и моего физического состояния или пообещала рассказать все, что ей известно, когда я засну?

Моя сестра успешно сдала сессию. На следующий день после моего возвращения, когда родители собрались за ней в Филадельфию, я решила поехать с ними.

У меня на лице еще не зажили кровоподтеки.

Отец сел в одну машину, мама — в другую. Планировалось, что они втроем будут укладывать в багажник вещи сестры, а я подожду в автомобиле. Мне хотелось, чтобы сестра поскорее увидела меня своими глазами и удостоверилась, что я жива. И еще: я не хотела, чтобы они, собравшись вместе, судачили обо мне.

Мы с матерью ехали впереди. Она выбрала шоссе местного значения. Так выходило дольше, но мы дружно признали эту дорогу более живописной. Разумеется, истинная причина заключалась в том, что скоростная трасса Скайкилл, которую в Филадельфии окрестили «Скальпель», грозила спровоцировать очередной «глуок». Вначале мы ехали по тридцатому шоссе, а потом тащились всякими проселочными дорогами к цели нашего путешествия — к Пенсильванскому университету.

В конце концов перед нами возникли заброшенные пути Филадельфийской железной дороги, которые, по моему убеждению, обозначали городскую черту. За ней начиналось пешеходное движение; разносчик, стоя на разделительной полосе, продавал водителям газеты, а неподалеку, в баптистской церкви, круглый год совершались венчания и отпевания, так что по окрестным улицам растекалась подобающе одетая публика.

Мы с мамой частенько бывали в этом месте: встречали отца после лекций или, пользуясь правом сквозного проезда, срезали путь через территорию больницы Пенсильванского университета. Отличительную черту этих поездок неизменно составляла нервозность матери, растущая по мере приближения к городу. По Чеснат-стрит, начинавшейся сразу за старой железной дорогой, мама всегда ехала в среднем ряду трехполосной дороги с односторонним движением. А я, сидя на пассажирском месте, следила, не грозит ли нам лобовое столкновение...

Но когда мы ехали за сестрой, я смотрела вокруг другими глазами. Позади осталась череда однотипных кварталов, отличавшихся только степенью запущенности; дальше улица расширялась. Вдоль проезжей части сохранились какие-то брошенные строения, допотопные бензоколонки и кирпичные административные корпуса. Лишь изредка попадались старые жилые дома, тесно лепившиеся друг к другу внутри квартала.

Раньше во время таких поездок я искала глазами эти дома; мне нравились уступы лестниц в боковых стенах — как зарубки на память о прежних жизнях. Теперь мое внимание переключилось. Мамино — тоже. Как я вскоре поняла, переключилось и внимание отца, ехавшего следом. Теперь в нашем поле зрения оказались люди. За исключением женщин и детей.

Стояла жара. Влажная, удушливая жара, какая обволакивает летом города северových штатов. Через опущенные окна нашей машины, не оснащенной кондиционером, проникало зловоние отбросов и выхлопных газов. От любого крика нам становилось не по себе. Прохожие обменивались дружескими приветствиями, а мы испытывали тревогу; мама не могла понять, почему на каждом углу, перед каждым домом околачивается столько бездельников. Этот район Филадельфии, если не считать сокращающейся прослойки

итальянцев, был населен чернокожими.

Мы миновали перекресток, где топтались трое парней. За их спинами, на шатких складных стульях, вынесенных на тротуар, сидели в тени двое стариков. Я ощутила, как напряглась рядом со мной мать. У меня на лице заныли синяки и ссадины. Казалось, будто каждый на этой улице меня видит и что-то знает.

— Тошнит, — пожаловалась я матери.

— Уже, считай, приехали.

— Кошмарное чувство, мама, — выдавила я, пытаюсь сохранять спокойствие.

Я прекрасно знала, что эти старики меня и пальцем не тронули. Знала, что долговязый чернокожий парень в зеленом костюме, сидевший на автобусной остановке, не нападал на меня в парке. И тем не менее испытывала страх.

— Какое чувство, Элис? — Она начала растирать грудь костяшками пальцев.

— Как будто я лежала под каждым из этих.

— Глупости, Элис.

Мы остановились перед светофором. Когда зажегся зеленый, прибавили газу. Однако даже на такой скорости я успела обшарить глазами следующий угол.

И увидела его: он сидел на корточках в асфальтовой глубине квартала, прислонясь спиной к чистой кирпичной стене сравнительно нового дома. Я поймала его взгляд. Он поймал мой. «Я была с тобой», — беззвучно прокричала я.

Это стало первой приметой того ощущения, которое преследовало меня долгие годы. Судьба соединила меня не с друзьями детства, не с университетскими однокашниками и даже не с новыми знакомыми, которые впоследствии встретились на моем пути. Судьба соединила меня с насильником. Повенчала меня с ним, как с нареченным.

Оставив позади это предместье, мы въехали в другой мир, где обитала моя сестра, — на территорию Пенсильванского университета. Дома, предоставляемые студентам, стояли нараспашку, а вдоль тротуаров были в два ряда припаркованы фургоны «Университетских перевозок» и фирмы «Райдер». Кто-то додумался устроить отвальную с пивом. Рослые белые парни — кто в облегающей майке, кто с голым торсом — сидели на уличных скамьях и потягивали пиво из пластиковых стаканов.

Мы с матерью пробились к общежитию сестры и припарковались.

Подъехавший через минуту отец тоже сумел остановиться поблизости. Я осталась в машине. Мама, пытаясь скрыть очередной «глюк», расхаживала по тротуару.

До меня донеслись отцовские слова, прерванные маминым многозначительным взглядом:

— Ты видела этих скотов, которые отираются у каждого столба и...

Мать стрельнула глазами в мою сторону.

— Тише, Бад, — шепнула она.

Отец подошел ко мне и наклонился к окну:

— Как доехала, Элис?

— Нормально, папа, — ответила я.

Он раскраснелся и вспотел. Беспомощный. Напуганный. Никогда раньше я не слышала, чтобы он так огульно клеймил черных или другие меньшинства.

Папа отправился сообщить сестре, что мы приехали. Я ждала в машине вместе с подсевшей ко мне матерью. Мы молчали. Я наблюдала за прощальной суетой. Студенты заталкивали свои пожитки в большие брезентовые цилиндры, похожие на почтовые мешки.

Их можно было катить по асфальту прямо к родительским машинам. Знакомые семьи приветствовали друг друга. На вытоптанном клочке газона двое парней перебрасывались летающей тарелкой «фрисби». Из окон общежития сестры неслась оглушительная музыка. В воздухе витал дух свободы и раскрепощенности; по кампусу эпидемией распространялось лето.

Вскоре появилась моя сестра. Я заметила, как она выходит из дверей, примерно в сотне футов от машины, и уже не сводила с нее глаз. На таком же расстоянии от меня был насильник, когда крикнул: «Эй, крошка! Тебя как звать-то?»

Помню, как она наклонилась, заглядывая в машину.

— Что у тебя с лицом! — вырвалось у нее. — Как ты?

— Как видишь, изрядно потрудились, чтобы отравить тебе настроение, — отшутилась я.

— Что ты, в самом деле, Элис, — упрекнул отец, — у тебя всего-навсего спросили, как ты себя чувствуешь.

— Хочу вылезти из машины, — заявила я матери. — А то сижу как дура.

Мои родные пришли в замешательство, но я, ступив на тротуар, выпрямилась в полный рост и выразила желание пройтись по общежитию, увидеть комнату Мэри, помочь в сборах.

Синяки у меня на лице не так уж бросались в глаза. Если не приглядываться. Однако на пути к общежитию встречные вначале просто скользили взглядом по нашей семье — совершенно заурядной: мать, отец, две дочери, а потом неизменно задерживали взгляд на мне, отмечая нечто подозрительное. Заплывший глаз, порезы на щеке и на носу, припухшие губы, расцветающие лиловым кровоподтеки. Пристальных взглядов становилось все больше, я ощущала их кожей, но шла вперед как ни в чем не бывало. Видные собой парни и девушки из элитарного университета, умные и наглые, окружали меня со всех сторон. Я твердила себе, что держу марку ради близких, которые еще не научились жить с этим грузом. Но вместе с тем и ради самой себя. Мы вошли в лифт, и мне с лихвой хватило времени, чтобы изучить выразительные граффити.

В тот год одна девушка подверглась групповому изнасилованию в компании студентов. Она пожаловалась ректору и подала в суд. Хотела призвать негодяев к ответу. Но те, заручившись поддержкой престижного университетского объединения, сделали невозможным ее дальнейшее пребывание на факультете. Она вынуждена была отчислиться задолго до нашего приезда в кампус. На стенке лифта остался сделанный шариковой ручкой похабный рисунок, изображавший девушку с широко раздвинутыми ногами, а рядом — очередь из мужских фигур. Надпись гласила: «Марси дает всем».

Вместе с нами в лифт втиснулись студенты, которые поднимались к себе за очередной порцией багажа. Прижатая к боковой стенке, я упиралась взглядом в изображение Марси. В голове вертелось: где же она теперь, что с ней стало?

Как держались в тот день мои родные — припоминаю весьма смутно. Я бодрилась изо всех сил, полагая, что за это меня и любят. Но время от времени какие-то впечатления выбивали меня из колеи. Сначала чернокожий парень из западного предместья Филадельфии, сидевший на корточках у кирпичной стены, потом красавчики студенты, бросавшие «фрисби»: летающая тарелка оранжевым диском взвилась вверх по дуге и шлепнулась мне под ноги. Один из игроков поспешил ее поднять. Распрямившись, он оказался со мной лицом к лицу.

— Ни фиги себе, — вырвалось у него.

Он даже забыл про игру.

Ну и ладно; в конце-то концов, самое главное — это твои родные. Вот сестра: сейчас она тебе покажет свою комнату в общежитии. Вот мать: пытается совладать с нервами. Вот отец: сейчас он во власти заблуждений, но потом надо будет его просветить — придется взвалить на себя и этот груз. Начинаешь себя убеждать: не зацикливайся на чернухе. Иначе просто рухнешь оземь среди бела дня, на погляденье этим красавчикам, в том самом месте, где, по слухам, Марси давала всем.

Домой мы возвращались уже вчетвером. На этот раз я ехала с отцом. Теперь-то мне ясно: по дороге мать наверняка рассказала сестре все, что знала сама; они собирались с духом, готовясь к предстоящим испытаниям.

Мэри внесла в дом самое необходимое и поднялась к себе в спальню, чтобы распаковать вещи. Предполагалось, что мы перекусим без затей, «чем Бог послал», как выражалась мама, после чего отец удалится к себе в кабинет поработать, а мне представится возможность побыть с сестрой.

Но когда мама позвала Мэри к столу, та не ответила. Мать позвала снова. У нас в семье не считалось зазорным кричать через весь дом. Даже орать из гостиной несколько раз кряду — и то было в порядке вещей. Но тут мама не выдержала и отправилась наверх, однако через пару минут вернулась ни с чем.

— Мэри заперлась в ванной, — сообщила она.

— С чего бы это? — не понял отец.

Он нарезал толстыми кусками деликатесный сыр и тайком скармливал собаке.

— Она переживает, Бад, — объяснила мама.

— Все переживают, — заметила я. — Это не повод нарушать компанию, правда?

— Элис, думаю, тебе имеет смысл к ней подняться.

В другой раз я бы заартачилась, но сейчас даже не возражала. Картина знакомая: Мэри, как всегда, переживает, и мама, как всегда, просит меня с ней побеседовать. Я, постучавшись, вхожу, присаживаюсь на краешек кровати, а сестра и бровью не ведет. Значит, пора — как я это называю — «делать оживляж». Мало-помалу я ее расшевелю, и она соизволит спуститься к ужину или, по крайней мере, начнет хохотать над неприличными анекдотами, которые у меня специально припасены для таких случаев.

Впрочем, в тот день, по моему убеждению, ей нужно было просто видеть меня рядом. Не потому, что мать поручила мне «оживляж». А потому, что именно из-за меня сестра заперлась в ванной и отказывалась выходить.

Поднявшись по ступенькам, я осторожно постучала в дверь ванной.

— Мэри?

Ответа не последовало.

— Мэри. — Второй заход. — Это я. Открой.

— Уйди. — Судя по голосу, она плакала.

— Послушай, — сказала я, — не глупи. Я умираю — хочу писать. Если не откроешь, у тебя в спальне будет лужа.

Наступила тишина, потом щелкнул дверной замок.

Я распахнула дверь.

У нас с сестрой была типичная «девичья ванная». При строительстве дома этот санузел отделали в розовых тонах. Представляю, как бы чувствовали себя в такой обстановке мальчишки, если даже мы с Мэри возненавидели розовый цвет. Умывальник — розовый.

Кафель — розовый. Ванна — розовая. Стены — розовые. Глазу не на чем отдохнуть.

Мэри вжалась в простенок между раковиной и унитазом, как можно дальше от меня.

— Эй, — окликнула я. — Что за дела?

Мне хотелось ее обнять; хотелось, чтобы и она обняла меня.

— Не сердись, — проговорила сестра. — У тебя такая сила воли. Даже не знаю, как себя вести.

— Мэри, — выдавила я. — Если бы ты знала, как мне паршиво.

— Не представляю, как ты еще держишься. — Она подняла мокрое от слез лицо.

— Все тип-топ, — попыталась я приободрить сестру. — Все будет тип-топ.

Она по-прежнему уклонялась от прикосновений и, как птица в клетке, пугливо металась между пластиковой занавеской и вешалкой для полотенец. Я сказала, что собираюсь заморить червячка и советую ей сделать то же самое, а потом вышла, прикрыв за собой дверь.

Из нас двоих моя сестра всегда считалась более тонкой натурой. В детстве нас с ней водили в летнюю группу при Христианском союзе молодежи; в последний день сезона там выдавали наградные значки. Чтобы никого не обидеть, воспитатели придумали различные номинации. Мне, например, достался значок с изображением палитры и кистей — символ искусств и ремесел. Мою сестру отметили за примерное поведение, как самого тихого ребенка. К ее значку была приклеена серая фетровая мышка, которую воспитатели сделали вручную. Сестра увидела в этом особый смысл и впоследствии научилась заканчивать росчерк своей подписи маленькой мышкой.

Как только я вошла в столовую, отец с матерью начали спрашивать, что же такое с Мэри. Я ответила, что она, вероятно, скоро спустится.

— Ну что ж, Элис, — сказал отец, — если такому суждено было случиться с одной из вас, хорошо, что это оказалась ты, а не твоя сестра.

— Опомнись, Бад! — ужаснулась мама.

— Я всего лишь хотел сказать, что из них двоих...

— Все нормально, папа, — перебила я, положив руку ему на локоть.

— Вот видишь, Джейн, — приободрился отец.

Мама считала, что на первых порах мы все должны ставить во главу угла семью или хотя бы идею семьи. Для четырех человек, живущих каждый своей жизнью, задача оказалась не из легких. Однако тем летом я пересмотрела в компании своей семьи больше скучных телепередач, нежели за все годы до и после.

Время ужина стало священным. Мама, у которой по всей кухне развешаны многозначительные девизы на тему «кухарки здесь нет», теперь готовила еду каждый вечер. Помню, как сестра изо всех сил сдерживалась, чтобы не высказаться про папино «чавканье». Каждый старался проявлять свои лучшие качества. Трудно представить, что творилось в мыслях у моих близких. Наверное, и сестра, и родители вконец извелись. Интересно, неужели они купились на мою маску сильной личности? Или только делали вид?

Поначалу я ходила исключительно в ночных сорочках. В ночных сорочках фирмы «Занз», которые покупали для меня родители. Очевидно, мама, посылая отца за продуктами, напоминала ему зайти в магазин белья и купить мне новую ночнушку. Это разумное излишество создавало у нас иллюзию богатства.

То есть все выходили к столу в нормальной летней одежде, а я восседала на своем стуле в длинной белой ночной рубашке.

Сейчас уже не помню, с чего все началось, но, едва возникнув, эта тема вышла на первый план в наших разговорах.

Речь зашла об оружии насильника. Возможно, я сама упомянула, что полицейские нашли мои очки и его нож практически в одном месте, возле вымощенной кирпичом дорожки.

— Ты хочешь сказать, в тоннеле при нем не было ножа? — спросил отец.

— Ну да, — подтвердила я.

— Не понял.

— Что здесь понимать, Бад? — вмешалась в разговор мама.

После двадцати лет супружества она, видимо, понимала, к чему он клонит. Может быть, с глазу на глаз ей уже приходилось защищать меня от его подозрений.

— Как же он умудрился тебя изнасиловать, если у него не было ножа?

Наши застольные беседы нередко перерастали в бурные споры независимо от важности предмета. Самые горячие дискуссии возникали из-за орфографии трудных слов и толкования значений. Нередко кто-нибудь из нас притаскивал в столовую неподъемный том Оксфордского словаря — хоть за праздничным обедом, хоть в присутствии гостей. Кстати, наш беспородный кобелек — помесь пуделя с дворняжкой — получил кличку Уэбстер, в честь более компактного лексикографического издания. Но в тот раз семейный спор обозначил границу между мужским и женским составами: с одной стороны женская команда — мама и сестра, с другой — отец.

У меня закралась мысль, что мы с отцом больше не сможем быть заодно, если его сейчас заключают. Грудью встав на мою защиту, мама с сестрой кричали, чтобы он угомонился, но я сказала, обращаясь к ним обеим, что хочу сама во всем разобраться. По моему настоянию мы с папой пошли на второй этаж, чтобы поговорить без помех. Мать с сестрой были так на него злы, что даже покраснели. А папа стал похожим на ребенка, который возомнил, что знает правила, и сел играть со взрослыми, да струхнул, когда его щелкнули по носу.

Мы поднялись по лестнице в мамину спальню. Я усадила отца на кушетку и заняла место напротив, в рабочем кресле.

— Я не собираюсь с тобой ругаться, папа, — начала я. — Просто хочу уточнить, что тебе непонятно, и попробую дать ответ.

— Мне непонятно, почему ты не пыталась убежать, — сказал он.

— Я пыталась.

— Каким образом можно было совершить насилие, если ты сопротивлялась?

— По-твоему, я сама хотела, чтобы он меня изнасиловал?

— Но ведь в тот момент у него даже не оказалось ножа.

— Папа, — возразила я, — сам посуди. Это же физически невозможно: насиловать, избивать и одновременно сжимать в руке нож.

Он ненадолго впал в задумчивость, но вроде бы согласился.

— Схема почти во всех случаях одинакова, — продолжала я. — Даже если такое преступление совершается с применением оружия, в момент насилия никто не размахивает оружием у лица жертвы. Пойми, папа, силы были неравны. Он меня зверски избил. Неужели я сама этого хотела?

Оглядываясь назад, я вижу себя со стороны и не могу представить, откуда у меня взялось такое терпение. Отцовское недомыслие, признаюсь, меня поразило. Я была просто в

шоке, но отчаянно стремилась найти понимание. Если даже родной отец, который искренне хотел меня понять, не мог сообразить, что к чему, что уж говорить о других мужчинах?

До него не доходило, какие муки мне пришлось испытать и как вообще все это могло случиться без моего попустительства. Его скудоумие резало меня по живому. Боль не прошла до сих пор, но отца я не виню. Хотя он и в самом деле многого не понимал, но я, выходя из маминой комнаты, уже знала — и это было существенно, — как много значила для него наша беседа наедине и моя готовность ответить по мере сил на все вопросы. Я любила отца, и он любил меня, однако разговор получился скомканным. Переживать по этому поводу не стоило. Ведь я уже приготовилась к тому, что моя беда сокрушительным образом подействует на всех близких мне людей. Жизнь продолжалась — и на том спасибо.

Хотя каждый из нас существовал на своем собственном островке горя, телевизор относился к тому разряду вещей, которые объединяли нашу семью; впрочем, не без оговорок.

Мне всегда нравился Коджак. Лысый, циничный, говорит односложно, переплевывая через губу, и постоянно сосет леденец. А в душе добрый. Кроме того, держит под контролем целый город и шпыняет недотепу братца. Все это вызывало у меня симпатию.

Так вот, я лежала перед телевизором в фирменной ночной рубашке, смотрела Коджака и потягивала — стакан за стаканом — коктейль из шоколадного молока. (Первое время организм не принимал твердую пищу. После извращенного насилия у меня был воспален весь рот, и любой кусок вызывал невыносимые ощущения.).

Больше книг на сайте - Knigolub.net

В одиночку фильмы про Коджака воспринимались вполне сносно, потому что сцены насилия, хоть и жестокие, не имели ничего общего с действительностью. (Где вонь? Где кровь? Почему все жертвы как на подбор такие смазливые и фигуристые?) Но как только к телевизору присаживались родители или сестра, я сжималась в комок.

Как сейчас помню: сестра занимала кресло-качалку и оказывалась прямо передо мной. Прежде чем щелкнуть пультом, спрашивала, устроит ли меня такая-то и такая-то программа. Получив утвердительный ответ, включала телик и бдительно следила за содержанием передачи — хоть час, хоть два. Стоило ей заметить что-то неподобающее, как она беспокойно поворачивалась в мою сторону.

— Все нормально, Мэри, — успокаивала я сестру, легко предугадывая, какой эпизод вызовет ее тревогу.

А сама злилась на сестру и родителей. Мне была необходима видимость того, что хотя бы в стенах дома я остаюсь собой, прежней. Глупость, конечно, но для меня это было важно; поэтому участливые взгляды воспринимались мною как предательство, хотя умом я понимала, что не права.

Прошло немало времени, прежде чем я догадалась: для моих близких, в отличие от меня, эти просмотры были сущим мучением. Поскольку я не вдавалась в подробности, родителям и сестре было невдомек, что же именно творил со мной насильник. Они соединяли все мыслимые ужасы и кошмарные сны, рисуя картину преступления. А я испытала эти зверства на своей шкуре.

Но разве заставишь себя выговорить это в присутствии тех, кто тебя любит? Разве можно признаться, что тебе в лицо била струя мочи, а ты потом отвечала на поцелуи насильника, чтобы только спасти свою жизнь?

Этот вопрос не дает мне покоя и по сей день. Стоит с кем-нибудь поделиться

жестокими фактами — хоть с возлюбленным, хоть с подругой, — и люди начинают смотреть на меня другими глазами. Я встречала и трепет, и уважение, иногда — брезгливость; пару раз столкнулась даже с неприкрытой яростью, причины которой не могу понять до сих пор. Некоторые мужчины, да и женщины-лесбиянки тоже, возбуждаются от моего рассказа, начинают думать, будто на них теперь возложена некая миссия, и спешат перевести наши отношения в сексуальную сферу, чтобы вытащить меня из-под завалов прошлого опыта. Разумеется, все их благие намерения тщетны. Человека невозможно вытащить из-под завалов прошлого. Либо ты выкарабкиваешься самостоятельно, либо остаешься под обломками.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мама была старостой в епископальной церкви Святого Петра. Наша семья посещала эту церковь с тех самых пор, когда мы переехали в Пенсильванию — мне тогда исполнилось пять лет. Я привязалась к пастору Бройнингеру и его сынишке Полу, моему ровеснику. В студенческие годы я поняла, что отец Бройнингер словно сошел со страниц Генри Филдинга: добросердечный, хотя и не семи пядей во лбу священнослужитель, окруженный небольшой, но преданной паствой. Пол из года в год продавал прихожанам рождественские венки; жена пастора, Филлис, отличалась высоким ростом и нервным характером. Последнее обстоятельство, подобно соринке в чужом глазу, вызывало у моей мамы сочувственные замечания.

После службы я любила побегать среди захоронений в церковном дворике; любила слушать разговоры мамы с папой по пути в церковь и обратно; любила, когда надо мной умильно ворковали прихожанки, и еще любила — нет, просто обожала — Майру Нарбонн. Мама тоже выделяла ее среди прочих старушек. Майра приговаривала, что «состарилась, пока это еще не вошло в моду». Она сама частенько подтрунивала над своим толстым животом и ангельским венчиком редких волос. Среди столпов местного общества, которые по воскресеньям неизменно появлялись в одних и тех же идеально подогнанных по фигуре, но допотопных костюмах, Майра была как глоток свежего воздуха. Она и сама могла похвалиться благородным происхождением, однако носила, по моде семидесятых, пышные юбки, про которые сама говорила: «как из скатерти сшиты». Ее блуза иногда не застегивалась на нижние пуговицы, потому что тяжелые груди свисали все ближе и ближе к земле. Она укрепляла чашки бюстгальтера гигиеническими прокладками (то же самое делала, кстати, и моя родная бабушка, жившая на востоке штата Теннесси) и приберегала для меня печенье, когда мне случалось заиграться у церкви. Ее мужа звали Эд. Службу он посещал редко, причем всем своим видом показывал, что хочет поскорее смыться.

Я ходила к ним в гости. У них был бассейн, где молодежи разрешалось вволю поплескаться. Нарбонны держали пятнистую собаку по кличке Веснушка и ораву кошек, среди которых одна, черно-рыжая, выделялась невероятной толщиной. Когда я училась в школе, Майра поддерживала мое стремление стать художницей. Она тоже увлекалась живописью и оборудовала себе студию в оранжерее. Видимо, она понимала без слов, что в семье мне живется не слишком здорово.

Поступив на первый курс, я хвостом ходила за Мэри-Элис по студенческим барам на Маршалл-стрит, а дома между тем произошли события, которые не укладывались у меня в голове.

Майра никогда не запирала входные двери. Она постоянно курсировала из дома в сад и обратно. Собака Веснушка тоже не желала сидеть взаперти. Опасаться было нечего: хотя дом, спрятанный за лесополосой, стоял на отшибе, по соседству жили вполне приличные фермерские семьи. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда трое мужчин в маска-чулках перережут телефонный провод и ворвутся в дом.

Они растащили Эда и Майру по разным комнатам, а Майру еще и связали. Отсутствие наличности привело их в бешенство. Избитый до полусмерти Эд скатился по лестнице в погреб. Один из грабителей ринулся за ним. Другой рыскал по дому. А третий, которого

дружки называли Джоуи, сторожил Майру, обзывал ее старой каргой и хлестал наотмашь по лицу.

Грабители забрали все, что смогли унести. Джоуи сказал, чтобы Майра не рыпалась и не вздумала заявлять в полицию, если не хочет подохнуть, как ее старик. После их ухода Майра, корчась на полу, кое-как освободилась от веревок. Спуститься в погреб она не смогла, потому что у нее оказалась сломана лодыжка. Мало этого: как выяснилось позже, ей переломали ребра.

Невзирая на угрозы Джоуи, Майра выбралась из дому. Двигаться в сторону шоссе было страшно. Вместо этого она стала ползком продираться сквозь заросли кустарника и, преодолев не менее мили, очутилась на безлюдной проселочной дороге. Только там, босая, истекающая кровью, она отважилась подняться с земли. Прошло немало времени, прежде чем на дороге появилась машина. Майра замахала рукой.

Ей стоило больших трудов склониться к открытому окну.

— Вызовите подмогу, — прохрипела она. — Ко мне в дом ворвались трое бандитов. Кажется, мужа моего убили.

— Сама разбирайся, мамаша.

Тут до нее дошло, кто сидел в машине. Это был Джоуи, причем один. Голос точно принадлежал ему. Теперь, когда на лице не было маски-чулка, она его разглядела как следует.

— Отвянь, — бросил он, когда Майра, узнав своего мучителя, вцепилась ему в плечо.

И нажал на газ. Майра упала на дорогу, но поползла дальше и добралась до какого-то дома, откуда позвонила в полицию. Эда срочно отправили в больницу. Если бы Майра хоть немного задержалась, сказали впоследствии врачи, ее муж умер бы от потери крови.

Зимой того же года приход церкви Святого Петра буквально взорвался: арестовали Пола Бройнингера.

Став старшеклассником, Пол отказался торговать рождественскими венками. Он отрастил длинные рыжие патлы и стал избегать появляться в церкви. Мама говорила, что он устроил себе отдельный вход в дом. И что пастор Бройнингер не в состоянии повлиять на собственного сына. Как-то в феврале Пол наглотался «колес» и явился в цветочный магазин на 30-м шоссе, где потребовал у владелицы, миссис Моул, одну чайную розу; вместе с сообщником, ожидавшим в автомобиле, они готовились к ограблению целую неделю. Пол не раз покупал одну чайную розу и следил, как миссис Моул управляет с кассовым аппаратом.

Однако день был выбран неудачно. Буквально за пару минут до их появления муж хозяйки увез всю недельную выручку. В ящике оставалось еле-еле четыре доллара. Пол разъярился. Он нанес миссис Моул пятнадцать ножевых ран в лицо и шею, выкрикивая раз за разом: «Сдохни, сука, сдохни». Миссис Моул не сдалась. Выбравшись из магазина, она рухнула в сугроб. Проходившая мимо женщина заметила на горке кровавый след и по нему нашла миссис Моул: та лежала в снегу без сознания.

Вскоре после изнасилования, в том же месяце, я предстала перед прихожанами; люди были потрясены, а больше всех — отец Бройнингер. Моя мама, будучи старостой, оказалась посвященной в его собственную трагедию. Пол сидел в тюрьме, ожидая суда; хотя в свои семнадцать он был несовершеннолетним, ему предстояло отвечать по всей строгости закона. Отец Бройнингер даже не подозревал, что его сын с пятнадцати лет глушил виски. Не ведал

он и о наркотиках, найденных при обыске у них дома, и мог лишь догадываться, что Пол фактически бросил школу. А хамство своего отпрыска пастор объяснял трудностями переходного возраста.

Опять же, будучи старостой и доверяя отцу Бройнингеру, мама поведала ему, что со мной произошло. Пастор счел нужным известить прихожан. Правда, он не упомянул изнасилование, а сказал: «Подверглась жестокому преступлению — была ограблена в парке, неподалеку от университета». Любая женщина в здравом уме могла истолковать это единственным способом. Фраза передавалась из уст в уста, но люди-то видели, что переломов у меня нет, так в чем же проявилась жестокость? Ах... неужели *это самое?*..

Отец Бройнингер пришел к нам домой. Помню его взгляд, полный сострадания. Уже тогда от меня не укрылось: он рассуждает о своем сыне точно так же, как обо мне, — несчастное дитя на пороге взрослой жизни лишилось будущего. От мамы я знала, что отцу Бройнингеру трудно свыкнуться с мыслью о виновности Пола в покушении на жизнь миссис Моул. Пастор обвинял наркотики, обвинял двадцатидвухлетнего парня-сообщника, обвинял, наконец, самого себя. Но признать вину родного сына так и не смог.

Наша семья собралась в гостиной; эта комната у нас почти не использовалась. Все чинно сидели на краешках антикварных кресел. Мама подала Фреду — так взрослые называли отца Бройнингера — чашку горячего напитка, кажется чаю. Разговор шел ни о чем. Я устроилась на отцовском сокровище, голубом канапе, к которому детей и собак не подпускали на пушечный выстрел. (Как-то перед Рождеством я взяла кусочек печенья, заманила одного из бассетов на голубой шелк, сделала несколько фотографий и подарила их папе в аккуратных рамочках.)

Отец Бройнингер попросил всех встать в круг и взяться за руки. В тот день он пришел в черной сутане с белым воротником-стойкой. Шелковая кисточка крученого пояса поболталась туда-сюда и замерла.

— Помолимся, — сказал пастор.

Это меня поразило. У нас в семье было принято открыто обсуждать и скептически оценивать любые события. Такая уклончивость показалась мне верхом лицемерия. Слушая пасторский голос, возносящий молитву, я обводила взглядом сестру, родителей, отца Бройнингера. Они склонили головы и закрыли глаза. Я не последовала их примеру. Молитва была о спасении моей души. Мой взгляд остановился под животом отца Бройнингера. Перед мысленным взором возникло то, что скрыто черной сутаной. Он же мужчина. Значит, у него, как у всех прочих, должен быть мужской член. По какому праву, думала я, этот самец призывает молиться о спасении моей души?

И вот что еще не шло из головы: его сын, Пол. Стоя в общем кружке, я твердила себе, что Пол арестован и не избежит приговора. Его посадили за решетку, и миссис Моул, по всей видимости, этим удовлетворена. Пол сотворил зло. Отец Бройнингер всю жизнь талдычил про Бога, а сам прощелкал единственного сына, который в буквальном смысле был теперь для него потерян. Но я-то не потеряна. Я никому не причинила зла. Во мне вдруг окрепла какая-то сила, и действия моих родных — акт веры, или послушания, или добродетели — показались нелепыми. Я разозлилась, что они разыгрывают живые картины. Стоят на ковре в гостиной, где мы собирались только по большим праздникам, и молятся за меня какому-то там Богу, в которого не особенно и верят.

Наконец отец Бройнингер собрался уходить. Мне пришлось с ним обняться. На меня пахло одеколоном и нафталиновой затхлостью церковной ризницы. Помыслы его были

чисты и беспорочны. На его долю тоже выпала беда, но пожалеть его у меня не получалось — ни с Божьей помощью, ни как-нибудь иначе.

Вслед за пастором потянулись старушки. Хорошие, добрые, умудренные опытом старушки.

Каждую из них по очереди провожали в гостиную и усаживали в дорогое широкое кресло, над которым всю жизнь тряслись родители. Это был завидный наблюдательный пункт. С высокого сиденья человек разом обозревал и гостиную (обитое голубым шелком канаве оказывалось по правую руку), и столовую, где на видном месте красовался серебряный чайный сервиз. Каждой гостье подавали чай в чашечке китайского фарфора, из тех, что родители получили на свадьбу; мама суежилась, как будто прислуживала особам королевской крови.

Первой явилась Бетти Джитлс. У Бетти Джитлс водились деньги. Ей принадлежал роскошный особняк неподалеку от Вэлли-Фордж — предмет зависти моей мамы, которая, проезжая мимо, всегда давила на газ, чтобы себя не выдать. Лицо Бетти было изрезано глубокими благородными морщинами. Внешностью она напоминала породистого шарпея, а в ее речи сквозил аристократический выговор, который мама приписывала «благородным корням».

По случаю прихода миссис Джитлс я накинула поверх ночной сорочки домашний халат. И снова заняла место на голубом канаве. Мне вручили подарок — книгу «Эйкинфилд: облик китайской деревни». Бетти запомнила, как в детстве я сказала сидевшим за кофе дамам, что хочу стать археологом. Во время ее непродолжительного визита разговор опять шел о всякой ерунде. Беседу поддерживала мама. Сначала про церковь, потом про Фреда. Бетти в основном слушала. Время от времени кивала или поддакивала. Помню, она косилась в сторону моего диванчика; у нее явно чесался язык, но не хватало духу произнести роковое слово.

Ей на смену прибыла Пегги О'Нил, которую родители за глаза называли старой девой. Эта не могла похвалиться фамильным состоянием. Пегги всю жизнь учительствовала и усердно копила себе на старость. Ее домик-пряник, стоявший в стороне от главной дороги, не занимал мамины мысли. Волосы она красила в иссиня-черный цвет. Как и Майра, питала слабость к сезонным сумочкам. На весну — из соломки, разрисованная дынями, на осень — с аппликацией из бусин и кожаных шнурков. Вещи из ее гардероба легко комбинировались друг с другом: добротные костюмы, легкие блузы. По-видимому, материалы выбирались с таким расчетом, чтобы не привлекать внимания к фигуре. Теперь, когда у меня самой есть преподавательский опыт, могу сказать: это была типичная учительская одежда.

Вроде бы Пегги тоже принесла какой-то подарок, но точно не помню. Не такая церемонная, как миссис Джитлс, она вполне могла прийти с пустыми руками. Мне приходилось делать над собой усилие, чтобы говорить ей «мисс О'Нил», а не «Пегги». Она сыпала шутками и сумела меня рассмешить. Призналась, что в пустом доме ей боязно. Что женщине вообще опасно быть одной. Сказала, что я держусь молодцом, проявляю большую силу воли и обязательно все преодолею. А под конец, с юмором, но не покривив душой, заметила, что остаться на всю жизнь старой девой еще не самое страшное.

Последней пришла Майра.

Жаль, что ее посещение запомнилось мне смутно. Точнее, моя память, к великому сожалению, не сохранила во всех деталях, как она была одета, как держалась, что говорила. Отчетливо помню только одно: у меня возникло чувство единения с женщиной, которая

пережила «нечто подобное». Не просто знала, как это бывает, а понимала — в меру собственного опыта, — что выпало на мою долю.

Она сидела в том же антикварном кресле, согревая и ободряя меня своим присутствием. Ее муж Эд так и не оправился после зверских побоев. Надежды на полное выздоровление не осталось. Травмы головы не прошли даром. Он заговаривался, не мог сосредоточиться. Мы с Майрой были чем-то похожи: от нее тоже ожидали стойкости. Памятуя о ее внешности и репутации, люди размышляли: если такому суждено было случиться с кем-то из старушек, то лучше уж с самой волевой. Она рассказала мне про тех троих. Со смехом повторяла, что бандиты не ожидали такой прыти от старой развалины. Вскоре ей предстояло давать показания в суде. Джоуи был задержан по приметам, которые она сообщила полиции. Но как только речь заходила о муже, ее глаза затуманивались.

Моя мама исподтишка наблюдала за Майрой, чтобы решить, пойду ли я на поправку. Я тоже исподтишка наблюдала за Майрой, чтобы решить, понимает ли она мое состояние. В какой-то момент она заметила:

— Мои беды — это тьфу по сравнению с твоими. Ты молодая, красивая. На меня-то вряд ли кто польстится.

— Это было изнасилование, — сказала я.

В гостиной повисло молчание; мама неловко заерзала. Комната, безупречно вылизанная, тщательно обставленная антикварной мебелью, увешанная мрачными портретами испанских грандов, взирающих со стен на подушечки с маминой ручной вышивкой, вдруг изменилась. Почему-то у меня возникла потребность высказаться. Но одновременно возникло чувство, что такое высказывание сродни вандализму. Как будто я взяла да и выплеснула ушат крови — на голубую обивку, на Майру и ее кресло, на маму.

А теперь мы втроем молча смотрели, как на пол стекают кровавые струйки.

— Понятное дело, — произнесла Майра.

— Мне просто нужно было сказать это вслух, — объяснила я.

— Это тяжело.

— Не просто «мои беды», или «нападение», или «телесные повреждения», или «это самое». Я считаю, надо называть вещи своими именами.

— Да, изнасилование, — повторила Майра. — Со мной такого не случилось.

Беседа вернулась в прежнее накатанное русло. Майра у нас не засиделась. Но с ней я побывала на другой планете, не похожей на ту, где обитали мои родители и сестра. На той планете насилие в корне меняет твою жизнь.

Вечером того же дня к нам заглянул один парень, тоже из нашего прихода, старший брат моей подружки. Я дышала воздухом на задней веранде в одной ночной сорочке. Сестра сидела у себя наверху.

— Девочки, Джонатан пришел, — крикнула мама из прихожей.

Уж не знаю почему — то ли потому что у него были песочно-желтые волосы, то ли потому что он уже окончил колледж и получил работу в Шотландии, то ли потому что моя мама души в нем не чаяла и доводила до нашего сведения все успехи этого образцово-показательного мальчика, — но мы с сестрой были тайно в него влюблены. В прихожей мы появились одновременно: я вышла из недр дома, а сестра спустилась по винтовой лестнице. Его взгляд остановился на Мэри. Моя сестра никогда не задирала нос. Нельзя сказать, что она плела интриги, флиртвала или пускала в ход еще какие-то недозволенные приемы,

чтобы меня обойти. Просто она была красивее. Джонатан заулыбался; начался традиционный обмен приветствиями: «Привет! Как жизнь?» — «Нормально. А ты как?» И тут его взгляд упал на меня. Как на инородное тело.

Минуту-другую мы потрепались в холле. Потом сестра пригласила Джонатана в комнату, а я извинилась. Прикрыла за собой дверь, ушла на веранду и села на стул, спиной к дому. Из глаз брызнули слезы. В ушах звучало выражение «приличные мальчики». Перехватив взгляд Джонатана, я окончательно убедилась: *приличные мальчики никогда не захотят иметь дело со мной*. Изнасилование налепило на меня гнусные ярлыки: уже не та, пропадающая, оторви да брось, порченная, трахнутая.

После ухода Джонатана сестра порхала как на крыльях.

Я решила вернуться в дом. Меня никто не видел; через окошко, выходящее на веранду, доносился радостный голос Мэри.

— По-моему, он к тебе неравнодушен, — говорила мама.

— Честно? — переспрашивала сестра возбужденно-счастливым тоном.

— Во всяком случае, с виду, — отвечала мама.

— Он неравнодушен к Мэри только потому, — сказала я, обнаружив свое присутствие, — что Мэри не была изнасилована!

— Элис, — укорила мама, — зачем ты так?

— Он же приличный мальчик, — сказала я. — Приличные мальчики теперь меня сторонятся.

Сестра лишилась дара речи. Ее корабль получил пробоину. Только что она летела на всех парусах и наслаждалась заслуженным успехом. Ведь всю неделю после возвращения домой на каникулы она просидела у себя в комнате, никого не трогая и не привлекая к себе внимания.

— Элис, — повторила мама, — это неправда.

— Нет, правда. Ты бы видела, как он на меня посмотрел. Даже не стал притворяться.

У меня зазвенел голос. На шум из кабинета появился отец, прервавший научные занятия.

— Что за крики? — возмутился он, входя в комнату.

В правой руке у него были очки для чтения; он будто заснул в средневековой Испании, а теперь проснулся от грубого пинка.

— Спасибо, что вышел к народу, Бад, — сказала мама, — но мы тут сами разберемся.

— Ни один приличный мальчик теперь меня не захочет, — выдала я.

Не зная, из-за чего разгорелась перепалка, отец ужаснулся:

— Что за бред, Элис?

— Это не бред, это правда! Я же затрахана, кому я теперь нужна?

— Не говори гадостей, — сказал отец. — Ты красивая девочка; разумеется, мальчики захотят с тобой встречаться.

— Да, как же! На кой приличному мальчику нужна трахнутая?

Меня уже было не остановить. Сестра бросилась вверх по лестнице, а я орала ей вслед:

— Давай-давай, занеси это в дневник. «Сегодня ко мне зашел один приличный мальчик». Мне такое не грозит!

— Оставь сестру в покое, — одернула мама.

— С какой это стати? Она преспокойно сидит у себя в комнате, а за мной установлена слежка, чтобы я не покончила с собой. Папа ходит кругами, чтобы ненароком меня не задеть

— вдруг я развалюсь на части? А ты прячешься в кладовке, чтобы я не видела, как тебя глючит!

— Успокойся, Элис, — сказал отец. — Ты просто переволновалась.

Мать начала растирать грудную клетку.

— Мы с мамой делаем все, что от нас зависит, — продолжил он. — Просто временами теряемся.

— Хоть бы научились выговаривать это слово. — Я взяла себя в руки, но лицо все равно горело, а из глаз опять хлынули слезы.

— Какое слово?

— *Изнасилование*, вот какое, — бросила я. — *Изнасилование*, папа. Из-за этого люди на меня глазают, из-за этого вы с мамой теряетесь; из-за этого сюда таскаются старухи, а маму постоянно крютит; из-за этого Джонатан от меня шарахается. Ясно?

— Уймись, Элис, — сказал отец. — Пожалей маму.

Действительно, мама отодвинулась на самый край дивана, подальше от нас, и согнулась в три погибели. Одна рука сжимала лоб, другая растирала грудь. Я даже не скрывала свою неприязнь. Меня бесило, что сочувствие всегда достается тому, кто слаб.

Тут опять раздался звонок в дверь. Оказалось, это Том Макалистер. На год старше меня, он был самым красивым из моих знакомых парней. Мама считала, что он похож на актера Тома Селлека. Последний раз мы виделись на Рождество, во время всеобщей. Все пели псалом. Когда пение смолкло, я повернулась на скамье и встретила его улыбку.

Пока отец отпирал дверь и приветствовал гостя, я выскользнула из комнаты в холл черного хода, где находилась нижняя ванная. Ополоснула лицо холодной водой, слегка пригладила волосы.

Ворот халата пришлось запахнуть наглухо, чтобы прикрыть борозду из синяков, оставленных руками насильника. Глаза безнадежно опухли из-за постоянных слез. Вид был удручающий. Куда там до милашки сестры.

Родители пригласили Тома посидеть на веранде. При моем появлении он поднялся со своего места.

— Это тебе. — Он протянул мне букет цветов. — И еще маленький подарок. Выбрал с маминой помощью.

Том смотрел на меня в упор. Но это был совсем не такой взгляд, как у Джонатана Гулика.

Мама принесла нам по стакану содовой, а потом, коротко расспросив Тома про занятия на юридическом факультете, забрала цветы, чтобы поставить их в вазу; отец тоже вышел и устроился с книгой в комнате.

Мы сели на диван. Я принялась распаковывать подарок. Это была фаянсовая кружка с карикатурным рисунком: кот держит связку воздушных шаров. Будь я в другом настроении, такая вещь показалась бы мне грубятиной. Но в тот миг для меня не было ничего прекраснее, и мои слова благодарности шли от самого сердца. Том был моим *приличным мальчиком*.

— А ты выглядишь лучше, чем я думал, — признался он.

— Ну, спасибо.

— Преподобный Бройнинггер говорит, тебя зверски избивали.

В отличие от умудренных опытом старушек Том, как я поняла, не видел здесь никакого подтекста.

— Ты в курсе? — спросила я.

Вопрос поставил его в тупик.

— Относительно чего?

— Относительно того, что со мной произошло.

— Говорят, тебя ограбили.

Я не отвела взгляд. И не пошла на попятную.

— Не ограбили, а изнасиловали, Том.

Он был потрясен.

— Если хочешь, уходи, никто тебя не задерживает. — Я разглядывала подаренную кружку, которую не выпускала из рук.

— Мне ничего не сказали, я не знал, — пробормотал Том. — Надо же, какое несчастье.

С этими словами — без сомнения, искренними — он отстранился. Расправил плечи. Не привстал, чтобы отодвинуться, но как бы освободил место, чтобы между нами было побольше воздуха.

— Ну вот, — сказала я. — Теперь знаешь. Это меняет дело?

Он не сразу нашелся с ответом. Конечно, его отношение резко изменилось. Ни минуты в этом не сомневаюсь, но тогда я не хотела услышать правду. Я хотела услышать именно то, что он сказал.

— Нет! Что ты! Просто у меня... ну... нет слов.

Из нашей встречи мне больше всего запомнилось — не считая обещаний позвонить в ближайшие дни, чтобы непременно меня навестить, — одно слово, сказанное в ответ на мой вопрос: *нет*.

Естественно, я не поверила. У меня хватило ума понять: то же самое сказал бы на его месте любой приличный мальчик. Я и сама получила интеллигентное воспитание. Знала, что и когда следует говорить. Но ведь он был парнем, моим ровесником, и это возвысило его над всеми прочими визитерами. Ни одна старушка, даже Майра, не смогла дать мне того, что дал Том, и мама это почувствовала. Целую неделю она расхваливала Тома на все лады, и отец ей подыгрывал, хотя совсем недавно этот молодой человек, который имел неосторожность спросить, в какой стране говорят на латинском языке, был для него объектом язвительных насмешек. Я тоже поддакивала родителям, при том что все мы пытались собрать черепки безвозвратно разбитого вдребезги, наивно делая вид, будто я осталась прежней.

Через несколько дней Том навестил меня еще раз, но это посещение далось ему с трудом. Мы опять сидели на веранде. Теперь я слушала, а он говорил. По его словам, вернувшись от меня, он рассказал обо всем матери. Та не особо удивилась — из объявления отца Бройнингера она примерно это и заключила. В тот же вечер, а может, на другой день, сейчас уже не помню, мать позвала Тома и его младшую сестру Сандру на кухню для серьезного разговора.

Как рассказывал Том, она встала у раковины, повернувшись к ним спиной. И, глядя в окно, выдавила, что сама тоже подверглась изнасилованию. Ей тогда было восемнадцать. Все последующие годы она держала язык за зубами. Случилось это на железнодорожной станции, когда она ехала в гости к брату-студенту. Отчетливее всего мне запомнилось, как ее схватили двое парней, а она выскользнула, оставив у них в руках новое пальто, и бросилась бежать. Но ее все равно поймали.

У Тома текли слезы, а я вспоминала, что меня насильник поймал за волосы.

— Не знаю, как теперь себя вести, что делать, — повторял Том.

— Ничего тут не поделаешь, — ответила я.

Плохо, что нельзя забрать свои слова назад. Надо было сказать: «Ты уже сделал великое дело, Том. Ты ее выслушал». У меня не укладывалось в голове, как она смогла выйти замуж, родить двоих детей — и сохранить свою тайну.

После этого мы с Томом общались только в церкви. Со временем я перестала заикливаться на том, как удержать красивого парня или появиться с ним на людях. Моими мыслями завладела его мать. Она знала, что мне все известно, знала и мою историю, но ни одна из нас не проронила ни слова. Мы с Томом все больше отдалялись друг от друга. Так или иначе, отчуждение было неизбежно, да еще история моего изнасилования нарушила покой их семьи, вызвав к жизни трудное признание. Чем обернулось это признание, мне неизвестно. Впрочем, при посредничестве своего сына миссис Макалистер дала мне понять две вещи: во-первых, не я одна подверглась изнасилованию, а во-вторых, поделившись своей историей, можно через нее переступить.

Потребность высказаться оказалась непреодолимой. Таково было свойство моей натуры: как ни старайся помалкивать, сколько себя ни убеждай, все без толку.

В нашей семье каждому было что скрывать, и я возложила на себя миссию выводить родных на чистую воду. Мне были ненавистны любые утайки. Чего стоили постоянные требования говорить потише — «а то соседи услышат». На это я неизменно отвечала: «Ну и что?»

Совсем недавно мы с мамой поспорили на тему сохранения лица.

— Боюсь, продавец сочтет меня умалишенной, — сказала мама, когда ей понадобилось зайти в ближайший магазин электроники, чтобы обменять переносной телефон.

— Что ты, мама, люди постоянно возвращают покупки, — сказала я.

— Один раз я уже меняла эту штуковину, — возразила она.

— В худшем случае продавец сочтет тебя занудой, но никто не подумает, что ты сумасшедшая.

— Не могу заставить себя снова туда обратиться. Так и слышу, как они говорят: «А, знаем мы эту старуху! Ей ложку дай — потребует инструкцию».

— Мама, обмен покупок — житейское дело, — убеждала я.

Оглядываясь назад, можно сколько угодно над этим потешаться, но в юности мне казалось, что боязнь произвести плохое впечатление равносильна скрытности. У моей бабушки по материнской линии старший брат умер от пьянства. Только через три недели младший брат обнаружил его труп. Нам с сестрой было строго-настрого запрещено говорить в бабушкином присутствии, что мама выпивает. Запрещалось также упоминать ее глюки, и сама она во время наших поездок к бабушке с дедушкой в Бетесду таилась как могла. Хотя мои родители никогда не были ханжами, нам не разрешалось употреблять грубые слова. Даже когда сами родители поносили дьякона церкви Святого Петра («заносчивый ублюдок»), или осуждали соседа («разжирел как боров — заработает себе инфаркт»), или ругали одну сестру в отсутствие другой, нам полагалось придерживать языки.

Я органически не могла подчиняться этим запретам. Когда мы переехали из Мэриленда в Пенсильванию (мне тогда было пять лет), моей сестре пришлось остаться на второй год в третьем классе. На то была единственная причина: по существующему в микрорайоне Ист-Уайтленд положению, ученица не доросла до четвертого класса. Сестра была просто убита: что может быть страшнее для восьмилетней девочки, приехавшей из другого города, чем клеймо второгодницы. Мама всем велела помалкивать. Только она упустила из виду, что для

этого придется зашить мне рот и запереть в четырех стенах.

Не прошло и недели после нашего переезда, как я вышла во двор поиграть с нашим бассет-хаундом Фейхоо. Там состоялось мое знакомство с соседкой, миссис Кокрен, — она представилась, облокотившись на забор. У нее был сын Брайан, мой ровесник, но в первую очередь ей хотелось разнюхать что-нибудь про нашу семью. Меня не пришлось долго упрашивать.

— Мою маму легко узнать: у нее все лицо в рытвинах, — сообщила я потрясенной соседке, имея в виду мамины оспинки от угревой сыпи.

А на вопрос «Есть ли в семье другие детишки?» с готовностью ответила:

— Не-а. Только сестра. На второй год в третьем классе осталась.

Дальше — больше. С возрастом язык у меня становился все длиннее, но не только по моей вине. Я всего лишь подыгрывала аудитории: взрослые были в восторге.

Правила умолчания давались мне с трудом. Почему-то родители могли говорить что угодно, а я, выйдя за порог, должна была держать язык за зубами.

— Соседи вытягивают у тебя любые сведения, — говорила мама. — Учись быть немногословной. Зачем выкладывать все подряд кому попало?

До меня не доходило, что значит «быть немногословной». Я ведь просто повторяла что слышала. Если моим родителям требовалась немая дочь, заявила я в юношеской запальчивости после очередной выволочки, когда уже стала старшеклассницей, пусть бы приучили меня курить. Тогда, по крайней мере, у меня бы шла горлом кровь — вместо словесного потока, презираемого мамой.

Первым, кто выслушал мою историю, был сержант Лоренц. Однако он все время перебивал: «Это к делу не относится». В моем рассказе его интересовали только те подробности, которые давали реальную почву для обвинений. Таков был его профессиональный принцип — «Только факты, мэм».^[7]

С кем еще мне было поделиться? Я сидела в четырех стенах. Сестра могла рехнуться от моего рассказа, а Мэри-Элис была далеко — подрабатывала где-то на острове Джерси. По телефону всего не расскажешь. Я пыталась заговорить с мамой.

Мне доверялось многое. Короткие мамины ремарки вроде «От твоего папы ласки не дождешься» (а мне тогда было одиннадцать лет); подробности затяжной болезни и смерти деда. Меня держали в курсе всех важных событий. Таково, насколько я понимаю, было мамино сознательное решение, принятое на раннем этапе под влиянием ее собственной матери. Моя бабушка была нестигаемой и молчаливой. В трудные минуты она руководствовалась вековечной заповедью: «О чем не думаешь, то скоро пройдет». Мама, начав жить самостоятельно, уяснила, что это неправда.

Она сама подготовила почву для нашей беседы. Когда мне стукнуло восемнадцать, мама усадила меня рядом с собой и посвятила в подробности своей пагубной привычки, описав симптомы и последствия алкоголизма. По ее мысли, такая откровенность могла отвратить меня от этого порока или хотя бы помочь распознать его приближение. Ведя подобные разговоры с детьми, она также давала понять, что эта опасность вполне реальна и касается нас всех, поскольку обстоятельства такого рода накладывают отпечаток на всю семью, а не только на одного человека.

Насколько я помню, разговор состоялся через пару недель после изнасилования, в вечернее время, за кухонным столом. Если даже мы с мамой были дома не одни, то отец уединился в кабинете, а сестра — у себя в комнате; вздумай один из них выйти, мы бы тут

же слышали шаги.

— Хочу тебе рассказать, как все случилось в тоннеле, — начала я.

На столе еще лежали салфетки, оставшиеся после ужина. Мама начала нервно скручивать матерчатый уголок.

— Попробуй, — сказала она, — Только не обещаю, что выдержу до конца.

Я повела свой рассказ. Как мы с Кеном Чайлдсом заходили к нему домой и там фотографировались. Как я брела по дорожке в парке. Описала руки насильника, и как он меня скрутил, и как повалил прямо на кирпичи. Когда дело дошло до того, как я сама разделась в подземелье и как он стал меня лапать, мама не вынесла.

— Не могу больше, Элис, — выдавила она. — И хотела бы выслушать, но не могу.

— Мне тяжело держать это в себе, мам.

— Понимаю, только из меня плохая слушательница.

— Других-то нет, — сказала я.

— Надо тебя записать к доктору Грэм, — решила мама.

Доктор Грэм была маминым психоаналитиком. Точнее, нашим семейным. Вначале к ней водили мою сестру; потом доктор изъявила желание побеседовать с каждым членом семьи, чтобы определить, как на ребенка влияет динамика отношений между ближайшими родственниками. Мама даже меня водила к ней на прием из-за того, что я падала на винтовой лестнице. Мне нравилось бегать в одних носках по предательски скользким деревянным ступенькам. Всякий раз я заваливалась носом вниз на верхнюю площадку или, зацепившись ногой за ногу, шлепалась на задницу как раз перед каменными плитами, которыми был вымощен пол в холле. Мама заподозрила, что отсутствие нормальной координации движений свидетельствует о внутреннем стремлении к саморазрушению. Я-то сама по этому поводу не мудрствовала. Корова — и есть корова.

Теперь у меня появилась веская причина для визита к психоаналитику. В детстве я гордилась, что в нашей семье мне одной не назначены сеансы психотерапии (беседы о кувырках с лестницы не в счет), и по-всякому издевалась над сестрой, регулярно посещавшей доктора Грэм. Мэри начала проходить курс психотерапии как раз в тот год, когда «Токинг Хедз» записали песню, идеально подходившую для зловредной младшей сестры: «Psycho Killer».^[8] Издевательства, положенные на музыку. Для оплаты сеансов психотерапии родители ввели жесткую экономию. А я требовала, чтобы такие же суммы тратились и на меня. Ведь я не виновата, что Мэри — психо-дрихо-помешанная.

В то лето мне воздалось по заслугам, но Мэри не стала меня попрекать. Я рассказала ей, что мама хочет записать меня к доктору Грэм, и сестра это одобрила. Впрочем, мною двигали в основном эстетические побуждения. Чисто внешне доктор Грэм казалась мне чрезвычайно привлекательной. Это была воплощенная феминистка. Ростом под метр восемьдесят, широкая в кости, но не грузная, она носила просторные гавайские балахоны и принципиально не брила ноги. Ее смешили мои школьные байки; после нашей беседы о падениях с лестницы она сказала маме, не стесняясь моего присутствия, что для ребенка, выросшего в такой обстановке, я на редкость уравновешенна. Никаких отклонений, заключила она, у меня не обнаружено.

Мама повезла меня в Филадельфию. Раньше доктор Грэм вела прием в детской больнице, а теперь занялась частной практикой. В назначенный час я вошла в незнакомый кабинет и села на кушетку.

— Хочешь рассказать, что тебя ко мне привело, Элис? — спросила доктор Грэм, хотя

была в курсе: мама сообщила ей по телефону.

— Меня изнасиловали в парке, возле университета.

Доктор Грэм знала о нашей семье абсолютно все. Ей было известно, что мы с Мэри хранили девственность.

— Ну что ж, — сказала она. — Зато теперь ты станешь более раскрепощенной в сексуальном плане, верно?

Я не поверила своим ушам. Вроде даже бросила ей в лицо: «Какое паскудство!» Нет, кажется, сдержалась. Точно помню одно — на этом сеанс завершился. Я встала и вышла из кабинета.

Вот тебе и феминистка в возрасте за тридцать. Кто-кто, а уж доктор Грэм, по моим расчетам, должна была соображать, что к чему. Для себя я сделала вывод: люди — даже представительницы женского пола — понятия не имеют, как обращаться с жертвой изнасилования.

Оставалось испытать представителя мужского пола. Его звали Стив Карбонаро. Мы с ним вместе учились в старших классах. Неглупый парнишка, он нравился моим родителям, потому что нахваливал их ковры и книги. Выросший в многодетной итальянской семье, он не чаял, как из нее вырваться. До поры до времени убежищем ему служила поэзия, и это нас сближало. Усевшись на диван в доме моих родителей, мы читали друг другу вслух стихотворения из поэтической антологии журнала «Нью-Йоркер», и он впервые в жизни меня поцеловал.

У меня сохранились дневниковые записи того времени. После его ухода я написала: «Как будто мама подглядывала и насмехалась». Я побежала к сестре. Она еще не целовалась с мальчиками. В дневнике осталась запись: «Ой, фу, б-р-р, тошнит. Рассказала Мэри, что целоваться взасос — ужасная гадость; непонятно, что люди в этом находят. Предложила в любое время заходить для обсуждения этой темы, если, конечно, ей будет что обсуждать».

В школьные годы мы со Стивом далеко не продвинулись. Больших вольностей я не позволяла. Когда он проявлял настойчивость, у меня наготове было объяснение: в принципе я не говорю «нет», но и сказать «да» еще не готова, и пока не приму твердое решение, пусть моим ответом считается «нет».

Когда нам было по семнадцать лет, уже в выпускном классе, Стив переключился на другую девочку, которая, как выражались в школе, «давала». На выпускном вечере, пока я танцевала с Томом Макалистером, Стив налегал на спиртное. Когда я столкнулась нос к носу с ним и его подружкой, она досадливо бросила, что оттягивается по полной, учитывая, что утром того дня сделала аборт. После выпускного мы всем классом завалились к Гейл Стюарт, но Стив был уже с другой — с Карен Эллис. Свою подружку он предусмотрительно проводил домой.

Но в мае тысяча девятьсот восемьдесят первого наши невинные ласки остались только в воспоминаниях. Двух часов, проведенных в темном гроте, с лихвой хватило, чтобы мои терзания между «да» и «нет» в отношениях с ровесниками вроде Стива показали себя блажью.

Стив поступил в Урсинус-колледж. На первом курсе он зафанател от «Человека из Ламанчи». Приехав на каникулы, он поразил мою маму и даже более взыскательного отца доскональным знанием мифа о Ламанче. Что может растрогать специалиста по испанской литературе восемнадцатого века сильнее, чем увлечение мюзиклом по роману Сервантеса? Допустим, век туда, век сюда, но Стив Карбонаро попал в яблочко. Он часами просиживал у

нас на веранде в компании моих родителей, попивал кофе, обсуждал любимые книги и делился планами на будущее. Подозреваю, ему льстило внимание такой образованной четы, а моих папу с мамой несказанно радовало его внимание ко мне.

Едва он тем летом переступил порог нашего дома, как я поведала ему об изнасиловании. Впрочем, до этого мы, кажется, пару раз ходили гулять, чисто по-дружески. Так вот, мы присели на диван. Родители были наверху и передвигались на цыпочках. Всякий раз, когда ко мне заходил Стив, папа скрывался в кабинете или юркал в мамину комнату, где они шепотом строили догадки о том, что именно происходило внизу.

Я выложила Стиву все, что сумела произнести вслух. Намеревалась посвятить его в детали, но не смогла. Что-то смягчала, где-то заходила в тупик и умолкала, чтобы не разреветься. События излагала в строгой последовательности. Не делала никаких отступлений, чтобы описать, к примеру, ощущения от его языка у себя во рту или мерзость вынужденных поцелуев.

Мой рассказ его и захватил, и оттолкнул. Перед ним вживую, а не в романах и даже не в стихах его собственного сочинения разворачивалась театральная пьеса, настоящая трагедия, драма, задевающая краем и его самого.

Стив дал мне прозвище Дульсинея. Усаживая меня в свой белый «фольксваген-жук», он пел знаменитую арию из мюзикла и требовал, чтобы я подтягивала. Стив был сам не свой до пения дуэтом. Сам он, разумеется, исполнял партию Дон Кихота Ламанчского, никем не понятого мечтателя, который из тазика брадобрея сделал себе шлем, а девушку из низов, Альдонсу, превратил в благородную Дульсинею. Ее роль, естественно, досталась мне.

В спектакле есть номер под названием «Поругание», когда Альдонсу хватают погонщики, которые зверски ее избивают и, надо понимать, развлекаются с ней все по очереди, а потом бросают в грязь. Вслед за тем на девушку натывается Дон Кихот. Силой собственного воображения и доброго нрава он превращает перепачканную, истерзанную простолюдинку в свою даму сердца, прекрасную Дульсинею.

Стив, подкопив денег, купил нам билеты в Филадельфийскую музыкальную академию, где в роли Дон Кихота выступал Ричард Кайли. Это был подарок к моему предстоящему дню рождения. Мы нарядно оделись. Моя мама нас сфотографировала. Отец сказал, что я выгляжу «как настоящая леди». Мне было неловко находиться в центре внимания, но как-никак я шла в театр да еще с молодым человеком, причем с таким, который, узнав правду, меня не бросил. За одно это я готова была в него влюбиться.

Однако после сцены надругательства, в которой Альдонсу лапали и хватали за груди, как будто это куски мяса, мне стало не под силу продолжать начатую Стивом игру — основу наших с ним отношений. Мне совершенно не улыбалась роль потаскушки, которую жаждущий справедливости романтик возносит до положения высокородной дамы. Я была всего-навсего восемнадцатилетней девчонкой, в детстве мечтала стать археологом, а в ранней юности — поэтессой или звездой Бродвея. Но я переменилась. Окружающий меня мир не имел ничего общего с тем миром, в котором обитали мои родные и Стив Карбонаро. Мой мир был пронизан насилием. Не облеченным в форму песен, иллюзий или сюжетов.

После «Человека из Ламанчи» я вышла из театра как обгаженная.

А Стив, наоборот, впал в состояние эйфории. Ему со сцены показали правду жизни — какой она видится восторженному девятнадцатилетнему пареньку. Он вез в машине свою Дульсинею, пел для нее арии, а она, по его настоянию, подпевала. Этому не было конца. От наших дуэтов запотели окна. Наконец я переступила порог дома. Но перед этим произошло

еще одно событие, которому тогда не было цены: меня на прощание поцеловал приличный мальчик. Однако тем летом все отдавало горечью. Даже поцелуй.

Вслушиваясь в знакомые тексты, я задним умом понимаю то, чему раньше не придавала значения: в финале Дон Кихот умирает, тогда как Альдонса остается жить — это она повторяет знаменитые строки про мечту о несбыточном, это она готовится продолжать борьбу.

Наши отношения завершились бесславно: никакой тебе недоступной звезды, никаких дерзаний. Дон-Кихоту оказалась не по силам платоническая любовь к той, что в душе чиста и непорочна. Он нашел себе более сговорчивую. Лето кончилось. Пришла пора возвращаться к учебе. Дон Кихот планировал перевестись в «Пен», и мой отец написал для него прочувствованное рекомендательное письмо. А я, не без родительской поддержки, со временем вернулась в Сиракьюс. Одна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Перед окончанием школы я подала заявления в три места: в Сиракьюсский университет, в Эмерсон-колледж (это в Бостоне), а также в Пенсильванский университет, куда меня как преподавательскую дочку приняли бы с распростертыми объятиями. Но мне ужасно не хотелось поступать в «Пен» — во всяком случае, так это видится сегодня. Моя сестра поселилась в тамошнем общежитии, но почти сразу сбежала, перевезла пожитки к родителям и весь первый курс ездила в университет на перекладных. Если уж поступать в колледж, с неохотой повторяла я все четыре года, учась в старших классах, то подальше от дома.

Родители уламывали меня как могли: они спали и видели, чтобы я училась дальше. Высшее образование, с их точки зрения, открывало необходимые жизненные перспективы; оно в корне изменило их жизнь, особенно папину. Его родители не окончили даже среднюю школу, и он этого до боли стыдился: его собственные академические успехи стимулировало желание дистанцироваться от малограмотной речи матери и от сальностей вечно пьяного папаши.

За год до окончания школы я посетила Эмерсон, куда привез меня отец; длинноволосые студенты, которых он называл «питекантропы», надавали мне массу советов, как обойти жесткие правила внутреннего распорядка.

— Электроприборы в комнатах держать запрещено, — сообщил староста этажа, когда мы знакомились с общежитием.

У него были давно не мытые бурые волосы и неопрятная борода. Он напомнил мне Джона, водителя школьного автобуса, который не осилил даже среднюю школу. От обоих этих парней веяло настоящим, неприкрытым бунтарством. Проще говоря, несло марихуаной.

— У меня лично есть и тостер, и фен, — похвалился Джон-студент, с гордостью демонстрируя заскорузлый от жира тостер, втиснутый на самодельную полку. — Просто не нужно включать сразу оба, вот и весь фокус.

Отец тогда хмыкнул, но на самом деле был неприятно поражен, что этот бомжеватый тип не только числится студентом, но и облечен некоторой властью. По всей видимости, папу раздирали противоречия. В городе, знаменитом такими гигантами, как Гарвардский университет и Мичиганский технологический институт, «Эмерсон» слыл элитарно-снобистским колледжем. Однако даже кампус Бостонского университета, ценимого моим отцом, оказался на порядок привлекательнее эмерсоновского. И все же «Эмерсон» запал мне в душу. Понравилась даже броская вывеска, из которой выпали две буквы. В общем, это место меня зацепило. Я сразу подумала, что без труда научилась бы делать тосты и сушить волосы в разное время.

Мы с папой в тот вечер от души повеселились. Это большая редкость. У моего отца нет хобби, нет тяги к спортивным играм (зафигачь ему мячом в голову — он даже не поймет, что это было) и приятелей тоже нет, есть только коллеги. Он вообще не понимает, зачем нужно расслабляться. Как-то в детстве, когда я разложила какую-то настольную игру и попросила его со мной поиграть и заодно отдохнуть от работы, он сказал: «Отдыхать скучно». Потом он частенько повторял эту фразу. Причем искренне.

Но у меня всегда было подозрение, что без нас, а главное, без мамы отец может быть другим. Что он оттягивается, например, за границей или в компании своих аспирантов и

аспиранток. Мне нравилось оставаться с ним один на один. Во время поездки в «Эмерсон» мы из экономии сняли номер на двоих.

Устав от походов по Бостону, я скользнула в двуспальную кровать с того краю, который был ближе к ванной. Отец вышел в вестибюль, чтобы почитать и, видимо, позвонить маме. А у меня сна не было ни в одном глазу. Я заранее сбегала к установленному в коридоре автомату и набрала ведерко мелких кубиков льда. Диверсия была продумана во всех деталях. Часть кубиков я разложила под одеялом, чтобы они оказались у отца в ногах, а ведро с остатками задвинула под кровать, со своего боку.

Когда папа вернулся в номер, я притворилась спящей. Скрывшись в ванной, он переоделся в пижаму, почистил зубы и выключил свет. Мне был виден только его силуэт; вот он откинул одеяло, собираясь лечь. Я ликовала, хотя и трусила. В гневе отец был страшен. Я принялась считать про себя, и вот желанный миг настал. Дикий вопль и брань: «Ой, черт, какого...»

Сдерживаться не было сил. Меня сотрясал неудержимый хохот.

— Элис?

— Один-ноль! — выдавила я.

Сперва он и впрямь рассердился, а потом запустил в меня ледышкой. И понеслось!

Это было настоящее сражение. Я не сдавалась. Из одеял мы устроили бункеры. Папа бросал ледяные кубики целыми пригоршнями, а я отправляла их назад пулеметными очередями, выжидая, когда он высунется из укрытия. От смеха мы обессилели. В какой-то момент отец напустил на себя строгость, но его хватило ненадолго.

Наконец он испугался, что у меня начнется истерика — «на почве гиперактивности», как выражалась мама, — и сражение прекратилось. Но... какое чудо — увидеть отца веселым и бесшабашным. В таких случаях, которые выдавались крайне редко, я видела в нем старшего брата. Инициатива всегда исходила от меня, но когда в нем просыпался мальчишка, мне отчаянно хотелось, чтобы он остался таким навсегда.

Как юная провинциалка грезит о Голливуде, так я грезила о Сиракьюсском университете. Сестра оставалась под боком у родителей, а мне не терпелось уехать в Сиракьюс — подальше от дома. Чтобы там, вдали, слепить себя заново.

В соседки по комнате мне определили Нэнси Пайк, восторженную толстушку из штата Мэн. Летом, перед началом учебного года, она разузнала мое имя и адрес, чтобы написать письмо. На шести страницах она с энтузиазмом рассказывала, что именно собирается привезти с собой, и каждой вещи давала подробную характеристику. «У меня есть чайник. Небольшой такой чайничек, больше похожий на кофейник, но на самом деле он предназначен только для кипячения воды. Сзади у него вилка, которая вставляется в розетку. Незаменимая штука, если нужно приготовить суп или вскипятить воду для чая, только суп прямо в нем варить нельзя».

Нашего знакомства я ждала с содроганием.

Когда в день заезда мама с папой привезли меня в кампус, со мной творилось нечто неопишное. Впереди открывалась новая жизнь; вокруг были новые люди. Общежитие, где проживали и парни, и девушки, сулило такие возможности, о которых я боялась заикнуться вслух. Мама сделала лицо, как у Донны Рид, которая снималась в сериале «Даллас», — налепила особенно гадкую улыбочку с признаками позитивного отношения к жизни, почерпнутыми неизвестно откуда. Отец сразу начал выгружать из багажника мои вещи, чтобы скорее сэтим покончить, и без конца приговаривал: «Поднятие тяжестей — не мой

конек».

Нэнси меня опередила: выбрала себе кровать, повесила на стену драпировку в виде радуги и уже расставляла по местам свои сокровища. Ее родители, братья и сестры задержались, чтобы познакомиться с нашей семьей. Маска Донны Рид растрескалась от панического страха. А папа выпрямился во весь свой профессорский рост, чтобы с академических вершин взирать на людишек, выказывающих интерес к спорту или быту. «Я на два столетия опоздал родиться», — любит повторять он. Или еще: «Родителей у меня не было. Меня, единственного и неповторимого, произвела на свет Земля». По этому поводу мама всегда язвила: «Твой отец на всех смотрит сверху вниз — надеется, что на таком расстоянии не будут заметны его скверные зубы».

Чокнутая семейка Сиболдов познакомилась с экзальтированной семейкой Пайков. Бочком-бочком Пайки удалились: повели Нэнси обедать. Как в воду опущенные — думаю, это самое уместное определение. Их лапушка-девочка была обречена на соседство с каким-то чудовищем.

В течение первой недели мы с Нэнси почти не общались. Она щебетала, а я, лежа на койке, смотрела в потолок.

На шумных, непринужденных установочных беседах, которые проводили с нами кураторы общежития («Так, теперь поиграем в игру — называется „приоритеты“. Записывайте. Учеба. Общественная работа. Элитарное студенческое объединение. Кто может сказать, какие приоритеты вы бы добавили к этому списку и почему?»), моя соседка вечно тянула руку. Одна такая беседа длилась до бесконечности: все девчонки с нашего этажа сидели по-турецки на лужайке перед столовой и слушали инструкции по стирке белья; у меня возникло ощущение, что родители спланировали меня в дурдом.

В комнату я вернулась почти бегом. Прошла уже неделя, и я перестала ходить на ужин. Когда Нэнси полюбопытствовала о причинах, я сказала, что соблюдаю пост. Если у меня вечерами подводило живот, я просила Нэнси принести мне какой-нибудь еды. «Только белой, — настаивала я. — Никакого разноцветья. Французский композитор Эрик Сати питался исключительно белыми продуктами». Бедняга соседка тащила мне горы творога и гигантские порции пюре. Я лежала в постели, ненавидела Сиракьюс и слушала Эрика Сати, из чьих текстов составила себе новый режим питания.

Однажды вечером мне послышалось какое-то шевеление в соседней комнате. Зная, что все ушли на ужин, я выглянула в коридор. Одна дверь была приоткрыта.

— Эй, кто там? — окликнула я.

В той комнате проживала самая красивая девчонка нашего этажа. В день заезда моя мама ткнула пальцем в ее сторону: «Как я рада, что тебе не придется жить в комнате с этой знойной блондинкой. Мальчишки будут к ней становиться в очередь».

— Есть тут кто-нибудь?

Я вошла. Она только что вскрыла полученную из дома посылку с лакомствами. Коробка, размером с хороший сундук, была придвинута к стене. После недельной белой диеты передо мной открылся настоящий оазис. Драже «М&М», печенье, крекеры, жевательные конфеты «Старберст», фруктовые пастилки. Кое-какие сорта были мне вообще неизвестны, а остальные считались у нас дома вредными.

Но хозяйка этого оазиса не спешила набить живот. Она занималась своими волосами. Заплетала себе сложную косу, с приплетом. Я выразила искреннее восхищение и призналась, что сама едва справляюсь с простыми косичками.

— Хочешь, тебе такую же заплету?

Я присела к ней на кровать, а она, встав у меня за спиной, начала подцеплять тонкие пряди волос и стягивать так, что едва не сняла с меня скальп.

Когда работа была закончена, я полюбовалась в зеркало. Мы немного посидели, потом растянулись на койках. Трепаться не было настроения: обе уставились в потолок.

— Можно тебе кое-что сказать? — спросила я.

— Конечно.

— Мне здесь все ненавистно.

— Вот это да! — Она села и даже зарделась от такой вольности. — Мне и самой тут обрыдло!

Мы сообща набросились на коробку со сладостями. У меня осталось воспоминание, что я даже влезла внутрь, но такого ведь не может быть, правда?

Соседка Мэри-Элис была, как мы говорили, девушкой с опытом. Из Бруклина. Звали ее Дебби, а за глаза — «деббилкой». Она курила и плевать хотела на окружающих. Со школьных лет у нее был сожитель, старше ее по возрасту. То есть намного старше. Слегка за сорок; правда, на вид моложавый, похожий на панк-рокера Джоуи Рамона. Подвизался где-то диджеем и говорил хриплым, прокуренным голосом. Когда он к ней приезжал, они снимали номер в гостинице, и Дебби возвращалась в общежитие раскрасневшаяся, поливая нас презрением.

У Мэри-Элис были длинные пальцы на ногах, и она ими выуживала для меня крекеры из коробки. Мы наряжались в прикольные шмотки и собирали купоны от упаковок какао, за которые фирма прислала нам детский картонный домик-шале из Швейцарии.

В университете Дебби начала изменять своему сожителю с одним парнем — капитаном группы поддержки. Ее нового друга звали Гарри Херли, и по этому поводу мы с Мэри-Элис всю изошрялись в остроумии. Один раз я на спор затаилась в нашем швейцарском шале, когда Дебби и Гарри должны были прийти в комнату на любовное свидание. В критический момент — то ли по условиям спора, то ли случайно — я почувствовала, что уже пора, и вместе с картонным домиком двинулась, как лазутчик, на четвереньках к порогу, чтобы выбраться в коридор.

Дебби не на шутку разозлилась. Она потребовала, чтобы ее переселили в другую комнату. Мэри-Элис потом долго меня благодарила.

Через месяц с небольшим после начала семестра в нашем коридоре собралась группа девчонок. Мы уселись на пол, прислонясь к стенкам, а ноги вытянули в проход или поджали под себя. Бывшие королевы местного значения и будущие кокетки сдвигали ножки в одну сторону, а неискушенные простушки вроде моей подруги Линды не заботились, как сидят и как выглядят в компании ровесниц. Мало-помалу разговоры свелись к одному: кто хранит девственность, а кто — нет.

Некоторые признания были вполне очевидными. Взять хотя бы Сару, которая приторговывала гашишем в своей затемненной комнате, где стояла стереосистема, стоимостью превосходившая автомобили большинства наших отцов. Сара отдавала предпочтение «торчковой» классике — «Трэффик» и «Лед Зепеллин». Ее соседка по комнате приходила к нам, бубня: «Там какой-то парень», и мы доставали для нее спальный мешок, только просили не храпеть.

Или еще Чиппи. Этого словечка я раньше не слышала. И конечно, не подозревала, что оно означает «потаскуха». Как ни странно, это было ее настоящее имя; однажды утром по

пути в душ я бросила ей без всякой задней мысли: «Привет, Чиппи, как дела?». Она разревелась и перестала со мной разговаривать.

Была еще одна девушка, второкурсница, чья комната располагалась в самом конце коридора. Она встречалась с сантехником кампуса, а в свободное время позировала местному таланту Джоэлу Белфасту с факультета изобразительных искусств. Сантехник любил приковывать ее к койке наручниками; по утрам, когда она бегала в туалет, мы лицезрели ее кожаные и лайковые трусы и лифчики. У сантехника не действовала левая нога, что не помешало ему стать заправским байкером. Как-то ночью эта парочка так раздухарилась, что пришлось вызывать охрану, и когда героя-любownika волокли по коридору, я заметила шрам, поднимавшийся от голенища ботинка через все бедро до самой спины. Его подруга была под кайфом и, прикованная к койке наручниками, вопила как оглашенная. Потом она сняла жилье за пределами кампуса и съехала из общежития.

По моему разумению, из пятидесяти студенток на нашем этаже только эти трое плюс Дебби на сто процентов уже стали женщинами. Остальные, заключила я, потому что судила по себе, оставались непорочными.

Однако в тот вечер даже Нэнси рассказала свою историю. Она отдалась школьному приятелю в автомобиле «датсун». Моя подруга Три — в «тойоте». Диана — в подвале дома своего дружка. Его предки в самый ответственный момент начали стучать в окно. Другие рассказы улетучились из памяти; помню только, что девчонки получили прозвища по маркам автомобилей. Красивых историй было мало: один парень купил кольцо, выбрал подходящий вечер и пришел с букетом цветов; другой договорился со старшим братом, чтобы тот освободил на сутки свою городскую квартиру. Но этим рассказам никто не поверил. Умнее поступили те, кто решился наплести про «датсун», «тойоту» или «форд», — в глазах ровесниц они сделались свойскими девчонками.

Из этих исповедей следовало, что среди присутствующих только Мэри-Элис да я оставались девушками.

Неловкие сексуальные опыты на заднем сиденье автомобиля или в подвале родительского дома казались мне чудом из чудес. Нэнси стыдилась, что уже сделала «это самое», то есть потеряла девственность в «датсуне», но на самом-то деле это был нормальный этап взросления.

Уехав домой на зимние каникулы, я получала письма от Нэнси и Три, которые каждый вечер проводили со школьными приятелями. Три даже упомянула покупку кольца. Это девочки заслонили для меня весь горизонт.

Письма приходили и от мальчишек, с которыми я познакомилась, когда подрабатывала летом, перед поступлением. Чаще других писал парень постарше, Джин. Я упрашивала его прислать фотографию. Намекнув подругам, что он для меня более чем приятель, я нуждалась в материальном подтверждении, которое можно предъявлять по первому требованию.

Полученная в конце первого семестра фотография была, вероятно, сделана не год и не два назад. На ней Джин выглядел угловатым и длинноволосым, зато на лице красовались висячие усы — признак *мужественности*. Мэри-Элис тут же уловила суть: «Никак, семидесятые годы вернулись? Чувствую, будет вечер танцев». Нэнси тактично восхитилась, но они с Три были слишком заняты собственными увлечениями — обе встречались с бывшими одноклассниками, которым пообещали руку и сердце.

Что касается Мэри-Элис, та поочередно влюблялась в Брюса Спрингстина, Кита Ричардса и Мика Джаггера. Из-за Брюса — кто ж его не знал? — у нее чуть не съехали

крыша. На день рождения она получила от меня футболку с жирной выпуклой надпечаткой: «Миссис Брюс Спрингстин». И надевала ее каждый вечер, чтобы лечь в ней спать.

Оглядываясь назад, я, если честно, не припоминаю, чтобы на первом курсе нежно любила Мэри-Элис. Просто мне доставляло удовольствие наблюдать, как она задумывает разные проделки и всегда выходит сухой из воды. Взять хотя бы похищение из столовой целого противня с заготовкой для кремовых пирожных — такая операция сделала бы честь Джеймсу Бонду. Прежде всего был найден проход, соединяющий два здания; доступ к цели преграждала одна-единственная дверь, вечно запертая на замок. Далее требовалось выкрасть ключи, предварительно усыпив бдительность нескольких человек, и в конце концов, под покровом ночи, замаскировать необъятный розовый торт и тайно переправить его к нам.

Мои подруги также пристрастились захаживать в бары на Маршалл-стрит и к весне не пропускали ни одной пивной вечеринки мужских университетских объединений. Эти тусовки вызывали у меня отвращение. «Мы для них — мясо!» — перекрывая рев динамиков, кричала я в ухо Три, стоя за ней в очереди к пивной бочке. «Плевать! — кричала она в ответ. — Оттянемся — и ладно!». Три вела себя как несмышленное дитя. Мэри-Элис, не прилагая ни малейших усилий, всюду оказывалась желанной гостьей. Мужские объединения всегда стараются украсить свои сборища присутствием эффектных блондинок, а их подружки воспринимаются как принудительный ассортимент.

Я занималась в поэтическом семинаре; среди его участников оказалось двое парней, Кейси Хартман и Кен Чайлдс, которые разительно отличались от других ребят в нашем общежитии. Оба учились на втором курсе, что в моих глазах делало их солидными людьми. Их основной специальностью была живопись, а стихосложение они выбрали в качестве факультатива. Сдружившись с ними, я вдоль и поперек исходила прекрасное старое здание факультета изобразительных искусств, в то время еще не знавшее ремонта. В мастерских возвышались застеленные коврами подиумы для натурщиков, теснились потертые кушетки и стулья, на которые то и дело натыкались студенты. Повсюду витали запахи масляных красок и скипидара; в силу специфики обучения мастерские и лаборатории были открыты круглые сутки, потому что домашние задания, скажем, по ковке металла невозможно выполнять у себя в комнате.

Друзья показали мне приличный китайский ресторан, а Кен сводил в музей Ральфа Уолдо Эмерсона, расположенный в центре города. Обычно я поджидала их после занятий, и мы шли на показы студенческих работ, в том числе их собственных. Эти парни приехали из Трои, штат Нью-Йорк. Кейси жил на творческую стипендию и сильно нуждался. Мне не раз доводилось видеть, как он ужинает, троекратно заваривая один и тот же чайный пакетик. Подробности его прошлого были мне почти неизвестны. Отец сидел в тюрьме. Мать умерла.

Мое сердце было отдано Кейси. Он сторонился девчонок-художниц, которые считали его романтическим персонажем и стремились исцелить от шрамов и рубцов, оставшихся с детства. Его речь бурлила, словно кипящий кофейник, и подчас опережала мысли. Я не придавала этому значения. Кейси был самородком, а оттого, по моему мнению, куда более человечным по сравнению с теми, кого я видела в столовой или на пивных вечеринках.

А на меня запал Кен, который, подобно мне самой, любил блеснуть красноречием. У нас образовался безнадежный треугольник. Я посетовала, что почти все девушки в «Мэрионе» уже с опытом, а я какая-то отсталая. Кен и Кейси сперва помалкивали, а потом признались. Они тоже считали себя отсталыми.

Когда в общаге устраивали попойку (в те годы не возбранялось проносить бочонки

прямо в комнаты), я уходила гулять по кампусу. Ноги сами несли меня к факультету изобразительных искусств, где, спустившись на несколько ступенек вниз, можно было приготовить себе растворимый кофе и часами сидеть на каком-нибудь старом пружинном диване или в любом из множества кресел над томиком Эмили Дикинсон или Луизы Боган. Мне даже стало казаться, что это и есть мой дом.

Возвращаясь в «Мэрион», я робко надеялась, что вечеринка уже закончилась, но порой заставляла самый разгар веселья. Тогда я разворачивалась и шла обратно. Спать укладывалась в изостудии, прямо на подиуме, благо там был ковер, чтобы у натурщиков не мерзли ноги. Вытянуться в полный рост не удавалось, но я приноровилась свертываться калачиком.

Как-то раз я таким образом устроилась на ночлег в темной студии. Свет в коридорах горел круглые сутки, но лампочки были защищены металлическими сетками, чтобы ни у кого не возникло искушения их перебить или вывинтить. Меня уже сморила дремота, и тут на пороге возник ярко освещенный мужской силуэт. Это был рослый человек в цилиндре. Кто именно — разглядеть не удалось.

Щелкнул выключатель. Я узнала Кейси.

— Сиболд, — окликнул он. — Ты что здесь делаешь?

— Сплю.

— Добро пожаловать, товарищ! — Он приподнял цилиндр. — На одну ночь стану тебе Цербером.

Сидя в темноте, он не сводил с меня глаз. Помню, прежде чем провалиться в сон, я подумала: считает ли Кейси меня достаточно привлекательной, чтобы поцеловать? Так я впервые в жизни провела ночь с тем, кто мне нравился.

Смотрю в прошлое и вижу доброго сторожевого пса. Испытываю желание признаться, что под его охраной чувствовала себя в безопасности, но та, которая выводит эти строки, не имеет ничего общего с той, что, свернувшись калачиком, спала на покрытых ковром подиумах в неосвященных классах. В ту пору мир еще не раскололся пополам. Через десять дней, в самом конце семестра, мне предстояло войти в иную среду обитания, ставшую для меня единственно возможной реальностью: это расчерченная страна, где каждый участок поименован и отделен границей. Здесь только два пути: безопасный и небезопасный.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Летом 1981 года на плечи отца с матерью легло тяжкое бремя — быть родителями изнасилованной дочери. Ребром стоял вопрос, что со мной делать. Куда определить? Как оградить? Возможно ли возвращение к учебе?

Больше всего разговоров вызывала перспектива отправить меня в «Иммакулату» — Колледж Непорочного зачатия.

Все нормальные учебные заведения давным-давно закончили прием абитуриентов и зачисление по переводу. Но мама не сомневалась, что в «Иммакулате» меня примут. Это женское учебное заведение католического толка, которое дало бы мне возможность жить дома. Отец с матерью собирались по очереди возить меня на занятия и обратно — всего-то пять миль по тридцатому шоссе в каждую сторону.

Во главу угла родители ставили мою безопасность и продолжение учебы без потери года. Собрав всю свою волю, я терпеливо выслушивала мамины соображения. Отец был настолько подавлен ее планами, что даже не смог заставить себя согласно кивать (хотя сам ничего лучшего не предложил). С первых минут «Иммакулата» виделась мне в единственном качестве. Как тюрьма. Меня хотели туда запихнуть исключительно по той причине, что я подверглась изнасилованию.

И смех, и грех. Надо же додуматься, сказала я родителям, чтобы меня — меня! — поместить в религиозное заведение! Я запаслась теоретическими аргументами, побеседовав с дьяконом нашей церкви, отрепетировала все богохульства, какие смогла припомнить, а потом исполнила пародию на проповедь отца Бройнингера, к вящему удовольствию моих родных и самого пародируемого. Полагаю, не что иное, как опасение попасть в застенки «Иммакулаты», подтолкнуло меня к решающему доводу.

Я выразила готовность вернуться в Сиракьюс, мотивируя это тем, что насильник и так слишком многое у меня отнял. Нельзя допустить, чтобы он лишил меня чего-то еще. Если безвылазно сидеть у себя в комнате, то я никогда не узнаю, какой могла бы стать моя жизнь.

Кроме того, я ведь прошла по конкурсу в поэтический семинар под руководством Тесс Гэллагер и в семинар по художественной прозе, возглавляемый Тобиасом Вульфом.^[9] Останься я дома, ничто не восполнит для меня упущенных возможностей. Родители знали мою главную страсть: художественное слово. «Иммакулате» и не снились преподаватели такого масштаба, как Гэллагер или Вульф. Там вообще не предусматривалось занятий по литературному творчеству.

В конце концов родители позволили мне вернуться в Сиракьюс. Мама до сих пор утверждает, что это был самый трудный момент ее жизни — труднее, чем любая поездка на машине по бесчисленным мостам и тоннелям.

Нельзя сказать, что у меня не было страха. Страх был. И у родителей тоже. Но мы сообща продумали меры предосторожности. В парк ни ногой. Жить в одноместной комнате с телефоном: папа обещал позвонить в деканат и написать заявление, чтобы меня поселили в «Хейвен-холле», единственном чисто женском общежитии. Не перемещаться по городу в темное время суток без сопровождения сотрудников службы безопасности кампуса. Не слоняться по Маршалл-стрит и не задерживаться там после семнадцати ноль-ноль. Отказаться от посещения любых тусовок. Такой образ жизни ничем не напоминал студенческую вольницу, но вообще говоря, вольница для меня закончилась. Пока мне было

трудно сообразить, чем это обернется; впрочем, выражаясь мамиными словами, я всегда туго соображала.

«Хейвен-холл» пользовался особой славой. Внушительное здание круговой планировки возвышалось на бетонном фундаменте, разительно отличаясь от квадратных и прямоугольных строений, взбегающих вверх по склону. В столовой, занимающей отдельный флигель, кормили лучше, чем в других.

Но своей репутацией «Хейвен» был обязан не причудливой архитектуре и не отменной кухне, а своим обитательницам. Поговаривали, будто одноместные комнаты «Хейвен-холла» предоставляются исключительно девственницам и наездницам (читай: лесбиянкам). Вскоре я узнала, что «целочки и лесбочки» — далеко не единственные особы женского пола, проживающие в этом корпусе. То есть там хватало и скромниц, и лесбиянок, однако с ними соседствовали мощные атлетки, получавшие спортивную стипендию, дочери богатых родителей, иностранки, девушки с разными отклонениями и представительницы нацменьшинств. Некоторые студентки уже работали по специальности и часто бывали в разъездах, а отдельные счастливицы, подписав контракт с известной фирмой, даже летали по выходным в швейцарские Альпы, чтобы сняться в рекламе. Проживали там и дочери знаменитостей местного уровня, и проститутки, вставшие на путь исправления. Одни пришли в университет со школьной скамьи, другие перевелись, третьи вообще непонятно почему считались студентками.

Атмосфера не располагала к дружескому общению. Соседку, жившую за стенкой с одной стороны от меня, я даже не помню. За другой стенкой оказалась еврейка из Квинса, студентка факультета СМИ, без конца тренировавшая у меня над ухом свой радиоголос. С ней я тоже не сблизилась. Мэри-Элис и другие мои сокурсницы — Три, Диана, Нэнси и Линда — жили теперь в «Киммел-холле», как две капли воды похожем на «Мэрион-холл».

Заняв отведенную мне комнату, я попрощалась с родителями и осталась наедине с собой. На другой день отважилась пересечь аллею, отделявшую «Хейвен» от «Киммела». С меня сошло семь потов. Я впивалась взглядом в каждого встречного, потому что искала *его*.

Поскольку в «Киммеле» жили преимущественно второкурсники, большинство парней и девушек оказались, естественно, моими знакомыми. Они тоже меня помнили. При встрече многие вздрагивали, будто увидели призрака. Кто бы мог подумать, что я еще вернусь в кампус? От неожиданности всех брала оторопь. Можно подумать, мое возвращение давало им право меня судить; впрочем, решив приступить к занятиям, я уже обрекла себя на косые взгляды, разве нет?

В вестибюле «Киммела» я столкнулась с двумя ребятами, которые в прошлом году жили этажом ниже нас. Они остановились как вкопанные и не проронили ни звука. Опустив глаза, я подошла к лифту и нажала кнопку вызова. У главного входа появились еще трое парней, которые поздоровались с теми двумя. Я не повернула головы, но, ступив в кабину лифта, встала к ним лицом. Двери сомкнулись; все пятеро стояли как истуканы и пялились в мою сторону. Слова легко угадывались по губам: «Эту девчонку трахнули в парке». Я сочла за лучшее не задумываться, что еще они скажут и какие темы станут обсуждать за моей спиной. Мне и без того стоило немалых усилий пересечь аллею и войти в лифт.

Третий этаж был женским, и я надеялась, что худшее позади. Как бы не так. При выходе из лифта меня едва не сбила с ног нынешняя второкурсница, смутно знакомая по прошлому году.

— Ой, Элис, — пропела она и бесцеремонно схватила меня за руку. — Вернулась?

— Как видишь, — ответила я, не сходя с места и не пряча глаз, а сама вспомнила: однажды в умывалке я попросила у нее зубную пасту.

Как описать ее реакцию? Она источала патоку, изображала сочувствие и не могла скрыть содрогания. Ей довелось держать за руку ту самую бедняжку, которую изнасиловали на первом курсе, в последний день учебного года.

— Вот уж не думала, что ты вернешься, — сказала она; я высвободила руку.

Лифт успел спуститься на первый этаж и снова подняться на третий. Из кабины выпорхнула стайка девушек.

— Мэри-Бет, — окликнула заговорившая со мной девчонка. — Мэри-Бет, иди-ка сюда.

Мэри-Бет, серая мышка, которую я совершенно не помнила, послушно приблизилась к нам.

— Смотри: Элис! Она в прошлом году жила в «Марионе».

Мэри-Бет вылипла глаза.

Почему я не двинулась с места? Почему не ушла вперед по коридору? Сама не знаю. Видимо, растерялась. Постигала доселе незнакомый птичий язык. «Смотри: Элис!» переводилось как «девчонка, про которую я тебе говорила, ну, та самая, изнасилованная». Это мне подсказал немигающий взгляд Мэри-Бет. А следующая фраза развеяла последние сомнения.

— Вот это да! — выдохнула мышка. — Сью мне про тебя рассказывала.

Тут мне на помощь пришла Мэри-Элис, которая, выйдя из своей комнаты, сразу заметила меня. Из-за яркой внешности многие считали ее заносчивой — только за то, что она ни перед кем не прогибалась. К счастью, внимание переключилось на нее. Я по-прежнему относилась к ней с обожанием, а теперь, можно сказать, вознесла на пьедестал: бесстрашная, оптимистичная, чистая — мне теперь не суждено было стать такой же.

Она сразу отвела меня в комнату, где жила вместе с Три. Там собралась вся наша компания, за исключением Нэнси. Три попыталась меня расшевелить, но не могла отделаться от воспоминаний той ночи, когда увидела меня в душе после изнасилования. Мне стало не по себе. Вдобавок ко всему меня просто достала Диана, которая во всем подражала Мэри-Элис: сыпала ее любимыми выражениями, предлагала какие-то нелепые авантюры — это отдавало фальшью. Она приветствовала меня вроде бы по-дружески, но как-то слишком рьяно, а сама не спускала глаз с нашего общего кумира, ловя каждое словечко. Линда стояла в стороне, у окна. Раньше она мне нравилась. Крепко сбитая, смуглая, с коротко стриженными черными кудряшками. В ней я видела свой собственный образ, слегка искаженный чрезмерным прилежанием: держится особняком, но вызывает симпатию благодаря некоторым качествам, выделяющим ее из общего ряда. Она, конечно, отличалась успехами в спорте, а я — разве что своими странностями и редкими проблесками остроумия.

Очевидно, Линда испытывала вину за свое малодушие и потому долго избегала встречаться со мной взглядом. Уж не помню, кто именно задал этот вопрос и в какой связи, но кто-то поинтересовался, зачем я вернулась.

Вопрос прозвучал агрессивно. В нем сквозил намек на нечто предосудительное, ненормальное. Мэри-Элис тоже уловила эти нотки и не оставила их без внимания. Ее ответ был коротким и точным: «Имеет, черт возьми, полное право». После этого мы с ней вышли в коридор. Я прикинула, сколь много выиграла от дружбы с Мэри-Элис, а потери подсчитывать не стала. Вернулась к учебе — думай о занятиях.

Первые впечатления бывают незабываемыми; это относится к моей первой встрече с Тэсс Гэллагер. Я посещала два ее курса: поэтический семинар и лекции по теории стиха. Лекции читались два раза в неделю и начинались в 8.30 утра, что многих отпугивало.

Она вошла в аудиторию и остановилась у доски. Я сидела в заднем ряду. Стороны оценивающе присматривались друг к другу. Преподавательница не относилась к племени динозавров. Это радовало. У нее были длинные каштановые волосы, зачесанные назад и прихваченные у висков двумя гребнями. Человеческий штрих. Но самыми необычными ее приметам были круто изогнутые брови, а также губы, очертаниями похожие на лук Купидона.

Все это бросилось мне в глаза, пока она стояла у доски и ждала, чтобы опоздавшие расселись по местам, а молнии рюкзаков перестали наконец стрекотать. Я достала карандаши, приготовила блокнот.

И тут она запела.

Это была ирландская баллада без музыкального сопровождения. Гэллагер пела чувственно и вместе с тем трепетно. Она смело брала высокие ноты; мы были поражены. В песне звучало счастье, смешанное со скорбью.

Баллада закончилась. Все онемели. Насколько мне помнится, никто не произнес ни звука, не задал ни одного глупого вопроса типа «Туда ли я попал?». Я ощутила ликование — впервые с той минуты, когда вернулись в Сиракьюс. Меня окружала атмосфера неизведанного; баллада укрепила мою решимость начать все сначала.

— Итак, — заговорила преподавательница, — если я способна петь балладу «а капелла» в восемь тридцать утра, то вы способны приходить на лекции вовремя. Кто сомневается в своих возможностях, пусть выберет для себя другой курс.

— *Йес!* — молча воскликнула я. — *Йес!*

Она рассказала нам о себе. О своих поэтических сборниках, коротком замужестве и любви к Ирландии, об участии в антивоенном движении, о тернистом пути в поэзию. Моему восторгу не было границ.

Мы получили домашнее задание из антологии издательства «Нортон». Преподавательница вышла из аудитории.

— Фигня полная, — бросил парень, одетый в футболку модной фирмы «L. L. Bean», своей подруге, одетой в футболку с логотипом «DFS». — Отсюда валить надо — у этой дамочки мозги набекрень.

Я собрала книги, положив сверху список рекомендованной литературы. Помимо обязательной для второкурсников нортоновской антологии Гэллагер продиктовала названия одиннадцати сборников поэзии, имевшихся в университетском книжном магазине. В приподнятом настроении от встречи с настоящим поэтом я решила скоротать время перед первым семинаром Вульфа и присела с чашкой чая под сенью университетской часовни, а потом прошлась по кампусу. День был солнечный, я перебирала в памяти подробности лекции Гэллагер и с нетерпением предвкушала семинар Вульфа. Меня зачаровало название одной из книг в нашем списке: «Под белой лампой», автор — Майкл Бэркард. Обдумывая это заглавие и на ходу читая антологию, я налетела на Эла Триподи.

Эл Триподи не входил в число моих знакомых. При этом (такая ситуация становилась все более привычной) Эл Триподи меня узнал.

— Ага, вернулась, — заметил он, приобнимая меня за плечи.

— Прошу прощения, — вырвалось у меня, — но я вас не знаю.

— Да, верно, — согласился он. — И тем не менее ужасно рад тебя видеть.

Как ни удивительно, он и вправду обрадовался, без дураков. Я поняла по глазам. Эл был старше большинства студентов; у него уже намечалась лысина, а над верхней губой подрагивали усы, оригинальностью соперничавшие с синевою глаз. Впрочем, он, наверное, выглядел старше своих лет. Такие же морщины и складки я потом видела у байкеров-экстремалов, которые гоняли без шлемов по пересеченной местности.

Выяснилось, что он имел какое-то отношение к университетской службе безопасности и дежурил как раз в тот вечер, когда меня изнасиловали. Мне стало стыдно, будто меня раздели, но все равно он мне понравился.

В то же время во мне закипала злость. Когда же я избавлюсь от этого клейма? Хотелось бы выяснить, сколько народу знает мою подноготную, как широко распространились слухи и кто их распускает. Об этом преступлении даже писала городская газета, хотя и без упоминания имени жертвы — «студентка из Сиракьюса», вот и все. Однако указание на возраст и конкретное название общежития позволяли без труда вычислить одну студентку из пятидесяти. По своей наивности я не была готова ежедневно мучиться одним и тем же вопросом. Кто в курсе? Кто не в курсе?

Сплетни контролировать невозможно, а моя история была просто забойной. Люди, даже вполне порядочные, пересказывали ее без зазрения совести, полагая, что никогда больше меня не увидят. После моего отъезда из города полиция решила не ворошить это дело; такую же позицию заняли мои подруги, за исключением Мэри-Элис. Непостижимым образом я сама превратилась из человека в байку, а байка — это в некотором роде собственность рассказчика.

Эл Триподи остался у меня в памяти по той простой причине, что видел во мне нечто большее, чем «жертву изнасилования». Это читалось во взгляде — человек не устанавливал между нами дистанцию. У меня в голове с некоторых пор появился особый датчик мгновенного действия. Что видит собеседник — меня или сцену насилия? Я научилась угадывать ответ, а может, убедила себя в этом. Во всяком случае, стала чаще угадывать правильно, а когда становилось невмоготу, вообще гнала от себя этот вопрос. Норовила отойти в сторону, чтобы взять себе кофе или попросить у кого-нибудь ручку, а впоследствии машинально отключала нужный уголок сознания. Трудно сказать, сколько народу связало газетные репортажи со слухами, просочившимися из «Мэрион-холла», но я своими ушами слышала рассказы о себе. Мне пересказывали мой же случай. «Ты ведь жила в „Мэрионе“? — уточнял какой-нибудь болтун. — А ту девчонку знала?» Иногда я предпочитала выслушать очередную версию, чтобы понять, насколько она подробна и до каких пределов «испорченный телефон» перевернул факты. Но в большинстве случаев я, не пряча глаза, отвечала: «Да, конечно, — она перед тобой».

На поэтическом семинаре у Тэсс Гэллагер я без устали строчила карандашом. Записала в тетрадку, что «стихи должны будоражить мысль». Что не надо пасовать перед трудностями и подавлять в себе честолюбивые помыслы — именно этому учила Гэллагер. Она драла со студентов семь шкур. Требовала, чтобы мы каждую неделю зазубривали какое-нибудь стихотворение, а потом вызывала декламировать вслух, потому что в свое время ее учителя поступали так же. Мы учились распознавать стихотворные формы, анализировать каждую строку, сочинять вилланеллы и сестины. Постоянные упражнения в сочетании с жесткой методикой имели целью, с одной стороны, подвести нас к сочинению таких стихов, которые

будоражат мысль, а с другой — развеять заблуждение, будто настоящая поэзия служит выражением хандры. Очень скоро все поняли, чем можно довести Гэллагер до белого каления. Когда один из студентов, Рафаэль, обладатель холеных усов и бородки, заявил, что не выполнил домашнее задание, так как у него сейчас полоса счастья, а творить он способен исключительно в тоске, Гэллагер поджала губы, контуром повторяющие лук Купидона, и, вздернув круто изогнутые брови, отчеканила: «Поэзия — это не состояние души. Поэзия — это тяжелый труд».

До той поры я никогда не писала черным по белому об истории с изнасилованием, разве что в дневнике — в форме писем, адресованных себе самой. Теперь у меня созрело решение описать тот случай в стихах.

Поэма вышла — тихий ужас. Как сейчас помню: пять страниц замысловатых метафор, вложенных в клюв говорящего альбатроса и намекающих на общество в целом, насилие и отличие телевидения от реальности. Я не заблуждалась насчет достоинств этого опуса, но вместе с тем надеялась, что показала себя интеллектуалкой, способной не просто сочинять стихи, которые будоражат мысль, но и строго выдерживать поэтическую форму (поэма делилась на четыре главы, обозначенные римскими цифрами!).

Гэллагер проявила понимание. Я не стала выносить свою поэму для обсуждения на семинаре, а пришла с ней на консультацию. В тесном преподавательском кабинете было не повернуться: повсюду громоздились книги и картотеки. Напротив располагался точно такой же кабинет, отведенный Тобиасу Вульффу, но он производил впечатление перевалочного пункта, тогда как Гэллагер, судя по всему, обосновалась у себя на рабочем месте всерьез и надолго. У нее в кабинете все дышало уютом. На письменном столе стояла кружка с чаем. Со спинки рабочего кресла свисал яркий китайский палантин. В тот день ее длинные вьющиеся волосы были забраны инкрустированными гребнями.

— Обсудим поэму, Элис, — начала она.

Как-то само собой получилось, что я выложила ей свою историю. Тэсс только слушала. Не охала, не ужасалась, не отгораживалась от чужих проблем. Не изображала из себя мать или няньку, хотя со временем стала для меня и тем, и другим. Она сидела спокойно, кивая в знак участия. Ее волновала не столько последовательность фактов, сколько моя душевная боль. В моем рассказе она интуитивно отмечала самое мучительное, самое важное, вычленяя из сбивчивого признания и невысказанной горечи, от которой дрожал голос, именно то, на чем нужно было заострить внимание.

— Его поймали? — спросила Тэсс, когда я замолчала.

— Нет.

— Есть идея, Элис, — сказала она. — Не написать ли об этом по-другому? Начать можно так. — И черкнула на листе бумаги: «Если тебя поймают...»

Если тебя поймают,
ты, надеюсь, дух испустишь не сразу, чтоб мне
снова увидеть это лицо,
а может, даже узнать
твое имя,
и больше не звать тебя в мыслях «насилник»,
а говорить тебе «Джон», или «Люк», или «Пол»,
и пусть моя ненависть вырастет с гору.

Если тебя укутут, что есть силы сдавлю
клубок розоватой мошонки
и отрежу, а потом искромсаю
яйца, одно и другое, на посмеянье толпе.
Дальше — строго по плану,
с приятной неспешностью, без суеты
для начала
вгону в тебя острый носок сапога
и буду смотреть, как ты разом извергнешь на землю
кровь и дерьмо.

Потом
отсеку твой язык;
больше ни слова мольбы или брани.
Лишь агония станет беззвучно просить
за тебя, искорежив и тупость, и злобу.

А дальше —
то ли выколоть
похоть бычьих глаз, взяв осколок из тех, на которые
ты меня бросил? То ль нажать на курок,
целясь в колено? По слухам,
коленная чашечка вмиг разлетится от пули.
Отчетливо вижу:
твои пальцы без устали трут
ненужно-живые глазницы, а я восстаю,
подставляя ладонь каплям кровавым из решета
твоей шкуры. Жажду прикончить тебя
сапогами, и пулей, и острым осколком,
но прежде вонзить тебе в каждую дырку насилья клинок.

Приди же. Приди.
Умри и останься лежать — подле меня.

Когда я дописывала последние строчки, меня трясло. Я сидела у себя в общежитии. Несмотря на поэтические недочеты, очевидное подражание Сильвии Плат и многочисленные «пережимы» (пользуясь термином Тэсс), это было мое первое обращение к насильнику. Я говорила с ним напрямую.

Гэллагер не скрывала удовлетворения. «То, что надо!» — услышала я. Стихотворение получилось значительное, подытожила Тэсс и предложила вынести его на семинар. Решиться на такой шаг было непросто. Мне предстояло сидеть в аудитории с четырнадцатью совершенно чужими людьми (одним из них, между прочим, был Эл Триподи) и, по сути, рассказывать про изнасилование. По настоянию Гэллагер я согласилась, хотя и отчаянно

трусил. Потом долго билась над заглавием. В конце концов назвала так: «Заключение».

По заведенному порядку я раздала участникам семинара приготовленные ксерокопии, а после этого прочла стихотворение вслух. Пока читала, с меня сошло семь потов. Кожа горела, к щекам прилила кровь, в ушах и подушечках пальцев началось покалывание. Я чувствовала реакцию слушателей. Студенты остолбенели. Все взгляды устремились на меня.

Потом Гэллагер велела мне прочесть то же самое еще два или три раза. Но сначала предупредила, что каждый студент должен будет высказать свою оценку. Повторное чтение стало для меня настоящей пыткой, еще более жестокой, чем в первый раз. До сих пор не могу понять, зачем Гэллагер вынесла «Заключение» на семинар да еще, вопреки сложившейся практике, устроила фронтальный опрос. С ее точки зрения, значимость этих стихов определялась глобальным характером темы. Судя по ее действиям, она, видимо, хотела внушить это не только слушателям, но и мне самой.

Однако почти все участники семинара отводили глаза.

— Кто начнет? — спросила Гэллагер.

Она не собиралась отступать от плана. Весь ее вид говорил: для этого мы и собрались.

Многие не на шутку оробели. Вместо ответов звучали штампы: «смело», «весомо», «дерзко». Несколько человек попросту разозлились, что их заставляют выступать: они сочли, что навязывание таких стихов равносильно акту агрессии — как со стороны преподавателя, так и с моей стороны.

Эл Триподи спросил:

— Положа руку на сердце: у тебя ведь нет таких желаний, верно?

Он смотрел мне в глаза. Почему-то я вспомнила отца. В этот миг остальные слушатели перестали для меня существовать.

— Каких именно?

— Ну, прострелить ему колено, ножи вонзить во всякие места. Это же несерьезно.

— Это абсолютно серьезно, — ответила я. — Мне действительно хочется его убить.

Наступила пауза. Все уже высказались, кроме Марты Флорес, нелюдимою латиноамериканки. Когда Гэллагер предоставила ей слово, девушка отказалась отвечать. Гэллагер настаивала. Мария сказала, что ей трудно говорить. Тогда Гэллагер предложила устроить перерыв, чтобы Мария сформулировала свое мнение, а потом все же выступила наравне со всеми.

— Необходимо, чтобы все до единого прокомментировали эту работу, — повторила она. — То, что вы сегодня слышали, дорогого стоит. Я считаю, каждый должен это осознать и оценить. Высказывая свое суждение, вы подставляете плечо автору.

Мы вышли на перерыв. Эл Триподи продолжил свой допрос в мощном каменными плитами коридоре, у пыльных стеллажей с монографиями и почетными дипломами профессорско-преподавательского состава. Я изучала дохлых жуков, которым в свое время не посчастливилось выбраться из-за стекла.

До него не доходило, как у меня поднялась рука написать такие слова.

— Я его ненавижу, — объяснила я.

— Но ты же настоящая красавица.

Впервые услышав такое в свой адрес, я в тот момент не сообразила, что он выразил расхожее мнение. Ненависть и красота несовместимы. Как любая девушка, я жаждала быть красивой. Но меня действительно переполняла ненависть. У Триподи это не укладывалось в голове.

Я призналась, что меня преследует навязчивая идея. Неотступное видение. Каким-то образом я добираюсь до насильника и делаю с ним все, что пожелаю. Подвергаю его не только тем пыткам, которые описаны в стихотворении, но и куда более жестоким.

— Чего ты этим добьешься? — спросил он.

— Просто отомщу, — сказала я. — Тебе не понять.

— Да, верно. Мне тебя жаль.

Мой взгляд опять устремился надохлых жуков, которые валялись в пыли, сложив тонкие ножки и выгнув усики, похожие на человеческие ресницы. На моем лице не дрогнула ни один мускул, поэтому Триподи ни о чем не догадался, но меня обожгло стеной огня. Я не намеревалась становиться объектом жалости — ни для кого.

После перерыва Мария Флорес не вернулась. Меня это вывело из равновесия. Что за малодушие, думала я, закипая от досады. Я не заблуждалась насчет своей внешности и в течение трех часов, отведенных на практикум Гэллагер, могла не заботиться о красоте. Написав для меня первую строчку и настояв на обсуждении моих стихов, Тэсс дала мне мандат — право на ненависть.

Ровно через неделю слова Гэллагер «Если тебя поймают» зазвучали пророчеством. Пятого октября, шагая по улице, я увидела насильника. К ночи я уже перестала звать его про себя насильником — у него появилось имя: Грегори Мэдисон.

В тот день у нас по расписанию был семинар Тобиаса Вульфа.

Вульф, с которым мы познакомились тогда же, когда и с Гэллагер, оказался куда более толстокожим. Он был мужчиной, а в те дни мужчина должен был прежде всего чем-то меня удивить, чтобы я отнеслась к нему со вниманием, не говоря уже о доверии. На первом же семинаре Вульф заявил, что его личность не играет никакой роли: единственное, что должно интересовать аудиторию, — это художественная проза. Тогда я, твердо решившая стать поэтом и, по счастью, зачисленная на литсеминар, заняла выжидательную позицию. В этой аудитории я оказалась единственной второкурсницей и единственной любительницей прикольной одежды. «Прозаики» большей частью носили новенькие джинсы и крахмальные рубашки, джемпера с логотипами спортивных команд и лишь изредка — прямого покроя пиджаки из шотландки. А поэтам необходим полет.

Спортивная символика им по барабану. Я считала себя поэтом. Тобиас Вульф, со своей военной выправкой и безапелляционностью критических суждений, не мог быть героем моего романа.

Перед занятиями нужно было перекусить. Я вышла из «Хейвена» и направилась вдоль по улице. Прожив в Сиракьюсе примерно месяц, я стала, как все, бегать на Маршалл-стрит за любой надобностью — то за сэндвичами, то за тетрадками. Особенно мне понравился один продуктовый магазинчик. Хозяин, разговорчивый старик-палестинец, каждый раз приветствовал меня: «Добрый день!» — с ударением на «добрый».

Впереди, на некотором расстоянии, я заметила чернокожего, который беседовал с подозрительным на вид белым парнем. Белый стоял в боковом проезде, облокотясь на ограду. У него были длинные каштановые патлы и небритая физиономия. Рукава белой тенниски, закатанные до подмышек, обнажали бугры бицепсов. Чернокожий был виден только со спины, но бдительность вошла у меня в привычку. Я перебрала по памяти все пункты моего списка: рост сходится, телосложение сходится, осанка знакомая, общается с подозрительным типом. Срочно перейти на другую сторону!

Так я и сделала. Перешла на другую сторону и продолжила путь. Ни разу не оглянулась.

Еще раз перешла через проезжую часть и оказалась в знакомой лавчонке. Тут время замедлило ход. Вспоминаю подробности, какие обычно забываются. Я знала, что буду возвращаться тем же путем, и постаралась взять себя в руки. Выбрала персиковый йогурт и «Тим-соуду» — кто меня знал, тот бы сразу понял: со мной творится что-то неладное. Пробивая чек, палестинец вел себя суетливо и неприветливо — никакого тебе «Добрый день».

Оказавшись на тротуаре, я поспешила для безопасности перейти на другую сторону и стрельнула глазами в направлении проулка. Там никого не было. Справа от меня, на этом же тротуаре, стоял полицейский. Он только что вышел из патрульной машины. Высоченный, под два метра, с морковно-рыжей копной волос и такими же усами. Похоже, он никуда не спешил. Оценив обстановку, я заключила, что угрозы нет. Просто меня охватил (хотя и более остро, чем прежде) привычный страх, который после изнасилования внушали мне все чернокожие. Я взглянула на часы и ускорила шаг. Не хотелось опаздывать на семинар к Вульффу.

Вдруг откуда ни возьмись впереди появился насильник. Он приближался, наискосок перебегая через проезжую часть. Я не остановилась. Не закричала.

У него на лице играла улыбочка. Он меня признал. Для него это было как прогулка в парке: вышел пройтись и встретил знакомую.

Я его тоже узнала, но у меня отсох язык. Мне потребовалось собрать все силы, чтобы внушить себе: больше у него нет надо мной власти.

— Эй, крошка, — окликнул он. — Вроде мы с тобой где-то встречались?

Ухмыляясь, он ворочал мозгами.

Я не отвечала. Смотрела на него в упор. Убеждалась, что именно это лицо нависало надо мной в тоннеле. Убеждалась, что втягивала в себя эти губы, заглядывала в эти глаза, вдыхала тошнотворно-сладковатый запах кожи.

От ужаса я даже не смогла закричать. Сзади стоял полицейский, но я онемела. «Вот человек, который меня изнасиловал!» — так восклицают только в фильмах. Мне с трудом удалось сделать шаг, потом другой. Он заржал у меня за спиной. Я не остановилась.

Страх у него не было. Прошло уже полгода. Полгода назад я лежала под ним в тоннеле на осколках битого стекла. Теперь он смеялся — оттого что ему все сошло с рук, оттого что насиловал и раньше, оттого что собирался заниматься этим и впредь. Моя сломанная жизнь была ему развлечением. Он безнаказанно разгуливал по городу.

В конце квартала я свернула за угол. Оглянувшись через плечо, заметила, что он идет прямо к рыжеволосому полицейскому. Преступнику было на все плевать: он настолько обнаглел, что не побоялся после встречи со мной пройтись мимо копа.

Никогда не спрашиваю себя, зачем было подходить к Вульффу и предупреждать, что я не смогу быть на его семинаре. Так уж полагалось. Он был моим преподавателем. Я была единственной второкурсницей в его семинаре.

Дорога к филологическому факультету шла в гору; я взглянула на часы. До начала семинара оставалось достаточно времени, чтобы сделать два телефонных звонка из будки на первом этаже. Сначала я набрала номер Кена Чайлдса, рассказала, что произошло, и назначила ему встречу в библиотеке через полчаса. Мне нужно было, чтобы он как будущий художник сделал примерный портрет насильника. Потом без промедления позвонила по межгороду родителям, переадресовав им оплату.

— Мама, папа, — зачастила я. — Звоню с филфака.

Мама тревожно ловила дрожь в моем голосе.

— Что такое, Элис? — спросила она.

— Мам, я только что его видела, — выпалила я.

— Кого? — вклинился отец — как всегда, с задержкой.

— Насильника.

Не помню, какова была их реакция. Оно и неудивительно. Я позвонила, чтобы поставить родителей в известность, а потому без обиняков огорошила их фактами.

— Сейчас отпрошусь у преподавателя. Позвонила Кену Чайлдсу — он меня проводит. Попрошу его набросать портрет.

— Перезвони, когда будешь у себя, — сказала мама; почему-то мне это запомнилось слово в слово.

— Ты в полицию сообщила? — спросил отец.

Я ответила без колебаний:

— Еще не успела.

Для нас троих это означало, что вопрос решен. Да, перезвоню. Да, отступить не собираюсь.

Поднявшись по лестнице, я столкнулась с Вульфом, который уже направлялся в сторону аудиторий английского отделения.

Мимо спешили студенты. Я обратилась к нему:

— Профессор Вульф, можно с вами поговорить?

— Сейчас мне некогда, приходите после занятий.

— Дело в том, что мне сейчас надо уйти, вот, собственно, и все.

Я знала, что он будет недоволен, но не подозревала, до какой степени. Он напомнил, как почетно быть принятой в его семинар, и не преминул заметить, что пропуск одного занятия по его предмету равносителен трем пропускам любого непрофилирующего семинара на третьем курсе. Я и без него это знала. Потому и притащилась на факультет, а не пошла напрямиком в общежитие.

Я вымолила у Вульфа пару минут. Чтобы переговорить с ним не в коридоре, а у него в кабинете.

— Очень прошу, — выдохнула я.

Видимо, что-то зацепило ту часть его сознания, которая не подчинялась дисциплине, ценимой им превыше всего.

— Очень прошу, — повторила я, и он нехотя откликнулся.

— Только не долго.

Проследовав по небольшому коридору, мы свернули за угол и остановились; он достал ключ. Сама не понимаю, как мне удавалось сохранять хладнокровие после встречи с насильником и до того момента, когда я оказалась в кабинете Вульфа, за закрытыми дверями. Я была наедине с мужчиной, который не мог причинить мне вреда. Только теперь я перевела дух. Вульф опустил в кресло лицом ко мне, а я, потоптавшись, осторожно присела на стул для студентов.

Тут меня прорвало.

— Я не смогу прийти на семинар. Только что я столкнулась с преступником, который меня изнасиловал. Надо немедленно сообщить в полицию.

Помню — отчетливо помню — выражение его лица. Он сам был отцом. По слухам, у него в семье рождались только мальчики. Он встал и подошел ко мне. Хотел погладить по

голове, но невольно отдернул руку. Я подверглась изнасилованию. Как я восприму его прикосновение? У него на лице отразилось замешательство, за которым скрывалось бессилие облегчить чужую боль.

Он предложил, что сам позвонит в полицию, спросил, доберусь ли я до дому, и сказал, что готов помочь чем только сможет. Я ответила, что уже договорилась с приятелем, который встретит меня в библиотеке и проводит до общежития, а уж оттуда я буду вести все телефонные переговоры.

Вульф вышел со мной в коридор. Прежде чем меня отпустить (а я уже думала только о том, как бы не упасть, что сказать по телефону и какие приметы, затверженные наизусть, сообщить полиции в первую очередь: *бордовая ветровка, подвернутые голубые джинсы, кроссовки «Олл-стар»...*), он остановился и положил руки мне на плечи.

Убедившись, что на какой-то миг ему удалось завладеть моим вниманием, он заговорил: — Элис, в ближайшее время события обрушатся лавиной; очевидно, мои слова покажутся вам бессмыслицей, но тем не менее. Постарайтесь по возможности запомнить все.

С трудом удерживаюсь, чтобы не написать последние два слова с заглавных букв. Видимо, так и было задумано. Вульф произнес их с прицелом на будущее, вне зависимости от рода занятий, который я для себя выберу. Он знал меня всего ничего — две недели. Мне было только девятнадцать лет. Во время его семинаров я рисовала у себя на джинсах цветочки. Сочинила рассказ, в котором портновские манекены в один прекрасный день ожили и принялись мстить портным.

Так что совет его был подобен гласу вопиющего в пустыне. Однако он лучше других знал, как я поняла много позже, купив в магазине издательства «Даблдей» на Пятой авеню в Нью-Йорке его автобиографию под названием «Жизнь этого мальчишки», что память — это и хранилище, и сила, а зачастую — единственное прибежище слабых, бесправных и униженных.

Путь от филологического факультета до библиотеки — каких-то двести ярдов через внутренний двор, а там на другую сторону улицы — я проделала на автомате. Как робот. Думаю, так ходят военные патрули, настроившись на малейший шорох, чреватый опасностью. Университетский двор превратился для меня в район боевых действий, где враг сидит в засаде и готовится атаковать, усыпив твою бдительность. Вывод: не теряй бдительность ни на секунду.

С оголенными нервами, прожигаящими кожу, я добрела до библиотеки Бэрда. Оставаясь начеку, все же позволила себе перевести дух. Дальше я шла сквозь флюоресцентный свет. В начале семестра читальные залы обычно пустуют. Я даже головы не повернула в сторону немногочисленных зубрил. Не хотела встречаться взглядом с посторонними.

Кена я не дождалась — от страха не решилась остановиться. Так и шла вперед. Планировка библиотеки Бэрда позволяет пройти все здание насквозь и выйти с другой стороны, на нейтральную полосу. Это квартал старых деревянных домов, занятых в основном общежитиями престижных студенческих клубов, как мужских, так и женских, — не чета благопристойному университетскому двору. Фонарей здесь было не много, а за то время, что я ходила отпрашиваться у Вульфа, на улице уже совсем стемнело. У меня была единственная цель: добраться до общежития целой и невредимой, чтобы записать все его приметы —

одежду, черты лица.

Добралась. Не помню, чтобы хоть кто-нибудь встретился на моем пути. Или я просто никого не замечала. Из своей маленькой одноместной комнаты позвонила в полицию. Объяснила, в чем дело. В мае меня изнасиловали, сказала я, а теперь вот, по возвращении в кампус, я наткнулась на того, кто это сделал. Не могли бы они приехать?

Присев на кровать, я набросала портрет. Но прежде записала в столбик приметы. Сначала волосы, затем рост, телосложение, форма носа, разрез глаз, очертания губ. Добавила кое-какие подробности: «Шея короткая. Голова небольшая, приплюснутая. Подбородок квадратный. На лбу линия роста волос низкая». Припомнила цвет кожи: «Довольно темный, но не густо-черный». Портрет поместила в левом нижнем углу, а справа от него описала одежду: «Куртка бордовая, типа ветровки, только на подкладке. Джинсы голубые. Кроссовки белые».

Тут примчался Кен, запыхавшийся, весь на взводе. Он был невысоким и щуплым; в прошлом году, в порыве романтических чувств, я видела в нем «Давида» уменьшенного формата. До сих пор он не проявлял ко мне особой чуткости. За все лето прислал только одно письмо, в котором объяснял — и на тот момент я приняла такое объяснение, — что переосмыслил мою историю, дабы не переживать ее столь болезненно. «Я себя убедил, что это как перелом ноги и, как перелом ноги, со временем заживет без следа».

Кен хотел подправить мой рисунок, но из этой затеи ничего не вышло — от волнения у него тряслись руки. Он сидел на моей кровати: съжившийся, перепуганный. Но я повторяла себе, что он — душа-человек, знает меня как облупленную и настроен доброжелательно. Спасибо и на этом. Он опять и опять брался делать собственный набросок головы насильника.

В коридоре послышался шум. Потрескивание раций, грохот тяжелых шагов. В дверь замолотили кулаком, и я сразу открыла, но из соседних комнат уже выскочили девчонки.

Служба безопасности Сиракьюсского университета. Вызов поступил из полицейского управления. Переговоры шли по громкой связи. Это был конец света. Двое охранников оказались такими здоровенными, что едва втиснулись в мою более чем скромную комнату.

Не прошло и минуты, как примчался наряд полиции. Три человека. Кто-то повернул ключ в двери. Я снова рассказала, что случилось, и тут возникли небольшие разногласия по поводу юрисдикции. Университетские «секьюрити» поначалу хотели уйти в сторону: преступление имело место в Торден-парке, а преступник был замечен на Маршалл-стрит, так что городскому полицейскому управлению и карты в руки — кампус-то тут при чем? Со служебной точки зрения они рассуждали здраво, но тем вечером в них проснулся охотничий инстинкт.

Полицейские рассмотрели наброски — сначала мои, потом Кена. Невзирая на мои протесты, они упорно именовали Кена моим ухажером и косились на него с подозрением. Хлипкий и дерганый, он выглядел инопланетянином среди плечистых здоровяков, вооруженных пистолетами и дубинками.

— Сколько времени прошло с момента вашей встречи с подозреваемым?

Я ответила.

Они предположили, что насильник, которого я не спугнула, до сих пор ошивается в районе Маршалл-стрит. Имело смысл направить туда полицейский автомобиль.

Двое городских копов забрали мои рисунки, а те, что сделал Кен, оставили за ненадобностью.

— Разошлем это во все подразделения. Пока не задержим, в каждой машине будет такой портрет, — сказал один из двоих.

На пороге Кен спросил:

— Мне обязательно ехать с вами?

Под испепеляющими взглядами стражей порядка он все понял. И присоединился к нам. Из общежития мы выходили в сопровождении шестерых людей в форме. Мы с Кеном устроились на заднем сиденье полицейского автомобиля; один из офицеров сел за руль. Забыла его фамилию, но прекрасно помню, как он кипел от злости.

— Этот гаденыш от нас не уйдет, — приговаривал он. — Изнасилование относится к разряду особо тяжких преступлений. Ему мало не покажется.

Он завел двигатель и включил мигалку. До Маршалл-стрит было рукой подать.

— Теперь не зевайте, — сказал офицер.

Он управлял автомобилем с лихостью нью-йоркского таксиста.

Кен втянул голову в плечи. Он посетовал, что от мигалки ему дурно, и накрыл глаза ладонью.

Я смотрела в оба. Мы несколько раз проехали по Маршалл-стрит и прилегающим улочкам; офицер успел рассказать историю своей племянницы, скромной семнадцатилетней девушки. Она подверглась групповому изнасилованию. «Жизнь сломана, — повторял он. — Жизнь сломана». Дубинка, сжатая его рукой, замолотила по пустому пассажирскому сиденью. От каждого удара по искусственной коже Кен вздрагивал. Не надеясь на успех нашей миссии, я с ужасом думала, чего еще можно ожидать от этого человека.

Преступника нигде не было видно. Так я и сказала офицеру. Предложила развернуться и поехать в полицейское управление, чтобы еще раз просмотреть фотоархив. Но блюститель порядка вознамерился идти до конца. Он ударил по тормозам и зашел на очередной круг по Маршалл-стрит.

— Ну-ка, ну-ка! — встревожился он. — А это что за троица?

Повернув голову, я все поняла. Трое черных студентов. По одежде сразу видно. К тому же все были высокого роста, гораздо выше насильника.

— Нет, — сказала я. — Хватит, надо уезжать.

— От этих добра не жди, — сказал полицейский. — Сидите тихо.

Выскочив из машины, он бросился в их сторону. У него в руке была дубинка.

Кена охватила паника, как бывало с моей матерью. Он едва дышал. Порывался выйти на воздух.

— Какая муха его укусила? — Кен подергал дверь, да не тут-то было — в этой машине возили не только потерпевших, но и преступников.

— Откуда я знаю? Эти ребята на того совсем не похожи.

Над головой по-прежнему крутилась мигалка. Прохожие, останавливаясь возле автомобиля, заглядывали в окна. Я досадовала, что мы сидим одни. Досадовала, что Кен оказался размазней. Опасалась, что наш коп, жаждущий отомстить за изломанную жизнь племянницы, в озлоблении натворит глупостей. И все это из-за меня, хотя меня как бы и вовсе не существовало. Я лишь послужила катализатором, подхлестнув чью-то нервозность, злобу и чувство вины. Мне было жутко, но еще больше — противно. Полицейский все не возвращался, Кен продолжал ныть. Уткнувшись головой в колени, чтобы зевакам была видна только «спина потерпевшей», я прислушивалась к звукам, доносившимся из переулка. Голову даю на отсечение, там кого-то избивали. *Не того.*

Офицер вернулся. Сев за руль, он довольно похлопал себя дубинкой по ладони:

— Пришлось их немного поучить. — С него градом лил пот.

— Что они такого сделали? — содрогнувшись, спросил Кен.

— Отказались предъявить содержимое рюкзаков. Не подчинились офицеру полиции.

Этот инцидент на Маршалл-стрит стал последней каплей. *В с е* несправедливо. Несправедливо, что мне нельзя ходить через парк. Несправедливо, что надо мной надругались. Несправедливо, что насильник разгуливает на свободе; несправедливо, что со мной, студенткой Сиракьюсского университета, полиция обращается приличнее, чем с другими. Несправедливо, что племянницу полицейского изнасиловали бандиты. Несправедливо считать, что ее жизнь сломана. Несправедливо гонять машину с мигалкой по Маршалл-стрит. Несправедливо попусту цепляться к черным ребятам и уж тем более охаживать их дубинкой.

И никаких «но»: просто этот полицейский жил на моей планете. Я вписывалась в его мир, как никогда больше не буду вписываться в мир Кена. Даже не помню, попросил ли Кен, чтобы его подбросили домой, или поехал со мной в полицию. После того вечера он перестал для меня существовать.

Мы остановились возле Управления по охране общественного порядка. Время близилось к девяти вечера. В этом здании я не бывала с того проклятого дня. Здесь я ощущала себя в безопасности. Мне нравилось, что на лифте можно подняться прямо в приемную с широченной автоматической дверью. Вестибюль был надежно отгорожен пуленепробиваемым стеклом.

Офицер провел меня в здание; за нами с мягким щелчком автоматически захлопнулась дверь. Слева от входа за пультом сидел диспетчер. Поблизости находились мужчины в форме. Некоторые прихлебывали кофе из массивных кружек. При нашем появлении все смолкли, уставившись в пол. Доставленный сюда человек в штатском мог быть только потерпевшим или преступником.

Мой сопровождающий объяснил дежурному, что я проходила в качестве потерпевшей по делу об изнасиловании в восточном секторе, а сейчас должна просмотреть архивные фото.

Меня провели в тесную каморку напротив диспетчерской. Распахнув двери настежь, офицер начал снимать со стеллажей толстые черные альбомы. Их оказалось не менее пяти; все страницы были сплошь заклеены небольшими снимками стандартного формата. С них смотрели исключительно афроамериканские мужские лица примерно одного возраста с насильником.

Каморка напоминала скорее чулан, нежели кабинет для ознакомления с фотоархивом. Пару альбомов еще можно было положить на шаткий железный столик, рядом с пишущей машинкой, а остальные приходилось удерживать на коленях. По мере надобности во мне обычно просыпалась прилежная студентка, которая теперь методично, страницу за страницей, изучала снимки. В результате я отметила шестерых типов, отдаленно схожих с насильником, но затея с просмотром бесконечных лиц анфас и в профиль стала казаться бессмысленной.

Мне принесли жидкий, но почти горячий кофе. В неприветливом чулане образовался какой-никакой островок уюта.

— Ну как? Есть что-нибудь?

— По нулям, — сказала я. — Уже в глазах темно. Думаю, его здесь нет.

— Работай, работай. Ты ж его недавно видела.

Когда зазвонил телефон, я еще корпела над альбомом номер четыре.

— Это патрульный Клэппер, — выкрикнул диспетчер доставившему меня офицеру. —

Узнал того козла.

Все столпились у пульта. Переговоры напомнили мне фильмы про полицейскую академию.

— Рыжий говорит, это Мэдисон, — сообщил диспетчер.

— Который Мэдисон? Марк?

— Да нет, — отмахнулся диспетчер. — Тот давно сидит.

— Фрэнк?

— Да нет, его Хэнфи повязал на той неделе. Грег, не иначе.

— А этот разве не сидит?

И так далее. Помню, кто-то вставил: надо, мол, пожалеть старика Мэдисона, трудно ему одному мальчишек растить.

В каморку вернулся мой сопровождающий.

— К вам есть пара вопросов, — сказал он. — Готовы отвечать?

— Готова.

— Как выглядел полицейский, который стоял у машины?

Я описала его внешность.

— А где именно остановилась машина?

На стоянке перед Хантингтон-холлом, ответила я.

— Все сходится, — оживился он. — Похоже, скоро возьмем злодея тепленьким.

После его ухода я захлопнула лежащий на столике альбом. Почему-то мне стало некуда девать руки. Они затряслись. Я засунула ладони под себя. Из глаз брызнули слезы.

Через несколько минут раздался голос диспетчера:

— А вот и он!

Это сообщение было встречено радостными воплями.

Вскочив со стула, я заметалась в поисках укрытия. Забилась в угол у двери. Прижалась лицом к железной полке с альбомами прежних лет.

— Ну Клэппер, ну молоток! — выкрикнул чей-то голос, и из меня вышел весь воздух.

Неужели патрульный приволок с собой насильника?

— Сейчас снимем показания с потерпевшей и упакуем тебя по всей форме, — сказал кто-то еще.

Конечно, мне ничто не угрожало. Но я ничего не могла с собой поделать. Не находила в себе сил покинуть укрытие. Из человека меня превратили в жертву. Обессилев, я рухнула на тот же стул.

В диспетчерской царило ликование. Полицейские хлопали друг друга по спине и подтрунивали над Клэппером, обращаясь к нему то Длинный, то Морковка, то Малый.

Пригнув голову, он заглянул в архивную каморку:

— Здорово, Элис. Узнаешь меня?

Я расплылась в улыбке:

— Еще бы!

Снаружи раздался новый взрыв хохота.

— Тебя — да не узнать? Такое чудо — почище Сайта-Клауса!

Мало-помалу гомон умолк. Зазвонил телефон. Двое умчались по вызову. Клэппер отправился писать рапорт. Меня проводили в тот самый кабинет, где без трех дней полгода тому назад со мной беседовал сержант Лоренц. С меня взяли письменные показания, куда включили заранее подготовленное мною описание примет нападавшего.

— На попятную не пойдете? — спросил меня офицер. — Наше дело — взять его под стражу. А вам придется давать показания в суде.

— Знаю, — сказала я.

Меня отвезли в «Хейвен-холл» на машине без опознавательных знаков. Я позвонила родителям, чтобы они не беспокоились. Офицер составил заключительное донесение по делу Ф-362 и передал папку сержанту Лоренцу.

Изнасилование 1-й ст.

Изнасилование в извращенной форме 1-й ст.

Грабеж 1-й ст.

Потерпевшая была доставлена мною в дежурную часть УООП. В моем присутствии с центрального пульта было передано сообщение «всем постам». Непосредственно после этого на пульт поступил сигнал от патрульного офицера Клэппера (машина № 561), который сообщил, что около 18.27 лично разговаривал на Маршалл-стрит с женщиной, приметы которой совпадают с приметами подозреваемого в совершении насилия. По информации п/о Клэппера, имя указанного мужчины — Грегори Мэдисон. Мэдисон имеет судимость; отбывал срок тюремного заключения. Согласно служебной инструкции, п/о Клэппер был обязан провести опознание по материалам фотоархива, но опознание не проводилось ввиду отсутствия требуемых фотоматериалов. Имеются основания полагать, что Грегори Мэдисон является подозреваемым по данному делу. Письменные показания потерпевшей и п/о Клэппера приобщены к делу.

Рекомендуемая мера пресечения — арест.

Приметы переданы заступающим патрульным группам 3-й и 1-й смен. При обнаружении лиц, отвечающих указанным приметам, вызывать подкрепление. Подозреваемый может быть вооружен и опасен.

Той ночью мне снился сон. С участием Эла Триполи. В тюремной камере он с помощью двоих полицейских удерживает насильника. А я совершаю акты возмездия, но все без толку. Насильник, вырвавшись от Эла Триполи, бросается на меня. Прямо надо мной оказываются его глаза — совсем близко, как тогда, в гроте. Крупным планом.

Я проснулась от собственного крика и села на влажных простынях. Часы на телефоне показывали три ноль-ноль. Звонить маме я не решилась. Сделала попытку уснуть. Я егс нашла. Опять мы с ним оказались один на один. В памяти всплыла последняя строка моего стихотворения, написанного по совету Тэсс Гэллагер:

Умри и останься лежать — подле меня.

Приглашение было отправлено. В моем понимании, тогда, в тоннеле, насильник меня убил. Теперь я сделаю с ним то же самое. *И пусть моя ненависть вырастет с горю.*

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В начале семестра я держалась обособленно, занимая все свое время письменными сочинениями по двум спецкурсам. На следующий день после той уличной встречи с насильником я позвонила Мэри-Элис. Она и разволновалась, и перепугалась за меня. У нее тоже почти не оставалось свободного времени. Как и Три с Дианой, она участвовала в конкурсе на вступление в женское университетское объединение. Ей хотелось попасть в самое престижное — «Альфа-Ки-Омега». Туда принимали только отличниц, которые притом показывали хорошие результаты в спорте и не имели дисциплинарных взысканий. Обязательным условием негласно считался белый цвет кожи. Мэри-Элис по всем статьям была вне конкуренции.

Тяга к такого рода обществу плохо согласовывалась с ее собственными циничными замечаниями относительно идиотизма конкурсных процедур и прочей мышшиной возни; с этого времени между нами наступило охлаждение. Я перестала искать ежедневных встреч.

С некоторой долей осторожности я пошла на сближение с новой подругой. Ее звали Лайла; родилась она в Джорджии, а потом переехала в Массачусетс. В отличие от моей мамы, которая культивировала в себе южанку, Лайла избавилась от южного говора. Акцент, рассказывала она, из нее живо выбили в Массачусетсе, когда она пошла там в школу. На мой слух, ее речь звучала абсолютно нейтрально. Но мама в таких случаях подчеркивала, что истинный южанин всегда узнает южанина по особому тону и протяжным гласным.

В «Хейвене» мы с Лайлой жили на одном этаже, через шесть комнат друг от друга. Светловолосая, она, как и я, носила очки. Даже телосложением мы были похожи — говоря без затей, чуть полноваты. Она считала себя никому не интересной, «серенькой». Я задалась целью ее расшевелить — в ней ощущалась некоторая заторможенность. Как и Мэри-Элис, Лайла оставалась девушкой.

Лайла показала себя идеальной слушательницей. Рядом с ней я отнюдь не чувствовала себя бесплатным приложением к эффектной подружке, как было в отношениях с Мэри-Элис. Я оказалась и чуть стройнее, и чуть веселее, и чуть решительнее.

Как-то вечером я посоветовала ей поискать в себе животное начало и распорядилась:
— Бери пример с меня!

Сунув ей фотоаппарат, я схватила упаковку изюма, сделала зверское лицо и пропорол картонку ножом. После этого мы поменялись местами, чтобы она тоже ткнула ножом в изюм. На снимках видна моя беспощадность к бедным сухофруктам. А Лайла так и не смогла взять в толк, чего от нее хотят. Нож в ее руке лишь деликатно касается продырявленной мною упаковки. Ласковый взгляд и детское личико ни в какую не желают принимать свирепое выражение.

Мы с ней тренировали мелодичный смех. Я не могла дождаться, когда она оторвется от учебников, чтобы залучить ее к себе в комнату и начать эти упражнения, уговаривая смеяться подольше, хоть целый вечер; смеясь вместе с ней, я могла не думать о том, что ждет меня вне этих стен.

Четырнадцатого октября я не покидала территорию кампуса. Тем временем от полицейского дознавателя Лоренца поступил телефонный звонок в офис заместителя районного прокурора Гейл Юбельхоэр, которой было поручено осуществить прокурорскую

проверку материалов дела до передачи их судье для получения судебных предписаний. Юбельхоэр на месте не оказалось. Дознаватель Лоренц оставил для нее сообщение: «В 14.00 задержан Грегори Мэдисон».

Я вторично попала в газеты. «Потерпевшая указала пальцем» — гласил заголовок короткой, в пять абзацев, заметки в «Сиракьюс пост-стэндард» от пятнадцатого октября. Эту вырезку, а потом и все последующие публикации прислала мне по почте Триция, сотрудница кризисного центра помощи жертвам насилия.

Предварительные слушания в Сиракьюсском городском суде были назначены на девятнадцатое октября. Ответчиком выступал Грегори Мэдисон, истцом — штат Нью-Йорк. Целью этого заседания было установить, имеется ли достаточно оснований для передачи дела на рассмотрение большого следственного жюри. Мне сообщили, что в качестве свидетеля может быть вызван кто угодно, от врача, подписавшего заключение серологической лаборатории, до патрульного Клэппера, который засек Мэдисона в городе. Могли потребоваться и мои показания. И показания Мэдисона.

Я не могла идти на слушания без сопровождающего, но Мэри-Элис сослалась на занятость, а Кен Чайлдс на эту роль не годился. Лайла еще не стала моей закадычной подругой, и я не хотела ей навязываться. Оставалось обратиться за помощью к Тэсс Гэллагер.

— Почту за честь, — ответила она. — А потом сходим в хороший ресторан. С меня обед.

Точно не помню, как я была одета; зато Гэллагер, которая славилась на весь университет вызывающими нарядами и соответствующими шляпками, пришла в безупречном костюме и удобных туфлях. Это выдавало серьезность ее намерений. Уж кто-кто, а она-то прекрасно знала, что обыватели неизменно встречают поэта в шпыки. Впрочем, я тоже оделась вполне прилично. Из нас получилась образцовая пара: юная студентка с моложавой наставницей.

Больше всего меня страшила встреча с Грегори Мэдисоном. Мы с Тэсс прошли коридорами полицейского управления и оказались в здании окружного суда. Нас сопровождал незнакомый следователь: без него мы бы не нашли нужный кабинет, где мне предстояло познакомиться с обвинителем, представляющим интересы штата. У меня схватило живот, а следователь не имел понятия, где искать женский туалет. Пришлось нам с Тэсс отправиться на поиски самостоятельно.

В старом крыле здания пол был вымощен мраморными плитами. Низкие каблуки Тэсс отбивали резкую дробь. В конце концов мы обнаружили туалетную комнату, где я, как была, опустилась на сиденье унитаза и вперила глазами в деревянную дверь. Мне нужно было хоть немного побыть в одиночестве, чтобы успокоиться. После перехода из одного здания в другое у меня возникло такое чувство, будто сердце вот-вот выскочит из горла. Мне не раз доводилось слышать это выражение, но теперь я поняла его буквальный смысл. К голове прилила кровь, и я испугалась, что меня вырвет.

Из кабинки я вышла бледная как полотно. Смотреться в зеркало не хотелось. Вместо этого я стала наблюдать за Тэсс. Она поправляла эффектные гребни.

— Ну, вот так. — Результат ее вполне удовлетворил. — Идем?

Поймав мой взгляд, она подмигнула.

Рядом с нашим провожатым стояла Триша. Они с Тэсс были полной противоположностью друг другу. Сотрудница кризисного центра, Триша завершала все свои

послания словами «с сестринским приветом» и не вызывала у меня особого доверия. Другое дело — Тэсс: я впервые встретила женщину, которая создала для себя особый замкнутый мир, не боялась выбиваться из общей массы и не стеснялась своих причуд. Триша вела себя слишком назойливо. Ей непременно хотелось пробудить мои *чувства*. Вряд ли это могло пойти мне на пользу. Здание суда в округе Онондага не слишком располагало к излиянию чувств. Оно располагало к тому, чтобы отстаивать истину. Мне стоило немалых трудов удерживать в памяти гнусные подробности, чтобы по первому требованию внятно проговорить их вслух. Тэсс заряжала меня решимостью. Это было куда ценнее сестринских приветов. Я сказала Трише, чтобы та шла домой.

Мы с Тэсс опустились на деревянную скамью под дверью совещательной комнаты. Такие же скамьи стояли у нас в церкви Святого Петра. По моим ощущениям, прошел не один час. Тэсс рассказывала про штат Вашингтон, где она выросла, про сплав леса, про рыбалку и про своего гражданского мужа Раймонда Карвера.^[10] У меня вспотели ладони. По телу пробежал озноб. Добрую половину ее рассказов я пропустила мимо ушей. Надеюсь, это ее не обидело. На самом деле она не столько поддерживала беседу, сколько убаюкивала меня, как колыбельной, своим неспешным повествованием. Но у колыбельной был свой конец.

Тэсс начала раздражаться. Она то и дело смотрела на часы. Ее тяготило бездействие. Примадонна кампуса, царица поэзии, она вдруг превратилась в бесполезную фитюльку. И по моей милости вынуждена была томиться в ожидании. Обед в ресторане едва-едва маячил на горизонте.

С той поры я научилась трансформировать нервозность ожидания в чугунную скуку. Для этого необходим особый настрой: если ад неизбежен, я устраиваю себе сеанс психотерапии по системе дзэн.

Когда наконец к нам вышел заместитель окружного прокурора Райан, который заменял свою коллегу Юбельхоэр, занятую в суде на другом процессе, Тэсс пребывала в молчании, а я разглядывала клетку лифта.

На вид Райану не было и тридцати. Рыжевато-каштановые волосы торчали вихрами. Он был одет в спортивного покроя пиджак из буклированной ткани, с замшевыми заплатками на локтях — такой уместнее смотрелся бы в кампусе, откуда я приехала, нежели в суде.

Он обратился к Тэсс «миссис Сиболд» и густо покраснел, узнав, что это моя преподавательница. Несмотря на такой конфуз, он попал под ее чары. По ходу разговора он украдкой косился в ее сторону, стараясь не выдать своего интереса и вместе с тем разглядеть ее получше.

— Что вы преподаете? — спросил он.

— Поэзию.

— Так вы стихи сочиняете?

— В некотором роде, — ответила Тэсс — У вас есть новости для нашей подопечной?

Тогда до меня это не дошло, но заместитель прокурора явно забрасывал удочки, а Тэсс дала ему отпор с той легкостью, которая оттачивается практикой.

— Начало неплохое, Элис, — обратился ко мне Райан. — Можете радоваться: ответчик отказался от своего права давать показания.

— То есть?

— То есть адвокат ответчика согласился не оспаривать идентификацию.

— Это хорошо или плохо?

— Хорошо. Но вам все равно придется отвечать на любые, самые неприятные вопросы.

— Ничего не поделаешь, — пробормотала я.

— Наша цель — доказать, что изнасилование действительно имело место. Что половой акт с подозреваемым был совершен не по обоюдному согласию, а по принуждению. Вы меня понимаете?

— Понимаю. Можно, Тэсс пойдет со мной?

— Только потихоньку. Входите в зал молча. Ваша преподавательница незаметно проскользнет следом и сядет в заднем ряду, возле судебного пристава. Вы займете свидетельское место, а дальше я возьму дело в свои руки.

Он скрылся за дверью справа от нас. Из лифта вышли какие-то люди и направились в нашу сторону. Один из них окинул нас цепким, пристальным взглядом. Это и был адвокат мистер Меджесто.

Через некоторое время в дверях появился судебный пристав:

— Мисс Сиболд, прошу вас.

Мы с Тэсс сделали все, как сказал мистер Райан. Я прошла вперед. До моего слуха доносилось шуршание бумаг и чье-то покашливание. Заняв место для дачи показаний, я повернулась лицом к залу.

Народу было совсем мало. Занятыми оказались только два последних ряда, образующих подобие галерки. Крайней справа сидела Тэсс. На миг наши глаза встретились. Она улыбнулась, словно говоря: «Порви их всех». Больше я не смотрела в ее сторону.

Ко мне приблизился мистер Райан, которой для начала уточнил мое имя, возраст, домашний адрес и прочие необходимые данные. Это позволило мне свыкнуться со стуком пишущей машинки и уяснить, что каждое мое слово фиксируется черным по белому. Значит, я должна вслух описывать все мерзости, которые вершились тогда в тоннеле, а какие-то люди, взяв протокол, станут его читать и перечитывать.

Затем Райан спросил, какое было освещение в парке и где именно было совершено изнасилование, а потом перешел к тем вопросам, о которых меня предупреждал.

— Можете рассказать своими словами, что произошло в указанное время?

Я старалась не частить. Райан то и дело перебивал. Опять спросил, какие горели фонари, потом — была ли в небе луна и оказывала ли я сопротивление. Требовал вспомнить, как я наносила удары: открытой ладонью или кулаком, опасалась ли за свою жизнь, какая сумма денег была у меня похищена насильником и, наконец, отдала ли я деньги добровольно или нет.

После выяснения подробностей борьбы у входа в тоннель Райан перешел к тем событиям, которые имели место уже под трибунами амфитеатра.

— Опишите способы принуждения, которые использовал нападавший, а также ваши собственные действия с того момента, когда он затащил вас под амфитеатр, и до того момента, когда был совершен половой акт.

— Сначала он схватил меня за шею, притянул мое лицо к своему и несколько раз поцеловал, а потом приказал раздеваться. Он попытался сорвать с меня одежду. Ему не удалось расстегнуть пряжку ремня. Он велел мне расстегнуть пряжку, и я это сделала.

— Он приказал вам раздеться до того или после того, как начал угрожать убийством в случае вашего неподчинения?

— После... я заливалась кровью... все лицо было в крови.

— У вас лицо было в крови?

— Да.

— От падения?

— И от падения, и от побоев, и от пощечин.

— Нанес ли он вам удар перед совершением описанного вами полового акта?

— Угу.

— В какое место он нанес вам удар?

— По лицу. Я стала задыхаться. Он сдавливал мне горло, раздирал лицо. Повалил меня на землю, уселся сверху, чтобы я не убежала, и стал бить кулаками по телу.

— Так, — сказал Райан, — а после этого, как вы отметили, у него возникли непродолжительные трудности с эрекцией; вы это подтверждаете?

— Угу. — Я нарушила инструкции судьи: мне предписывалось четко отвечать «да» или «нет».

— Что произошло после этого?

— Он не смог достичь эрекции. Более конкретно сказать не могу — я в этом не разбираюсь. Но перед введением члена и совершением полового акта он остановился и заставил меня встать на колени, чтобы сделать ему минет.

— Был ли после этого такой момент, когда вам удалось вырваться?

— Да.

— Как это произошло?

— После того как он произвел в меня семяизвержение, он поднялся с земли, начал одеваться, нашел какие-то мои вещи и передал мне; я их надела, тогда он сказал: «А ведь я тебя обрюхатил, сучка. Что делать будешь?»

Я подробно описала, как насильник меня обнимал, как просил прощения и потом отпустил, но тут же окликнул вновь.

Райан помолчал. Следующая серия вопросов стала для меня единственной возможностью перевести дух. Что было у меня похищено при совершении преступления? Во что был одет насильник? Рост? Внешность?

— Не припоминаю, чтобы вы уточнили, был ли это чернокожий или белый, — напоследок спохватился Райан.

— Это был чернокожий.

— У меня все, ваша честь.

Развернувшись, он пошел к своему месту. Судья сказал: «Защита, прошу», и мистер Меджесто, поднявшись со скамьи, вышел вперед.

Двое адвокатов, защищавших Мэдисона в течение года, сильно смахивали друг на друга. Оба приземистые, лысоватые, над верхней губой какая-то гадость — липкие капли пота, а у Меджесто еще и неопрятные усики; на каждом перекрестном допросе я сосредоточивала свое внимание на этой отталкивающей черте.

Я внушала себе, что даже при благоприятном для меня исходе дела эти двое не будут заслуживать ничего, кроме ненависти. Пусть это их работа, пусть они чисто случайно стали участниками процесса, пусть у них подрастают детишки или страдают от тяжелого недуга матери — плевать. Их цель — меня раздавить. Надо хотя бы дать им сдачи.

— Итак, мисс Си-и-иболд... правильно? Ударение на первом слоге?

— Да.

— Мисс Сиболд, вы утверждаете, что вечером того дня, когда на вас было совершено нападение, вы посетили дом номер триста двадцать один по Уэсткогг-стрит?

— Угу.

В его тоне сквозило осуждение: мол, девчонка совсем завралась.

— Сколько времени вы провели по указанному адресу в тот вечер?

— Примерно с восьми часов до полуночи.

— Вы употребляли спиртные напитки?

— Я не употребляла никаких спиртных напитков.

— Вы в тот вечер курили?

— Там нечего было курить.

— У вас были с собой сигареты?

— Нет.

Ничего не добившись, Меджесто решил зайти с другого боку.

— Сколько лет вы носите очки?

— С третьего класса.

— Вам известно, какое у вас зрение без очков?

— У меня небольшая близорукость, но вблизи вижу хорошо. Точнее не могу сказать, но зрение у меня неплохое. Вижу дорожные знаки и тому подобное.

— У вас имеются водительские права?

— Да, имеются.

— У вас есть в них необходимость?

— Да, конечно.

— На сегодняшний день ваши права действительны?

— Да.

Мне было не сообразить, к чему он клонит. Если бы он спросил, записано ли в правах, что я должна управлять автомобилем в коррекционных линзах, я бы еще поняла. Но такого вопроса не последовало. Ну, допустим, есть водительские права — а дальше-то что? Или водительские права означают, что я уже не ребенок, а взрослая и меня не грех изнасиловать? Ответов я не нашла.

Допрос продолжался.

— Верно ли, что вы постоянно носите очки, потому что без очков плохо видите?

— Нет, неверно.

— В каких случаях вы обходитесь без очков?

— Когда читаю или просто занимаюсь своими делами.

Разве объяснишь в такой обстановке, какая баталия разгорелась в кабинете у глазного врача? Он негодовал, что я постоянно хожу в очках. Что в угоду своему желанию выглядеть серьезной порчу зрение и попадаю в зависимость от корректирующих линз.

— Как по-вашему, той ночью в октябре очки были вам необходимы?

Он имел в виду «в мае», но никто его не поправил.

— Ну да, была уже ночь.

— Ночью вы хуже видите?

— Нет.

— У вас имелась особая причина брать с собой очки?

— Нет.

— Правомерно ли утверждать, что из общежития вы всегда выходите в очках?

— Нет.

— Имелась ли у вас той ночью особая причина надевать очки?

— Я получила их всего за неделю до того случая. Они мне нравились. Новые очки.

В последнюю фразу он вцепился клешнями.

— Изготовленные по новому рецепту или просто в новой оправе?

— Просто в новой оправе.

— Изготовленные по старому рецепту?

— Да.

— Кто выписал вам рецепт на очки?

— Доктор Кент. Из Филадельфии, я там живу.

— Вы можете сказать, где именно... То есть когда именно был выписан рецепт?

— Кажется, в последний раз мне выписывали рецепт в декабре восьмидесятого.

— То есть очки были выписаны и изготовлены в декабре восьмидесятого, это верно?

Мог ли он знать, что нащупал нить и тут же потерял? Рецепт возобновили за полгода до изнасилования. По-прежнему не понимая, куда он клонит, я решила идти за ним след в след. Он хотел загнать меня в лабиринт, откуда нет выхода. Я не собиралась сдаваться. У меня по жилам потекло то качество, которое отличало Тэсс, — решимость.

— Угу, — подтвердила я.

— Если я правильно понимаю, вы утверждаете, что в ходе борьбы у вас в какой-то момент слетели очки, это верно?

— Да.

— Дело было в темном месте, это верно?

— Да.

— Насколько темно, с вашей точки зрения, было в том месте?

— Не так уж темно. Света было достаточно, чтобы разглядеть черты лица и прочее. К тому же его лицо находилось почти вплотную к моему, а поскольку у меня близорукость, а не дальность зрения, вблизи я вижу хорошо.

Он повернулся боком и поднял глаза. У меня в жилах забился адреналин; я обвела глазами зал. Тишь да гладь. Для присутствующих все это было рутинной. Очередные предварительные слушания по делу об очередном изнасиловании. Ни шепотка.

— Если не ошибаюсь, вы заявили, что в какой-то момент этот человек вас поцеловал?

Липкий пот, неопрятные усики — но профессионал. Он метил в самую чувствительную точку. Те поцелуи терзают меня до сих пор. Да, я отвечала на поцелуи по принуждению насильника, но что из этого? Интимность этого дела мучительна. В толковых словарях надо бы исправить статью «насилие», чтобы приблизить ее к истине. Это ведь не просто «половое сношение с применением физического насилия»; изнасилование — это полное разрушение изнутри.

— Да, — сказала я.

— Говоря, что он вас целовал, вы имеете в виду, целовал в губы?

— Да.

— Поцелуи совершались стоя?

— Да.

— Какого роста был этот человек в сравнении с вами?

Странно, что через вопрос о поцелуях он решил подвести меня к вопросу о росте насильника.

— Примерно моего роста или на дюйм выше, — ответила я.

— Каков ваш рост, мисс Сиболд?

— Пять футов и пять с половиной дюймов.

— Вы утверждаете, что этот человек был примерно одного с вами роста или, возможно, на дюйм выше?

— Угу.

— В положении стоя он оказался примерно одного с вами роста, это верно?

— Угу.

— Примерно так, да?

— Да.

О моем зрении он выспрашивал совсем другим тоном. Теперь я не услышала и намека на уважительность. Не сумев раскрутить меня на полную катушку, он стал изображать брезгливое отвращение. В этом я почувствовала опасный подвох. Хотя в зале суда, среди служителей правопорядка мне, по всем понятиям, ничто не угрожало, я вдруг испугалась.

— Если не ошибаюсь, вы сегодня ответили, что данные вами в тот день показания характеризуют нападавшего как человека крепкого телосложения?

— Да.

— Рост ниже среднего, волосы короткие черные?

— Да.

— Помните ли вы, что при даче добровольных письменных показаний сообщили полиции его примерный вес: сто пятьдесят фунтов?

— Да.

— А если точнее?

— Я не специалист в области определения веса, — сказала я. — Мне трудно судить о соотношении мышечной массы и жира.

— Но вы помните, что сказали следователю: «сто пятьдесят фунтов»?

— Один офицер полиции, мужчина, приблизительно назвал мне свой вес, и я сказала: близко к тому.

— Вы утверждаете, что на ваше мнение повлияла подсказка офицера полиции?

— Нет, он это сказал для примера. На вид мне показалось — более или менее сходится.

— Исходя из данных, которые сообщил вам офицер полиции, а также из ваших личных наблюдений, считаете ли вы цифру в сто пятьдесят фунтов, зафиксированную в ваших показаниях от восьмого мая, вашей окончательной оценкой веса нападавшего?

— Да.

— Способно ли что-либо из услышанного вами в этом зале изменить ваше мнение?

— Нет.

У него открылось второе дыхание, как у мальчишки, уминающего последний кусок торта. Мистер Меджесто поймал кончик утраченной нити, только я не догадывалась который.

А я изрядно выдохлась. Как могла старалась держаться, но сил уже не оставалось. Надо было каким-то образом восстановиться.

— Если не ошибаюсь, вы утверждаете, что вам было нанесено несколько ударов в лицо?

— Да.

— И у вас лицо было залито кровью?

— Да.

— И у вас слетели очки?

Задним умом понимаю, что нужно было его срезать: «Ни одно из этих обстоятельств не лишило меня зрения».

— Да, — только и сказала я.

— Вы обращались за медицинской помощью по поводу телесных повреждений?

— Да.

— Когда именно?

— В ту же ночь, как только добралась до общежития, перед тем как ехать в полицейское управление — я сразу сообщила в полицию. На полицейском автомобиле меня отвезли в больницу имени Крауза Ирвинга, а там доставили в лабораторию и прописали лекарство для заживления ран на лице.

Не пасовать. Держаться. Излагать только факты.

— Удалось ли вам после нападения отыскать свои очки?

— Очки нашли полицейские...

Меджесто не дал мне договорить:

— Значит, вы ушли из парка без очков? Когда вы уходили, очков у вас не было?

— Не было.

— Припоминаете что-нибудь еще?

— Нет.

Он затыкал мне рот. В открытую поливал презрением.

— Можете вкратце описать, во что вы были одеты ночью пятого октября?

Поднявшись со скамьи, мистер Райан поправил:

— Восьмого мая.

— Восьмого числа мая месяца, — перефразировал по-своему Меджесто, — какая на вас была одежда?

— Джинсы фирмы «Кельвин Кляйн», голубая блуза рубашечного покроя, толстая шерстяная кофта цвета беж, мокасины и нижнее белье.

Гадостный вопрос. Я сразу поняла, что за этим последует.

— Кофта без застежки или на пуговицах спереди?

— На пуговицах спереди.

— Значит, вам не пришлось стягивать ее через голову? Это так?

— Да, так.

Я закипала. Ко мне вернулась уверенность, потому что моя одежда не могла спровоцировать изнасилование — ни с какой стороны.

— Если не ошибаюсь, вы показали, что нападавший попытался вас раздеть, но, не справившись, велел вам сделать это самостоятельно?

— Да, верно, у меня был ремешок. Стоя ко мне лицом, нападавший не смог справиться с пряжкой. Он сказал: «Давай сама», и мне пришлось подчиниться.

— Ремень был вставлен в ваши джинсы фирмы «Кельвин Кляйн»?

Это он произнес с издевкой, чем застал меня врасплох. Не брезговал никакими средствами.

— Да.

— Тот человек стоял к вам лицом?

— Да.

— И вы утверждаете, что он не смог справиться с пряжкой — очевидно, сложной конструкции, — на которую застегивался ремень?

— Угу.

— И вы расстегнули ее самостоятельно, по его приказу?

— Да.

Он выбрал этот момент, чтобы заговорить о чем-то более существенном. На меня посыпались вопросы о ноже насильника. На самом деле я видела этот нож только на полицейских фотоснимках с места преступления да еще в своем воображении. Я честно сказала Меджесто, что насильник словесно угрожал мне расправой и делал такие движения, как будто вот-вот выхватит оружие из заднего кармана, но ножа я не видела, потому что мне все время приходилось отбиваться.

— Правомерно ли сказать, что вы были чрезвычайно испуганы? — Меджесто стал продвигаться дальше.

— Да.

— В какой момент вы впервые почувствовали испуг?

— Как только услышала сзади шаги.

— У вас участился пульс?

— Видимо, да, участился.

— Вы это отчетливо помните?

— Нет, отчетливо не помню, чтобы у меня участился пульс.

— Помните ли вы, что вас охватил страх, что участилось и затруднилось дыхание?

— Что охватил страх — помню; наверно, присутствовали и какие-то физические симптомы, но не то чтобы я задыхалась.

— Помните ли вы что-нибудь еще помимо ощущения страха?

— Мое психическое состояние? — Поскольку именно это и подразумевалось, я решила выразиться прямо.

— Нет, — сказал он, — физическое. Может быть, вы помните, как у вас от страха засосало под ложечкой? Накатил озноб? Изменилась частота пульса, сбилось дыхание?

— Нет, таких конкретных проявлений не помню, разве что свой крик. Я все время повторяла насильнику, что меня сейчас вырвет: мама давала мне читать статьи, где сказано, что рвота способна оттолкнуть насильника.

— То есть это была уловка, имеющая целью отпугнуть того человека?

— Да.

— Вы узнали имя нападавшего?

— В смысле, когда узнала или...

— Вы узнали имя нападавшего?

— Нет, сама не узнавала.

Мне был не вполне ясен смысл. Для себя я решила, что вопрос относится к событиям мая.

— Встречались ли вы с этим человеком до мая тысяча девятьсот восемьдесят первого года?

— Нет.

— Встречались ли вы с этим человеком после мая тысяча девятьсот восемьдесят первого года?

— Нет.

— Ни разу?

— Ни разу.

— Когда вы увидели его после мая тысяча девятьсот восемьдесят первого года?

Я описала инцидент пятого октября. Уточнила, когда и где это было и как мне на глаза

попался — в том же месте и в то же время — рыжеволосый патрульный, который впоследствии оказался офицером Клэппером. В заключение я рассказала, как позвонила в полицию и приехала в Управление охраны общественного порядка, чтобы передать описание внешности насильника.

— Кому именно вы передали описание? — спросил он.

Мистер Райан запротестовал:

— Полагаю, это выходит за рамки первоначального опроса. Выяснение дополнительных сведений целесообразно отложить до основных слушаний.

Я понятия не имела, что это означает. Мистер Райан, мистер Меджесто и судья Андерсон посовещались между собой и обсудили показания, полученные до предварительных слушаний. Они пришли к единому мнению. Мистеру Меджесто было позволено задать вопросы касательно задержания его подзащитного. Но судья предупредил, чтобы он «не отклонялся», то есть не вдавался в детали опознания. Последние внесенные в протокол слова судьи были «Прошу поактивнее». Как сейчас помню утомление в его голосе. Судья, по всей видимости, был превыше всего озабочен тем, чтобы поскорее закруглиться и пойти обедать.

Не понимая сущности их решения и, если уж честно, даже не догадываясь, какую именно тему им приспичило обсуждать, я занервничала, но тут же попыталась обратить все свое внимание на мистера Меджесто. Ясно было одно: ему снова позволено идти напролом.

— После того как вы перешли через дорогу и направились в сторону «Хантингтон-холла», встречались ли вы с этим человеком?

— Нет.

— Вам были предъявлены какие-либо фотографии?

— Нет.

В то время я еще не знала, что в моем деле отсутствует протокол опознания, потому что фотографий Грегори Мэдисона в полиции не было.

— Вы участвовали в официальной процедуре опознания?

— Нет.

— Вы явились в полицейское управление и там произвели идентификацию?

— Да.

— Уже после того, как позвонили матери?

— Да.

— И после того, как вам сообщили, что по вашему делу есть задержанный?

— В тот вечер мне ничего не сообщили. Я узнала, кажется, только на этой неделе, в четверг утром — узнала от офицера Лоренца.

— Выходит, вы сами не знали, известно ли вам, задержан или нет тот человек, которого вы встретили пятого октября?

— Как я могла знать, если полицейские, которые его задержали...

— Отвечайте только «да» или «нет»: известно ли вам, что...

Когда он в очередной раз меня перебил, я вышла из себя.

— По их описанию, именно тот, кого они задержали...

— Отвечайте на вопрос: известно вам или нет?

— После задержания мне не пришлось его увидеть.

— Вам не пришлось его увидеть.

— Человек, которого я описала восьмого мая, и человек, которого я встретила пятого

октября, — одно и то же лицо; это тот, кто меня изнасиловал.

— Ваши показания сводятся к тому, что вы подозреваете человека, встреченного вами пятого октября...

— Я уверена, что человек, встреченный мною пятого октября, — это тот, кто совершил изнасилование.

— Человек, который, по вашим словам, совершил изнасилование, и есть тот самый человек, которого вы встретили пятого октября?

— Абсолютно верно.

— Но вам неизвестно, задержан ли этот человек?

— Ну, я же не участвовала в задержании — откуда мне знать?

— Вопрос был такой: вам неизвестно?

— Ладно, пусть будет так: мне неизвестно.

Что еще я могла сказать? Он доказал, и весьма убедительно, что я не состою на службе в полиции города Сиракьюс.

Мистер Меджесто повернулся к судье:

— Полагаю, на этом можно закончить.

Однако это было еще не все. Я по-прежнему стояла на свидетельском месте, пока судья выслушивал, а потом обсуждал с ним соображения насчет идентификации. Оказывается, первоначально целью Райана было доставить Мэдисона в суд. Отказ Мэдисона от дачи показаний оставил Райана практически ни с чем: восьмого мая было совершено изнасилование, и я указала на некоего парня, сочтя его насильником, — вот и все. Возникло замешательство. По мнению Райана, коль скоро Мэдисон отказался явиться в суд, его адвокат уже не имел права требовать опознания. Меджесто придерживался иной позиции.

— Дело передается на рассмотрение большого жюри, — объявил судья на последнем издыхании.

Следя за действиями Райана и Меджесто — оба закрывали свои кейсы, — я заключила, что пока могу быть свободна.

Мы с Тэсс пошли обедать. Заказали то, что едят на севере штата Нью-Йорк — жареную картошку под сыром и всякое такое. Расположившись за отгороженным столиком, мы вдыхали неистребимый запах кухонного жира... Тэсс не умолкала. Убивала время разговорами. Я озидала буйные ресторанные филодендроны, красовавшиеся на каждой разделительной стойке. На другое у меня не осталось сил. Подозреваю, у Тэсс вертелся на языке вопрос, которым задавалась я сама, перечитывая судебные протоколы. Где были мои родители?

Хочу кое-что сказать в их оправдание. Впрочем, они в этом не нуждаются. Тогда мне казалось, что, приняв самостоятельное решение вернуться в Сиракьюс, я взяла на себя ответственность за любые последствия, в том числе и за уличную встречу с насильником. А теперь я готова подсказать родителям множество других причин, которыми они могли бы оправдаться. Мама не выносила самолеты. Папа не мог прервать свой курс лекций. И так далее, и тому подобное. Но времени-то было достаточно. Мама вполне могла приехать на машине. Папа мог в порядке исключения отменить одну лекцию. Но у меня был колючий девятнадцатилетний характер. Я боялась, что они станут меня утешать; боялась, что дам волю чувствам, а значит, проявлю слабость.

Из ресторана я позвонила домой и сообщила маме о решении судьи. Она обрадовалась,

что рядом со мной Тэсс, поинтересовалась, когда будет большое жюри, и огорчилась, что придется участвовать в опознании — лишний раз стоять рядом с преступником. Ее весь день трясло — ждала моего звонка. Я была довольна, что у меня для нее хорошие вести, почти на пять баллов.

В университете все шло своим чередом. Я посещала пять предметов: два творческих семинара и три курса из числа обязательных. Обзорные лекции Тэсс. Иностранный язык. Античная литература в переводах.

На «античке» мухи дохли от скуки. Лектор говорил нараспев, из-за чего успевал сказать очень мало. Такая манера изложения да еще в сочетании с допотопными, засаленными учебниками каждый раз — через день по часу — нагоняла на нас сон. Но под монотонный лекторский речитатив я приспособилась читать. Катулл. Сафо. Аполлоний. И конечно, аристофановская «Лисистрата» — история о том, как взбунтовались женщины Афин и Спарты: жительницы этих враждующих городов-государств сговорились, что не станут выполнять супружеский долг до тех пор, пока их мужья не заключат мир. Аристофан написал свою пьесу в 411 году до нашей эры, но она блестяще ложится на перевод. Преподаватель упорно называл ее низкой комедией, но скрытая в ней идея — могущество женщин, действующих заодно, — была для меня чрезвычайно важна.

Через десять дней после предварительных слушаний я вернулась с занятий по итальянскому, на которых, можно сказать, числилась в отстающих. У меня не получалось произносить слова громко и отчетливо, как от нас требовали. Отсидеваясь на заднем ряду, я никак не могла усвоить спряжения. Когда меня вызывали, я просто пыталась слепить хоть что-нибудь, похожее на слово, но преподаватель отказывался понимать. Так вот, в тот день под дверь моей комнаты в «Хейвене» кто-то подсунул конверт. Это была повестка из прокуратуры. Меня вызывали на заседание большого жюри к четырнадцати часам четвертого ноября.

Мы с Лайлой договорились пройтись по Маршалл-стрит. Дожидаясь ее возвращения с занятий, я позвонила в управление районного прокурора. Мои интересы должна была представлять Гейл Юбельхоэр, но ее не оказалось на месте. Я попросила секретаршу несколько раз сказать по слогам эту фамилию. Не хотелось ее коверкать. У меня до сих пор сохранился листок бумаги с вариантами произношения: «Ю-бэль-хоэр или Ю-бель-хойер». Я потренировалась перед зеркалом, чтобы добиться естественности. «Здравствуйте, миз Ю-бэль-хоэр, с вами говорит Элис Сиболд, дело „Штат против Грегори Мэдисона“... «Здравствуйте, миз Ю-бель-хойер...». Пришлось помучиться. А итальянский задвинуть подальше.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Утром четвертого ноября за мной в общежитие «Хейвен-холл» заехала машина из полиции округа. Я увидела ее сквозь стеклянные стены вестибюля. Студенты уже сходили на завтрак в столовую, расположенную наверху, и теперь собирались на занятия.

Я была на ногах с пяти утра. Постаралась растянуть обычные гигиенические процедуры. Долго плескалась в душе на нижнем этаже. Нанесла на лицо увлажняющий крем, как год назад научила меня Мэри-Элис. Выбрала и погладила одежду, которую собиралась надеть. На меня попеременно накатывал то ледяной озноб, то горячий жар, обжигавший нутро. Я подозревала, что это, скорее всего, нервный приступ вроде тех, что мучили мою мать. И поклялась себе не поддаваться панике.

В дверях застекленного холла я столкнулась со следователем. Посмотрела на него в упор. Мы обменялись рукопожатием.

— Элис Сиболд, — представилась я.

— Вы пунктуальны.

— В такой день сложно проспать, — ответила я.

Я держалась непринужденно и жизнерадостно, всем своим видом внушая доверие. На мне была серая блузка и юбка в тон. На ногах — лодочки от Паппагалло.

Утром пришлось изрядно подергаться: не могла найти колготок телесного цвета. У меня было по паре черных и красных, но оба варианта странно смотрелись бы на скромной девушке-студентке, готовой предстать перед судом присяжных. В конце концов пришлось одолжить бежевые колготки у куратора общежития.

Открыв дверь полицейской машины с гербом города Онондаги, я расположилась на переднем сиденье, рядом со следователем. Мы немного поболтали об университетской жизни. Он рассказывал о спортивных командах, чьи названия были для меня пустым звуком, и объяснял, что стадион «Кэрриер-Доум», построенный меньше года назад, должен принести округу солидную прибыль. Я кивала, старалась поддерживать беседу, однако все мысли были о том, как я выгляжу. Как говорю. Как двигаюсь.

В тот день сопровождать меня вызвалась Триша из кризисного центра. До начала процедуры опознания нам пришлось битый час торчать в следственном изоляторе городского полицейского управления. На этот раз лифт миновал уже знакомый мне этаж, где один вид поста охраны и офицеров с кружками кофе внушал спокойствие. В коридорах, по которым следователь вел нас с Тришей, былолюдно. Полицейские и потерпевшие, адвокаты и преступники. Мимо нас провели парня в наручниках, и конвоир на ходу подтрунивал над сидевшим в дальнем углу кабинета сослуживцем по поводу какой-то недавней пьянки. В коридоре на пластиковом стуле примостилась латиноамериканка с сумочкой в руках. Она уставилась в пол, нервно теребя измятую бумажную салфетку.

Следователь привел нас в просторное помещение, где письменные столы были отделены друг от друга легкими перегородками высотой по плечо. Почти за всеми столами сидели люди — служители правопорядка.

Все были при деле: одни забежали сюда, чтобы составить рапорт, другие — чтобы наскоро допросить свидетеля или сделать телефонный звонок, прежде чем снова отправиться на патрулирование или, если повезет, наконец-то пойти домой.

Нас попросили присесть и подождать. Мол, возникла какая-то неувязка с опознанием.

Шепнули, что загвоздка вышла из-за адвоката другой стороны. Я еще не была знакома с Юбельхоэр, заместительницей окружного прокурора. Мне не терпелось ее увидеть. Ведь это была женщина, что для меня играло важную роль, если учесть полностью мужское окружение. Однако Юбельхоэр занималась тем, что улаживала возникшую неувязку.

Я боялась, что Мэдисон меня увидит.

— Он при всем желании не сможет вас увидеть, — сказал следователь. — Его проведут под конвоем и поместят за односторонним зеркалом. Ему ничего не будет видно.

Мы с Тришей сидели в приемной. Она не умела поддерживать беседу так, как это выходило у Тэсс, но все же проявляла ко мне внимание. Расспрашивала о семье, об учебе, сказала, что опознание — это «одна из самых тягостных формальностей в любом деле об изнасиловании», и несколько раз спросила, не хочу ли я пить.

Сейчас мне кажется, что от Триши и других сотрудниц кризисного центра меня оттолкнула их привычка все обобщать. Я не хотела быть одной из многих, не хотела, чтобы меня с кем-то сравнивали. Это как бы умаляло мою волю к выживанию. Триша стала исподволь готовить меня к неудаче, объясняя, что даже если у меня не получится опознать насильника, ничего страшного не произойдет. Но я не желала слушать ее речи. Учитывая не внушающую большого оптимизма статистику арестов, судебных процессов и даже полной реабилитации потерпевших, я не видела иного выбора, кроме как игнорировать эти проценты. Мне требовалось хоть что-нибудь ободряющее: например, чтобы от прокуратуры на процессе выступала женщина. Меня не волновало, что количество дел об изнасилованиях, доведенных до суда, за текущий календарный год в Сиракьюсе равно нулю.

— О боже! — внезапно воскликнула Триша.

— Что такое? — забеспокоилась я, но оборачиваться не стала.

— Закрой лицо!

Положение было тупиковое. Согнувшись пополам, я уткнулась головой в подол юбки. Прижала ткань к лицу, но предпочла не закрывать глаза.

Триша вскочила и замахала руками.

— Уберите их отсюда, — повторяла она. — Уберите их.

Кто-то из полицейских торопливо пробормотал: «Пардон».

Через пару секунд я подняла голову. Все уже ушли. Оказывается, получилась какая-то нестыковка с конвоированием участников опознания в специально отведенный зал. Мне стало трудно дышать. Неужели он меня заметил? Я была уверена: если да, то мне не жить. Он ни за что не простит мне обмана — что, мол, я буду помалкивать, что постыжусь об этом говорить.

Я подняла голову.

Передо мной стояла Гейл Юбельхоэр. Она протянула мне руку. Мы обменялись рукопожатием.

— Досадная накладка, — произнесла она. — Но, по-моему, их вовремя успели вывести.

Мне в глаза бросились ее черные, коротко стриженные волосы и привлекательная улыбка. Она оказалась рослой, примерно пяти футов и десяти дюймов, и крепко сбитой. Не какая-нибудь скелетина, а женщина в теле, главное — женщина! Глаза умные, с живым блеском. Я тут же связала все воедино. Гейл была в точности такой, какой я мечтала стать в самостоятельной жизни. Она пришла делать свою работу. Ей хотелось того же, чего и мне: победить.

Гейл объяснила, что скоро начнется процедура опознания, а после мы поговорим о суде

присяжных, и она расскажет мне, чего следует ожидать, как будет выглядеть помещение, сколько там будет народу и какого рода вопросы могут быть заданы — вопросы, предупредила она, могут оказаться для меня нелегкими, но отвечать я обязана.

— Вы готовы? — спросила она.

— Готова, — ответила я.

Следом за Гейл мы с Тришей подошли к открытой двери в смотровую часть комнаты. В помещении было темно. Там находились какие-то люди. Одного я узнала: сержант Лоренц. Мы с ним не виделись со дня преступления. Он мне кивнул. Еще там были два человека в форме и с ними третий — адвокат ответчика Пэкетт.

— Не вижу оснований для ее присутствия, — заявил он, остановившись взглядом на Трише.

— Я представляю Кризисный центр помощи жертвам насилия, — объявила Триша.

— Ну и что? Тут и без вас не протолкнуться, — отрезал он.

Адвокат был невысок ростом, бледен, с намечающейся лысиной. Мне предстояло общаться с ним на протяжении всего процесса.

— Так принято, — вмешался сержант Лоренц.

— Насколько я знаю, здесь она не имеет официального статуса. Для ее присутствия нет никаких юридических оснований.

Спор продолжался. В него втянулась и Гейл. Сержант Лоренц твердил, что на процессы по аналогичным делам стало уже традицией приглашать сотрудниц кризисного центра.

— Рядом с ней и так есть женщина — заместитель прокурора, — отреагировал Пэкетт. — Этого достаточно. Я не позволю своему клиенту участвовать в опознании, пока эту особу не выведут.

Отойдя к стеклянной стене, Гейл посоветовалась с Лоренцем, а затем вернулась к нам с Тришей.

— Он не уступит, — сказала она. — Мы и без того затягиваем опознание, а к часу мне уже надо быть в суде.

— Все нормально, — отозвалась я. — Ничего страшного.

Я сказала неправду. Это был удар под вздох.

— Вы уверены в себе, Элис? — переспросила она. — У вас должна быть полная уверенность. Опознание можно перенести.

— Нет уж, — сказала я. — Все в порядке. Я готова.

Тришу отпустили.

Мне разъяснили процедуру. Сказали, что в помещение за зеркальной стеной введут пятерых мужчин, но предварительно там зажжется свет.

— Поскольку с той стороны будет светло, а здесь темно, они не смогут тебя увидеть, — добавил Лоренц.

Он напомнил, что спешить не следует. Что по моей просьбе он сможет приказать участникам опознания повернуться влево-вправо или заговорить. И напоследок еще раз посоветовал не торопиться.

— Когда сомнений не останется, — сказал он, — попрошу подойти вот туда и четко пометить крестиком соответствующую графу в протоколе опознания. Это понятно?

— Понятно, — пробормотала я.

— Может, у вас есть какие-то вопросы? — вмешалась Гейл.

— Она же сказала, что ей все понятно, — процедил Пэкетт.

Я снова почувствовала себя ребенком. Взрослые поругались, и только мое хорошее поведение могло сгладить конфликт. Повисшее в воздухе напряжение не давало мне дышать полной грудью, да еще сердце колотилось как бешеное. Теперь я могла бы описать Меджесто свои симптомы наступления паники. Меня обуял смертельный ужас. Однако я ведь уже заявила о своей готовности. Пути назад не было.

Сама обстановка внушала мне страх. Мой взгляд был прикован к одностороннему зеркалу. Если верить телесериалам, по ту сторону всегда находится просторное помещение: у дальней стены — помост, а сбоку дверь, откуда входят участники опознания, чтобы подняться на две-три ступеньки и занять свои места. Жертву и преступника всегда разделяет значительное расстояние, и это успокаивает.

Оказалось, полицейские сериалы имели мало общего с действительностью. Зеркало занимало всю стену целиком. С другой стороны оставался проход примерно в ширину мужских плеч, так что участники опознания, повернувшись лицом, должны были оказаться почти вплотную к зеркалу, на расстоянии вытянутой руки; получалось, что насильник будет стоять прямо передо мной.

Лоренц отдал приказ в микрофон, и по другую сторону зеркала вспыхнул свет. Пятеро чернокожих мужчин в почти одинаковых голубых рубашках и синих шортах вошли в помещение и заняли свои места.

— Можешь подойти поближе, Элис, — сказал Лоренц.

— Точно не первый, не второй и не третий, — выдавила я.

— Спешить не надо, — напомнила Юбельхоэр. — Подойдите ближе и внимательно рассмотрите каждого.

— Можно заставить их повернуться влево или вправо, — подсказал Лоренц.

Пэкетт хранил молчание.

Я не стала спорить. Подошла поближе, хотя создавалось впечатление, что они и так стоят у меня перед носом.

— Пусть повернутся, — попросила я.

По команде все встали перед нами в профиль. Один за другим. Когда они вернулись в прежнее положение, я отшатнулась.

— Они меня видят? — спросила я.

— Если что-то и видят, то лишь движение за стеклом, — сказал Лоренц, — но тебя разглядеть не могут, будь спокойна. Оттуда не видно, кто здесь находится.

Я приняла это как данность. Не стала говорить вслух: «Кто же еще может здесь находиться?» Тогда, в тоннеле, рядом не было никого. Я постояла перед номером один. На вид он был слишком молод. Перешла ко второму. Он ничем не напоминал подозреваемого. Не глядя, я уже знала, что опасность исходила от субъекта, стоящего в шеренге предпоследним, однако помедлила перед третьим номером, чтобы убедиться в своей правоте. Нет, этот слишком длинный, да и пропорции не те. Я замерла перед номером четыре. Он уставился в пол, а я тем временем разглядывала его плечи. Широкие, мощные, как у того, кто надо мной надругался. Форма головы и шеи — точь-в-точь как у насильника. Телосложение, нос, губы — все похоже. Не отводя от него глаз, я порывисто скрестила руки на груди.

— Элис, вам плохо? — спросил чей-то голос.

Пэкетт запротестовал.

Очевидно, где-то я промахнулась.

Перешла к номеру пять. Рост, фигура — все сходится. Он смотрел на меня в упор, сверлил глазами, будто точно знал мое местонахождение. Знал, кто я. Его взгляд говорил: не разделяй нас стена, он окликнул бы меня по имени, а потом убил. Его зрачки следили за мной, подавляя волю. Собравшись с духом, я обернулась и произнесла:

— Я готова.

— Точно? — переспросил Лоренц.

— Она же сказала, что готова, — вмешался Пэккетт.

Я приблизилась к планшету, который держал для меня Лоренц. Все наблюдали за мной — Гейл, Пэккетт, Лоренц. Я поставила крестик в графе под номером пять. Сделав неверный выбор.

Меня отпустили. В коридоре я увидела Тришу.

— Ну как?

— Четвертый и пятый — настоящие двойники, — пожаловалась я, прежде чем приставленный ко мне полицейский увел меня в конференц-зал.

— Присмотри, чтобы она ни с кем не общалась, — заглянув в дверь, укоризненно напомнил Лоренц, да только это правило уже было нарушено.

Оказавшись в конференц-зале, я попыталась найти во взгляде полицейского подтверждение тому, что не ошиблась с выбором. Однако его лицо ничего не выражало. Я почувствовала, как к горлу подкатывает волна тошноты, и стала мерить шагами пространство между столом переговоров и рядом стульев у стены. В горле стоял комок. В эти минуты я окончательно уверилась, что ткнула пальцем в небо. Я твердила себе, что действовала второпях и пренебрегла возможностью как следует разглядеть тех двоих. Так хотелось скорее покончить с этой процедурой, что я не успела сосредоточиться. С самого детства родители меня ругали: суетишься, торопишься, не хочешь подумать.

Дверь открылась, и в зал вошел удрученный Лоренц. Я успела заметить стоящую в коридоре Гейл. Он закрыл за собой дверь.

— На самом деле это был четвертый? — спросила я его.

Лоренц, дюжий, плотный человек, подошел бы на роль отца семейства в каком-нибудь сериале, только вид у него был более мужественный, с чертами типичного жителя северо-востока. У меня сразу возникло чувство, что он разочарован. Ему даже не потребовалось ничего говорить. Я выбрала не того. На самом деле это был номер четыре.

— Уж больно тебе не терпелось оттуда ноги унести, — уклончиво сказал он.

— Это был четвертый.

— Ничего не могу сказать, — ответил он. — Юбельхоэр требует письменного отчета. Просит тебя в подробностях изложить, как происходило опознание. Чтобы стало ясно, почему ты выбрала именно пятого.

— А где она?

У меня вдруг сдали нервы. Я внутренне сжалась. Мне не удалось оправдать их надежды, и это был полный крах. Теперь Юбельхоэр займется другими делами и будет помогать более разумным потерпевшим; у нее не так много времени, чтобы тратить его на какую-то бестолочь.

— Подозреваемый согласился представить образцы своих лобковых волос, — сказал Лоренц, не сдержав ухмылку. — Зампрокурора пошла в мужской туалет — решила проконтролировать взятие образцов.

— С чего это он стал таким покладистым? — спросила я.

— У него имеются основания полагать, что волосы, обнаруженные у тебя на теле, принадлежат не ему.

— На сто процентов они принадлежат ему, — сказала я. — Кто-кто, а он должен это знать.

— Его адвокат взвесил все «за» и «против» и дал добро. Им только на руку сотрудничество со следствием. А нам с тобой надо бумажку составить. Никуда не отлучайся.

Он ушел, чтобы принести бумагу для машинописи и проследить за какими-то далекими от моего понимания делами. Полицейский в форме оставил меня в зале одну.

— Тут вы в безопасности, — сказал он.

За это время картина для меня прояснилась. Я допустила ошибку при опознании. Сразу вслед за этим Пэккетт согласился, чтобы клиент добровольно представил образцы лобковых волос. Как говорила мне Юбельхоэр, противная сторона делает ставку на ошибочную идентификацию. Деморализованная белая девушка увидела на улице чернокожего. Тот стал с ней заигрывать, и она мысленно связала это с изнасилованием. А в результате страдает ни в чем не повинный паренек. О том же свидетельствует и официальное опознание.

Я присела к столу. Мысленно свела все концы воедино. Обдумала свои ошибки. Со страху я выбрала человека, который пугал меня больше остальных, потому что сверлил взглядом. Я почувствовала — слишком поздно, — что меня обвели вокруг пальца.

Лоренц мог вернуться с минуты на минуту. Мне было необходимо перестроить свою линию поведения.

Вернувшись с листами чистой бумаги, Лоренц с усмешкой рассказал, как у Мэдисона пинцетом выдергивали лобковые волосы. Сержант старался меня приободрить.

Мы приступили к составлению отчета. В нем было указано, что я вошла в помещение в 11.05 и вышла в 11.11. Я с готовностью изложила причины, по которым исключила мужчин, занимавших места под номерами один, два и три. Сравнивая номера четыре и пять, я отметила, что они были очень похожи, а лицо номера четыре показалось мне «чуть более плоским и широким», чем у подозреваемого. Кроме того, четвертый все время смотрел себе под ноги, и я выбрала пятого, который смотрел прямо на меня. В ходе опознания, подчеркнула я, у меня было ощущение спешки, а требование адвоката обвиняемого выдворить представительницу кризисного центра запугало меня окончательно. Под конец я заявила, что так и не получила возможности рассмотреть глаза номера четыре, и еще раз повторила, что выбрала пятого, поскольку он смотрел на меня в упор.

В кабинете воцарилась тишина, если не считать судорожной дроби машинки, на которой печатал Лоренц.

— Элис, — начал он, — вынужден сообщить, что ты не сумела опознать подозреваемого.

Он так и не сказал, который из них является подозреваемым. Не имел права. Но я-то знала.

Под текстом отчета он сделал пометку, что проинформировал меня о результатах опознания, а я добавила официальное заявление, что, по моему мнению, участники опознания под номерами четыре и пять смотрелись практически одинаково.

Тут вошла Юбельхоэр. С ней были и другие. Полицейские, а теперь и Триция. Юбельхоэр была в гневе, но все равно улыбалась.

— Ну вот, взяли у этого подонка волосы для экспертизы, — сообщила она.

— Детектив Лоренц говорит, я выбрала не того, — начала я.

— По ее мнению, это четвертый, — уточнил Лоренц.

Они переглянулись. Гейл повернулась ко мне.

— Конечно не того, — сказала она. — Они с адвокатом на славу потрудились, чтобы не оставить вам ни единого шанса.

— Гейл, — предостерегающе произнес Лоренц.

— Она имеет право знать. Да она и так все понимает, — оборвала Гейл, глядя на него.

Он считал, что меня следует щадить; она считала, что мне следует знать правду.

— Элис, процедура опознания задержалась из-за того, что Мэдисон настоял на присутствии своего приятеля, чтобы поставить того рядом с собой. Нам пришлось посылать за ним машину в тюрьму. Они отказывались продолжать, пока он не появится.

— Ничего не понимаю, — опешила я. — Ему разрешили стоять рядом с приятелем?

— Да, у обвиняемого есть такое право, — подтвердила Гейл. — Бывают ситуации, когда это оправдано. Если подозреваемый считает, что слишком выделяется среди остальных участников опознания, он может сам подыскать человека, который будет стоять рядом с ним.

— Мы можем сообщить об этом суду?

Я начала понимать, что подвох крылся именно в этом. Возможно, у меня еще оставался шанс.

— Нет, — ответила Гейл, — это будет нарушением прав обвиняемого. Вам просто расставили ловушку. Он использует этого своего приятеля, а приятель использует его, как делалось уже не раз. Они похожи как две капли воды.

Я ловила каждое ее слово. Юбельхоэр повидала всякое, но осталась равнодушной и сейчас клокотала от ярости.

— А этот взгляд?

— Его дружок делал все, чтобы вас запугать. Ему было видно, когда вы появились за зеркальным экраном, и он начал давить вам на психику. А подозреваемый в это время стоял и смотрел под ноги, будто он вообще ни при чем. Погулять вышел и заблудился.

— И мы не сможем использовать это в суде?

— Нет. Перед началом опознания я внесла официальный протест, который будет приобщен к протоколу, однако это всего лишь формальность. Вот если он сам проболтается, что действовал в сговоре, тогда другое дело.

Мне виделась в этом вопиющая несправедливость.

— У обвиняемого всегда больше прав, — подчеркнула Гейл.

Я жаждала фактов. В эти минуты, когда любая моя ошибка могла стоить чересчур дорого, факты были нужны как воздух.

— Именно поэтому закон и пользуется таким термином, как «обоснованное сомнение». Задача его адвоката — создать почву для такого сомнения. Опознание представляло для них немалый риск. Мы опасались таких уловок, но в архиве не оказалось нужных фотографий, а от выступления на предварительных слушаниях обвиняемый отказался. У нас не было выбора. Отменить опознание невозможно.

— А зачем брать волосы для экспертизы?

— Если нам повезет, они совпадут с образцами по всем семнадцати возможным пунктам. Однако даже волосы, взятые с одной головы, могут различаться по ряду признаков. Пэкерт решил, что игра стоит свеч. Возможно, он готовит версию о том, как в тот вечер мы лишились девственности по доброй воле и тут же пожалели о содеянном, а теперь готовы

обвинить первого встречного с черной кожей. Он пустится во все тяжкие, чтобы вас замарать. Но мы не позволим этого сделать.

— И что теперь?

— Большое жури.

Я окончательно пала духом. Вторая стадия этого испытания была назначена на два часа, а мне никак не удавалось собраться с мыслями. Помню, я решила, по крайней мере, с пользой провести оставшееся время, чтобы вычеркнуть из памяти утреннюю неудачу и не обращать внимания на ту грязь, которую намеревался вылить на меня адвокат Мэдисона. Звонить матери я не стала. Хороших новостей у меня не было, если не считать того, что со мной оставалась Юбельхоэр. Я представила, как она руководит взятием лобковых волосков.

К четырнадцати часам меня привели в комнату ожидания рядом с залом, где проходили заседания большого жури. Там уже поджидала Гейл. У нас даже не оказалось времени переговорить, как она того хотела. В обеденный перерыв она занималась составлением вопросов, и, хотя меня по графику назначили на два часа, передо мной должны были выступать еще какие-то свидетели. Триша, которую я клятвенно заверила, что справлюсь, ушла после опознания.

В ожидании своей очереди я старалась думать о завтрашней контрольной по итальянскому. Вытащила из рюкзака листок и стала изучать предложения-образцы. Поболтала о трудностях иностранного языка с тем полицейским, который подвозил меня утром. Было бы здорово, окажись рядом Тэсс. Я ужасно боялась оттолкнуть ее и Тоби своими проблемами и потому готовилась к их занятиям так же тщательно, как и ко всему, что касалось моего дела.

В коридоре началось какое-то движение. Ко мне шла Гейл. Она быстро объяснила, что будет задавать мне вопросы о событиях того вечера, после чего плавно перейдет к выяснению моей способности опознать насильника, а также патрульного Клэппера. Ей хотелось, чтобы я четко заявила о том, что колебалась в выборе между четвертым и пятым, и объяснила причину. Она сказала, что каждый ответ я могу обдумывать без всякой спешки, сколько душе угодно.

— Это будет проще, чем предварительные слушания. Верьте мне, Элис. У вас может сложиться впечатление, будто я говорю слишком сухо, но помните: мы здесь для того, чтобы добиться права выдвинуть обвинение, и до какой-то степени... ну вот, большое жури уже собралось, все двадцать пять присяжных на месте; представление начинается.

Она ушла. Через несколько минут меня провели в зал. Как и в первый раз, я смешалась. Место свидетеля располагалось в самом низу. Вверх от него амфитеатром расходились ступени, на которых были закреплены ряды вращающихся оранжевых кресел. Ступени расширялись, образуя дугу, и увеличивались по мере подъема. Там было достаточно мест для всего состава суда, а также для запасных, которые сидели на всех заседаниях, не имея права голоса.

В результате такого расположения мест все взгляды устремлялись на свидетельское место. Ни стола защиты, ни стола обвинения в зале не было.

Гейл делала все как по нотам. Она прекрасно владела судебной риторикой. Устанавливала зрительный контакт с присяжными, умело жестикулировала и выделяла голосом те ключевые слова или фразы, которые хотела подчеркнуть. Ее манера задавать вопросы не раздражала ни меня, ни присяжных. Она предупреждала меня, что дела об

изнасилованиях никогда не бывают легкими. Довольно скоро я в этом убедилась.

Когда она спросила, где он ко мне прикасался, и мне пришлось ответить, что он засовывал кулак мне во влагалище, большинство присяжных опустили глаза или стали смотреть в сторону. Однако самый волнующий момент настал чуть позже. Юбельхоэр стала задавать вопросы по поводу кровотечения: сколько было крови, почему так много? Она спросила меня, была ли я девственницей. Я ответила: «Да».

Все содрогнулись. Люди преисполнились сочувствием. Пока мне задавали дальнейшие вопросы, некоторые присяжные, причем не только женщины, глотали слезы. Я осознала, что моя потеря сегодня обернулась преимуществом. То, что я была девственницей, показывало меня в выгодном свете, отчего преступление выглядело еще более зверским.

Впрочем, я не добивалась сочувствия. Я добивалась только одного: победы. Однако реакция присяжных заставила меня взвешивать каждое слово, а не просто прикидывать, насколько тот или иной факт будет склонять их «за» или «против». Слезы одного мужчины во втором ряду меня просто сразили. Я и сама расплакалась. Это, кстати, тоже показывало меня в выгодном свете.

Рисунок, который я набросала вечером пятого октября, приобщили к уликам и поместили идентификационным номером. Юбельхоэр задавала конкретные вопросы о том, помогал ли мне кто-либо в составлении наброска, мой ли это почерк и оказывалось ли на меня давление, когда я рисовала.

Потом она перешла к опознанию. Теперь допрос приобрел более энергичный характер. Как хирург, зондирующий разрез, она высвечивала каждый нюанс тех пяти минут, что я провела в комнате с зеркальным экраном. Наконец она спросила, подтверждаю ли я правильность опознания.

Я ответила «нет».

Тогда она спросила, почему я выбрала номер пять. Я подробно описала его рост и телосложение. Рассказала, как он буравил меня взглядом.

Наконец пришел черед присяжных задавать вопросы.

Вопрос первый: *Когда вы увидели полицейского на Маршалл-стрит, почему вы тут же не обратились к нему?*

Вопрос второй: *Вы произвели опознание; уверены ли вы, что это был именно тот человек?*

Вопрос третий: *Элис, почему вы в поздний час пошли через парк в одиночку? У вас что, есть привычка гулять по ночам?*

Вопрос четвертый: *Неужели никто вас не предупредил, как опасно девушке бродить одной по парку?*

Вопрос пятый: *Разве вы не знали, что через парк не рекомендуется ходить после половины десятого вечера? Неужели вам это не известно?*

Вопрос шестой: *Могли бы вы с полной уверенностью исключить номер четыре? Он хоть раз посмотрел на вас?*

Я терпеливо давала ответы. На вопросы об опознании отвечала без запинки, ничего не утаивая. Однако вопросы о том, что я делала в парке и почему не подошла к патрульному Клэпперу, ввергли меня в ступор. Они ничего не понимают, думала я. Тем не менее, как сказала бы Гейл, представление продолжалось.

В телесериалах и в кино адвокат перед началом допроса наставляет потерпевшего: «Говорите правду — вот и все». Но тут я дошла своим умом, что для успеха дела одной

правды недостаточно. Поэтому я сказала присяжным, что сделала непростительную глупость, пойдя через парк. Добавила, что собираюсь предостеречь однокурсниц — пусть им это станет уроком. И я выглядела такой правильной, такой совестливой, что вполне могла рассчитывать на признание ими моей невиновности.

В тот день мои чувства обострились до предела. Что ж, раз Мэдисон затребовал к себе дружка и придумал игру в гляделки, это ему еще аукнется. Я-то вся как на ладони. До надругательства оставалась непорочной. Он в двух местах прорвал мою девственную плеву. Врачи это подтвердят. А я примерная девушка и знаю, как себя вести, как одеваться, как разговаривать. Вечером, после свидетельства перед большим жюри, запершись у себя в комнате, я обзывала Мэдисона ублюдкой и в ярости колотила подушку и постель. Я клялась, что страшно отомщу — кто бы ожидал такой кровавой мести от девятнадцатилетней студентки? Однако во время допроса я только благодарила присяжных. Пускала в ход весь арсенал: притворялась, не спорила, улыбалась нашей фамильной улыбкой. Выходя из зала суда, я сказала себе, что сыграла лучшую роль в своей жизни. Теперь ему не подавить меня грубой силой, а значит, у меня есть шанс.

Я вышла в вестибюль, чтобы присесть. Там ждал детектив Лоренц. Один его глаз закрывала черная повязка.

— Что случилось? — в ужасе спросила я.

— Погнались за очередным злодеем, а он взял да и сбежал. Вот получил от него палкой в глаз. У тебя-то как дела?

— Да вроде нормально.

— Послушай... — начал он и стал неловко извиняться за свое неподобающее обращение со мной тогда, в мае. — У нас заявлений об изнасиловании — море, — сказал он. — Большинство из них даже к присяжным не попадает. Буду за тебя болеть.

Я уверила его, что он всегда обращался со мной замечательно и все его сослуживцы тоже. Это была чистая правда.

Через пятнадцать лет, собирая материал для этой книги, в его рапортах я наткнулась на следующие записи.

От 8 мая 1981 года: *«После беседы с потерпевшей складывается мнение, что изложенные ею факты не полностью соответствуют действительности».*

Тем же числом датирован рапорт, составленный в тот же день, после допроса Кена Чайлдса: *«Чайлдс называет их отношения „чисто дружескими“. Продолжаю считать, что нападению, как его описывает потерпевшая, сопутствовали смягчающие обстоятельства, и полагаю целесообразным дело закрыть».*

Однако после встречи с Юбельхоэр тринадцатого октября 1981 года появляется такая запись: *«Следует отметить, что во время первого допроса, проведенного 8 мая 1981 г. около 08.00, потерпевшая не полностью ориентировалась в обстановке, не могла сосредоточиться и постоянно впадала в сон. В настоящее время могу утверждать, что потерпевшая находилась в состоянии сильного нервного истощения, проведя сутки без сна, чем и объяснялось ее поведение во время допроса...»*

Что касается Лоренца, непорочные девушки не входили в его картину мира. Он скептически воспринял многое из того, о чем я рассказала. Позднее, когда лабораторные исследования подтвердили правдивость моих слов, он проникся ко мне уважением. Очевидно, в некотором смысле он чувствовал за собой вину. Как-никак, именно в его мире

со мной случился этот кошмар. В мире насильственных преступлений против личности.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Мария Флорес из семинарской группы Тэсс выпала из окна. Именно так и сообщил об этом университетский листок «Ежедневный апельсин». Газета привела ее имя и сообщила, что это был несчастный случай.

Когда мы собрались в аудитории английского отделения, выяснилось, что лишь один или двое студентов уже видели эту заметку. Я еще не видела. По рассказам, в газете говорилось, что Флорес, хотя и получила серьезные травмы, чудесным образом осталась в живых и находится в больнице.

Тэсс пришла с опозданием. Когда она появилась, все притихли. Сев во главе круглого стола, она попыталась начать занятие. У нее был расстроенный вид.

— Вы слышали, что с Марией? — спросил один из студентов.

Тэсс повесила голову.

— Да, — сказала она. — Это ужасно.

— Как она? Жива?

— Мы с ней только что говорили по телефону, — ответила Тэсс. — Завтра пойду ее навестить. Да, с этим тяжело смириться. Я имею в виду поэтическое воздействие.

Мы не совсем поняли. Какая связь между этим несчастным случаем и поэтическим воздействием?

— О ней написали в газете, — не преминул сообщить один из студентов.

Тэсс пронзила его взглядом:

— Имя указано?

— А в чем дело, Тэсс? — спросил кто-то из студентов.

Ответ на наши вопросы поступил на следующий день, когда очень похожая заметка назвала происшествие попыткой самоубийства. Еще одно отличие состояло в том, что имя на этот раз было опущено. Но не надо быть гением, чтобы сложить два и два.

Тэсс сказала, что Марии пойдет на пользу, если я схожу ее проведать.

— Сильное у вас получилось стихотворение, — добавила она, так и не сказав, что еще ей известно.

Я сходила в больницу. Но еще до этого Мария совершила вторую неудачную попытку самоубийства. Она попыталась покончить с собой так: обрезала электрический шнур рядом с кроватью, распустила его на металлические жгуты и перетянула себе запястья. И это при том, что у нее была частично парализована левая сторона. Но ее застучала медсестра, и теперь руки Марии были пристегнуты к кровати ремнями.

Она лежала в больнице имени Крауза Ирвинга. Одна из медсестер проводила меня в палату. Вокруг лежавшей без движения Марии стояли ее братья и отец. Я помахала ей с порога, а потом за руку поздоровалась с мужчинами. Представившись, объяснила, что занимаюсь с ней вместе в поэтическом семинаре, но никто на это не отреагировал. Такую безучастность я приписала их переживаниям за сестру и дочь, а также неудовольствию по поводу визита посетительницы, непонятно чем связанной с бедняжкой Марией. Они вышли в коридор.

— Спасибо, что пришла, — прошептала Мария и взяла меня за руку.

Мы с ней фактически не знали друг друга: встречались лишь на занятиях у Тэсс; кроме того, я чуть ли не до этой минуты испытывала некоторую досаду оттого, что она ушла с

обсуждения моего стихотворения.

— Посидишь со мной? — спросила она.

— Конечно.

— Это твоё стихотворение, — вслед за тем сказала она. — Оно меня как ударило.

Я села рядом, и Мария шепотом поведала горестную историю. Мужчина и парни, только что вышедшие из палаты, не один год насильовали её в детстве.

— Потом надругательство прекратилось, — сказала Мария. — Братья повзрослели и поняли, какая это мерзость...

— Ой, Мария, — вырвалось у меня. — Я не хотела...

— Перестань. Это к лучшему. Нужно смотреть правде в глаза.

— А матери ты рассказала?

— Она и слышать об этом не желает. Пообещала не говорить отцу, если я буду помалкивать. Мать со мной не разговаривает.

Я рассмотрела все открытки с пожеланиями выздоровления, висевшие над больничной койкой. Она была куратором общежития; все её подопечные и подруги прислали ей открытки. Меня поразило нечто очевидное: выбросившись в окно и оставшись в живых, она попала в полную зависимость все от той же родни, которая теперь обеспечивала уход.

— Ты рассказала об этом Тэсс?

Лицо её осветилось улыбкой.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

— Тэсс — просто чудо.

— Это верно.

— В твоих стихах передано все, что я долгие годы подавляла в себе. Потому что боялась прочувствовать.

— Это хорошо? — спросила я.

— Посмотрим, — ответила она со слабой улыбкой.

Мария в конце концов поправилась и вернулась в университет. На какое-то время она прервала отношения с родными.

Но в тот день мы шутили: Мария сказала, что в качестве комментария к моему стихотворению просто выпрыгнула из окна, так что Тэсс придется зачесть ей это как выступление на семинаре. Потом заговорила я. Потому, что ей это было нужно, и потому, что тогда, рядом с ней, я была в состоянии говорить. Я рассказала ей о присяжных, об опознании и о Гейл.

— Тебе повезло, — сказала она. — Я на такое не способна. Хочу, чтобы ты шла до конца.

Мы все ещё держались за руки. Каждый миг там, в больничной палате, был драгоценен для нас обеих.

В конце концов я подняла глаза и увидела её отца, стоящего в дверях. С кровати, на которой лежала Мария, его не было видно. Но по моему взгляду она угадала его присутствие.

Он не двигался ни туда ни сюда. Выжидал, когда же я встану и уйду. Его нетерпение токами плыло в мою сторону. Он не знал в точности, о чем мы вели разговор, но явно заподозрил неладное.

К шестнадцатому ноября было произведено сличение «единичных лобковых волос, взятых у Грегори Мэдисона», с «единичными волосами негроидного типа, извлеченными из

лобкового волосяного покрова Элис Сиболд в мае 1981 г.» Экспертиза установила тождество лабораторного материала по всем семнадцати показателям.

Восемнадцатого ноября Гейл составила проект служебной записки по моему делу и дала ей ход двадцать третьего числа.

«Факт насилия считаю установленным. Потерпевшая была девственницей; отмечено два разрыва девственной плевы. Лабораторные исследования показали наличие спермы, а медицинское освидетельствование зафиксировало многочисленные травмы и повреждения.

Остается открытым вопрос об идентификации личности нападавшего. Изнасилование совершено 8 мая 1981 г.; потерпевшая обратилась в полицию и дала подробные показания, однако задержанных по данному делу не было. 9 мая 1981 г. потерпевшая отбыла к месту жительства, в штат Пенсильвания. Осенью, по возвращении в Сиракьюсский университет, она заметила ответчика на улице, и тот подошел к ней со словами: „Эй, крошка, вроде мы с тобой где-то встречались?“ Потерпевшая вызвала полицию. Во время организованного мной опознания она указала на подставного участника (имеющего портретное сходство с ответчиком, по личному требованию которого он и был доставлен в зал опознания, чтобы занять место рядом с ответчиком). Позже потерпевшая в присутствии полицейских признала, что указанный ею человек мог быть как ответчиком, так и подставным. Согласно микроскопическому исследованию, лобковые волосы ответчика идентичны волосам, обнаруженным в лобковом волосяном покрове потерпевшей. На оружии (ноже), найденном на месте преступления, имеется частичный отпечаток пальца, недостаточный для сопоставления (нож отправлен мною в ФБР на дополнительную экспертизу). По заключению лаборатории, установить группу крови нападавшего по сперме невозможно вследствие значительной примеси крови потерпевшей.

Удачи следствию. Потерпевшая — надежный свидетель».

В следующий раз я отправилась домой, в Пенсильванию, на День благодарения. Через день после возвращения в Сиракьюс междугородным автобусом компании «Грейхаунд» я получила письмо, отправленное на адрес общежития.

«В соответствии с Вашим запросом, — говорилось в нем, — настоящим ставим Вас в известность, что вышепоименованное лицо, находящееся в изоляторе временного содержания, решением жюри присяжных привлекается к уголовной ответственности».

Это меня взбудоражило. Стоя у себя в комнатухе общежития «Хейвен-холл», я дрожала от волнения. Потом позвонила матери и рассказала ей. Дело мое двигалось. Похоже, до суда оставалось совсем немного — считанные дни.

Четвертого декабря я еще сидела на лекции, когда Мэдисон вручил судье, Уолтеру Т. Горману, свое заявление. Ни по одному из восьми пунктов обвинения он не признавал себя виновным. Досудебные слушания были назначены на девятое декабря. Пэккетт признал, что за его подзащитным числится одно правонарушение: мелкая кража в подростковом возрасте. Государственное обвинение не располагало дополнительными сведениями, а данные о правонарушениях, совершенных до наступления уголовной ответственности, не могли быть приняты во внимание. Когда Горман спросил заместителя районного прокурора Плочоцки (выступавшего государственным обвинителем в отсутствие Гейл, занятой на другом процессе), желает ли тот сделать заявление относительно залога, Плочоцки сказал:

«Ваша честь, у меня нет материалов по этому делу». В результате ответчика отпустили

под залог в пять тысяч долларов. Я же в течение рождественских каникул пребывала в счастливом заблуждении, что насильник сидит за решеткой.

Перед отъездом домой я получила зачет по первой части курса итальянского, сдала античную литературу на «удовлетворительно» и спецкурс Тэсс — на «хорошо» (моя курсовая оказалась слабовата), а также получила две отличные оценки по спецкурсам: у Вульфа и у Гэллагер.

На каникулах повидалась со Стивом Карбонаро. Он и думать забыл про «Дон Кихота», зато приобрел манеру держать у себя в квартире (он жил рядом с Пенсильванским университетом) бутылку дорогого виски «Чивас ригал». Стив скупал на блошиных рынках старинные, до дыр протертые восточные ковры, носил атласный смокинг, курил трубку и писал сонеты для новой подружки, подкупившей его своим именем — Джульетта. Выключая свет у себя в комнате, он подглядывал за раскрепощенной любовной парочкой в квартире напротив. Вкус виски мне не понравился, а курение трубки показалось дешевым выпендрежем.

Моя сестра в свои двадцать два года все еще хранила девственность. Я убеждала ее не быть такой целомудренной. Она и сама убеждала себя не быть такой целомудренной. Но мотивы наши были разными. Я желала ее грехопадения — а именно так это расценивалось в нашей семье, — чтобы мы с ней встали на одну доску. Она желала для себя грехопадения, чтобы не выделяться среди большинства подруг.

Мы жили невесело, каждая по свою сторону этого слова. Она была девушкой, я — нет. На первых порах мама пыталась взять шутливый тон, говоря, что теперь можно больше не читать мне нотаций по поводу сохранения девственности, а переключиться на сохранение добродетели. Но в этом сквозила какая-то фальшь. Было бы странно внушать сестре старые правила, а для меня изобретать новые. Вследствие того, что со мной приключилось, я перешла в категорию, которая выпадала из подвластной ей сферы.

Тогда я вспомнила, что помогало мне в самых трудных ситуациях и что в доме Сиболдов принято было делать в спорных случаях: докопалась до смысла. Взяла словарь и посмотрела все эти существительные и прилагательные: *девственница, девственность, девственная, добродетельная, добродетель*. Когда определения не давали желаемого результата, я их слегка передергивала, наделяя слова новыми значениями. В итоге выходило, что я все еще девственница. Ведь я не потеряла девственность, твердила я себе; у меня ее отняли. Следовательно, я сама вправе решать, в каких случаях следует говорить о девственности и что это такое. Своей «настоящей девственностью» я назвала то, что мне еще предстояло потерять. Как и причины, по которым я отказывалась спать со Стивом или настаивала на возвращении в Сиракьюс, эти выводы казались непререкаемыми.

Как бы не так. Многое из того, что я подтвердила или опровергла, не выдерживало никакой критики, просто у меня не хватало духу это признать. Помимо всего прочего, я еще придумала мазохистские доводы в пользу утраты девственности в результате насилия.

— Может, это и к лучшему, что меня изнасиловали невинной девушкой, — говорила я знакомым. — По крайней мере, у меня не возникло никаких сексуальных ассоциаций, как у других женщин. Это было насилие в чистом виде. Поэтому, когда у меня все же будет нормальная интимная жизнь, я смогу безошибочно различить секс и насилие.

Интересно, кого я хотела обмануть.

В промежутках между занятиями и вызовами в суд я нашла время потерять голову. Его звали Джейми Уоллер, и он тоже посещал семинар Вульфа. Джейми был старше меня — ему исполнилось двадцать шесть — и дружил еще с одним студентом в нашем семинаре, Крисом Дэвисом. Крис был голубым. Их дружба казалось мне свидетельством того, что Джейми, при своей нормальной сексуальной ориентации, — весьма продвинутый представитель мужского племени. Если ему так комфортно в обществе голубого, рассуждала я, то, может быть, он благосклонно отнесется и к жертве изнасилования.

Я ухитрилась делать все, что делают влюбленные девицы. Договорилась с Лайлой, чтобы та после занятий пришла на него посмотреть. Вернувшись в общежитие, мы говорили, что он просто пупсик. После каждой встречи я перечисляла подруге, в чем он приходил. Джейми был приверженцем молодежной небрежности — так я обозначила его стиль. Его свитера, перевязанные из старых шерстяных вещей, хранили следы яичного желтка, а из-под пояса вельветовых штанов в крупный рубчик вылезала резинка трусов «Брукс Бразерз». Жил он за пределами кампуса, в отдельной квартире, и рассекал на собственном автомобиле. По выходным уезжал кататься на горных лыжах. Это было независимое существование, о каком я могла только мечтать. Наедине с собой я предавалась грезам, на людях притворялась невозмутимой.

Свою внешность я ненавидела. Считала себя нелепой, уродливой толстухой. Наверное, Джейми не находил во мне физической привлекательности, но он любил потрепаться, а еще — любил выпить. И в одном и в другом деле я могла составить ему компанию.

Обычно после семинара у Вульфа мы с Крисом и Джейми отправлялись в бар, наскоро пропускали рюмку-другую, и Джейми говорил: «Ну, детки, мне пора. А у вас какие планы на выходные?» Мы с Крисом мямлили что-то невразумительное, чувствуя свою ущербность. Мои выходные проходили в ожидании большого жюри и сопутствующих мероприятий. Крис позже признался, что каждый уик-энд обходил городские бары для голубых в тщетных попытках найти себе приличного партнера. Мы с Крисом читали серьезную поэзию, все время что-нибудь жевали и глушили кофе. Когда нам самим удавалось написать сносные стихи, мы перезванивались и читали их вслух. Оба тяготились одиночеством и презирали себя. Мы смешили друг друга невеселыми шутками и не без горечи ожидали возвращения посвежевшего и отдохнувшего Джейми, который между поездками в Стоу или на гору Хантер скрашивал наше серое существование.

В одном из походов по значным местам я поведала ребятам свою историю. Мы все трое были навеселе: то ли после семинара, то ли после читки отправились в бар на Маршалл-стрит. Это заведение слегка отличалось от большинства студенческих баров — примитивных распивочных.

Не помню, с чего начался тот разговор. Дело было за день-другой до опознания, так что все мои мысли крутились вокруг этого. Крис лишился дара речи, забалдев сильнее, чем от спиртного. У него двумя годами раньше убили брата, но тогда он об этом не распространялся. Я думала лишь о том, что скажет Джейми — с которым мечтала закрутить роман и связать свою судьбу.

Но что бы он ни сказал, прошлого было не перечеркнуть. Никакая сила не способна повернуть время вспять. Если я и могла вырваться и спастись, то исключительно в собственных фантазиях. У нас за столиком воцарилась неловкость, однако Джейми быстро нашел выход. Он заказал еще по стакану.

В свою городскую квартиру Джейми уехал один. Крис, живший в другой стороне, проводил меня домой. Я лежала на кровати, а комната кружилась. Алкоголь сам по себе не приносил мне кайфа, но мало-помалу создавал ощущение беззаботности. Я все выложила ребятам как на духу, мир не перевернулся, теперь можно было рассчитывать на полную отключку. С похмелья у меня всегда трещала голова, утро начиналось жестокой рвотой, но, похоже, Джейми да и другим нравилось видеть меня под градусом. От этого даже была некоторая польза: мне иногда удавалось забыться.

После Рождества мы стали поддавать чаще и в основном без Криса. Джейми рассказал, что восстановился в университете после длительного перерыва — ухаживал за неизлечимо больным отцом. Еще он по секрету сообщил, что в городе Ютика, в Иллинойсе, владеет магазином женской одежды, требующим постоянного догляда. В моих глазах это добавляло ему привлекательности, но больше всего мне нравилось в нем полное отсутствие комплексов. За едой он не подавлял отрыжку. Спал с кем хотел. Девственность утратил гораздо раньше меня: ему едва исполнилось четырнадцать, она была старше. «Так меня прижала — я и пикнуть не успел», — говорил он, прихлебывая пиво из горлышка или вино из бокала и весело фыркая. Джейми с юмором расписывал свои бесконечные похождения, включая интрижки с замужними женщинами и стычки с обманутыми мужьями.

Выслушивать это зачастую было неловко. С моей точки зрения, его распушенность приняла чудовищные формы; в то же время она означала, что он всего насмотрелся и все изведal. Мало что могло его удивить. Вот и во мне он, кажется, не усматривал никаких отклонений. Джейми не вписывался в категорию приличных мальчиков. Но мне меньше всего хотелось иметь дело с приличным мальчиком, который считал бы меня «необычной».

Он без содрогания воспринимал мои рассказы о текущих делах: о беседах с Гейл, об опознании, о страхе перед выступлением в суде. После Рождества, когда я жила ожиданием судебного процесса, недели тянулись как месяцы. Процесс не раз откладывался. Предсудебные слушания были назначены на двадцать второе января; естественно, я не могла не явиться. Как выяснилось, заседание отменили, но все равно я пришла не зря: переговорила с районным прокурором Биллом Мастином и с Гейл, которая в это время была беременна и сдавала дела Мастину.

Джейми, на мой взгляд, сознавал, что мы с ним выбиваемся из общего ряда. Он многое пережил в связи с болезнью и смертью отца; я в свои девятнадцать лет из-за пережитого стояла особняком среди ровесниц. Но вместо того чтобы помочь мне разобраться в себе, на чем настаивала Триша из кризисного центра, он научил меня пить. Я оказалась способной ученицей.

Нас с Джейми в очередной раз потянуло на интимный разговор, и я ему солгала.

Однажды вечером в баре он спросил как бы невзначай, спала ли я с кем-нибудь после изнасилования. Я сказала «нет», но тут же по выражению его лица прочла: «Ответ неправильный». Мне удалось мгновенно выйти из положения:

— Нет, надо же такое спросить! Конечно да!

— Ну-ну. — Он покрутил на столе пивную кружку. — Не завидую тому парню.

— В каком смысле?

— Стремно. Вдруг облажаешься? Да и потом, неизвестно, чего ожидать.

Я заверила его, что опыты оказались удачными. Он любопытствовал, сколько у меня

было парней. Цифру пришлось взять с потолка. Трое.

— Хорошее число. Как раз достаточно, чтобы убедиться в своей полноценности.

С этим трудно было не согласиться.

Выпили еще. Мне стало ясно: тему лучше закрыть. Скажи я правду, он бы со мной порвал. Как я потом призналась Лайле, меня преследовало неотступное желание «развязаться с этим вопросом». Я опасалась, что страхи, связанные с сексом, только усилятся, если откладывать слишком долго. Меньше всего мне хотелось коротать свою жизнь в родительском доме, лежа носом к стенке, или усохнуть от старости в гордом одиночестве, или уйти в монастырь. А ведь такие перспективы грозили перерасти в реальность.

Решающий миг настал в преддверии пасхальных каникул.

Мы с Джейми сходили в кино. Потом надрались в баре.

— Пойду отолью, — сказал он уже в который раз.

В его отсутствие я просчитала ситуацию. В принципе дело шло в нужном направлении. Он ведь уже задал мне тот единственный вопрос, который служил преградой. Я соврала, и вроде бы убедительно. Завтра он уедет на горнолыжный курорт, а я останусь куковать с Лайлой.

Он вернулся на свое место за столиком.

— Надо завязывать, а то за руль не смогу сесть, — сказал он. — Поехали ко мне?

Я встала, и мы вышли из бара. Шел снег. Колкие снежинки пощипывали разгоряченные спиртным щеки.

Мы остановились, вдыхая морозный воздух. У Джейми на ресницах и на отвороте лыжной шапки образовалась снежная кромка.

И тут мы поцеловались.

Поцелуй вышел мокрый и неловкий — не такой, как со Стивом; скорее как с Мэдисоном. Но я сама этого хотела. Усилием воли приказала себе хотеть. Это Джейми, молча твердила я. Это Джейми.

— Ну что, едешь ко мне?

— Не знаю, — сказала я.

— Слушай, тут холодина как у ведьмы в жопе. Я еду домой. Соображай быстрее.

— А с контактными линзами как быть? — пробормотала я.

В пьяном голосе Джейми зазвучали вкрадчивые нотки; оно и понятно — у него по этой части был немалый опыт.

— Вариантов — два. Либо ты топаешь в общагу своим ходом и укладываешься баиньки, либо я, так и быть, делаю крюк, подбрасываю тебя ко входу и жду в машине, пока ты снимешь линзы.

— Обещаешь?

Джейми остался сидеть в машине. Я быстро поднялась на лифте к себе в комнату и сняла линзы. Время было позднее, но я все равно решила забежать к Лайле и постучалась к ней в дверь. Она возникла на пороге в ночной рубашке. Свет был выключен. Я действительно ее разбудила.

— Что за дела? — сердито спросила она.

— Дела такие: Джейми везет меня к себе домой, — выпалила я. — Вернусь утром. Не завтрак без меня не ходи, договорились?

— Ладно, — сказала она и захлопнула дверь.

Мне не терпелось с кем-нибудь поделиться.

Снег повалил еще сильнее. Чтобы не отвлекаться от дороги, мы ехали молча. Автомобильная печка жаром обдувала мне ноги. Джейми стал моим провожатым в непознанное. Мне представилась единственная возможность вырваться, пока вокруг не сомкнулись стены. В тот момент его искушенность в амурных делах казалась мне подарком судьбы. Вечные рассказы о победах на любовном фронте, не лишённые элементарного мужского бахвальства, выдавали подлинное наслаждение. Я не питала иллюзий: его тянуло на подвиги преимущественно в нетрезвом виде. Вот и сейчас он изрядно нагружился. Но это меня не волновало. Пьянки. Случайные связи. Безалаберный быт. Что ж, повторяла я, он сам сделал такой выбор. Никто не заставлял его жить по схеме «выпил — трахнул — смылся». Сейчас, оглядываясь в прошлое, можно предположить, что все обстояло не так просто, но тогда мне было не до этого — я следила за дорогой. Стеклоочистители без остановки сновали туда-сюда. По краям лобового стекла образовались снежные бакенбарды, а вверху — густые седые брови. Меня вез к себе домой нормальный парень, по всем меркам привлекательный, готовый заняться со мной любовью.

Я долго и упорно пыталась представить себе его жилище. Когда мы приехали, мне открылась отнюдь не сказочная двухкомнатная квартирка со входом через кухонный отсек. По другую сторону барной стойки, отделявшей гостиную, мебели не было вовсе — ее заменяли пластмассовые складские коробки, набитые пластинками и кассетами; на полу стояла стереосистема. Переступив через порог, Джейми бросил на пол рюкзак с книгами и нырнул в ванную, совмещенную с туалетом, облегчился, даже не прикрыв дверь — я тактично отвернулась, — и вновь появился на кухне. Теперь, у себя дома, он всем своим видом говорил: «Чего тянуть?» Я стояла на границе между неосвещенным кухонным отсеком и пустой гостиной. Рядом с ванной была спальня. Я прекрасно понимала, что это и еста пункт назначения, сознавала, для чего сюда приехала, но вдруг задергалась. Мне стало страшно.

Джейми сказал, что просто обязан налить мне стаканчик — для храбрости. В холодильнике нашлась початая бутылка белого вина, а на полке — пара грязных стаканов. Подержав стаканы под струей воды, он плеснул нам вина. Я взяла мокрый стакан и сделала глоток.

— Ты сумку-то поставь, — сказал он. — Сейчас музон включим, веселей будет, ага?

Пройдя в гостиную, он сел на корточки перед ящиком с магнитофонными кассетами. Выбрал штуки две-три, посмотрел, что на них написано, и швырнул обратно. Я поставила сумку на пол, у самой двери. Джейми остановил свой выбор на записях Боба Дилана: от этой тягомотины у меня всегда было такое ощущение, будто это мертвецы гремят цепями. Я терпеть не могла Дилана, но сообразила, что лучше об этом не заикаться.

— Ну что ты стоишь как памятник? — Джейми обернулся через плечо, а потом приблизился ко мне вплотную. — Поцелуй-ка меня.

Мой поцелуй чем-то его не удовлетворил.

— Слушай, ты сама этого хотела, — сказал он. — А теперь жмешься.

Он предложил мне пойти почистить зубы. Я ответила, что, к сожалению, не захватила зубную щетку.

— Ты вообще-то когда-нибудь ночевала не дома?

— Ночевала, — несмело соврала я.

— Как же ты обходилась?

— Пальцем, — само собой вырвалось у меня. — Чистила зубы пальцем.

Джейми протиснулся мимо меня в ванную и откопал зубную щетку.

— Возьми хоть эту, что ли, — сказал он. — Когда ложишься с человеком в постель, запахло резговать его щеткой.

Перепуганная, полупьяная, неуклюжая, я ухватилась за эту логику. Зайдя в ванную, почистила зубы. Побрызгала водой на лицо и почему-то забеспокоилась, хорошо ли выгляжу. Одного взгляда в зеркало было достаточно, чтобы получить ответ. Я отвернулась — глаза бы мои не глядели. Сглотнув слюну, я набрала полную грудь воздуха и вышла из ванной.

В это время Джейми срывал грязные, засаленные простыни с матраса, брошенного на пол в спальне. Скомканные или скрученные жгутом разномастные одеяла валялись там, куда их отшвырнули. Кассета Дилана уже была перевернута на другую сторону. Прямо под дверью лежали на боку горнолыжные ботинки. Мой стакан, принесенный из гостиной, стоял рядом с матрасом на молочном ящике, потеснив электронный будильник.

Джейми стянул рубашку через голову. Мне не часто доводилось видеть мужчин с голым торсом. Покрытый россыпью веснушек, он оказался куда тщедушнее, чем я ожидала. Резинка трусов потеряла эластичность и свисала над верхним краем брюк.

— Раздеваться не собираешься? — спросил он.

— Я стесняюсь.

— Это ты брось, — сказал он. — Завтра рано вставать: мне с утра на испанский, а потом в Вермонт пилить, к черту на рога. Может, начнем?

Кое-как начали. Я лежала под ним, а он делал свое дело. Очень мощно. Как я услышала потом от девчонок, это называется «спортивный секс». Я держалась стойко. Завершение оказалось бурным, с ревом и хрипом. Я такого не ожидала. У меня хлынули слезы. Я плакала в голос. Тряслась от рыданий. Он затих и осторожно прильнул ко мне всем телом. Сгорая со стыда, я не могла успокоиться. Думаю, он не знал, что, по сути, был у меня первым, но у него хватило ума понять причину моих слез.

— Бедняжка, — приговаривал он. — Бедная, бедная малышка.

Очень скоро он отключился, прямо на мне. Я не спала всю ночь.

На рассвете ему снова захотелось секса. После поцелуев он стал подталкивать меня вниз. Увидев перед собой пенис, я застыла.

— Не умеешь? — спросил он.

С первой попытки меня чуть не стошнило.

— Иди сюда, — сказал он, отпуская мою голову.

Мы снова поцеловались, а потом Джейми, заглянув мне в глаза, встревожился, запустил руку в мои распущенные волосы и отстранил от себя.

— Послушай, — сказал он, — не хочешь — не надо. Только не вздумай меня полюбить.

Я опешила, не зная, как это понимать. Пообещала, раз уж он настаивал, но в глубине души чувствовала, что обещаю невозможное.

Он подвез меня до «Хейвена» и бросил на прощание:

— Счастливо тебе, детка.

Лишние заморочки были ему не нужны. С него хватило ухода за инвалидом отцом.

Джейми умчался на занятия, а оттуда — кататься на лыжах.

«Представь, добилась своего», — написала я на листке для сообщений, прикрепленном

к двери Лайлы. Она еще спала, и я мысленно перекрестилась. После бессонной ночи все мысли были о том, чтобы только добраться до кровати. К тому же мне требовалось время, чтобы убедить себя в успехе эксперимента. Под вечер, когда я проснулась, все встало на свои места. Я потеряла свою настоящую невинность. Задуманное осуществилось, хотя и не без издержек; мужчина меня не оттолкнул.

Естественно, я сделала то, что он мне запретил. Я его полюбила.

А нашу близость превратила в забавную историю. Посмеялась над собой, над своей неловкостью. Напилась. Позвонила Крису и рассказала ему. Он пришел в восторг и стал кричать: «Ай да молодчина!» Потом мы с Лайлой пошли в кафе, взяли швейцарское мороженое с ванилью и миндалем, и я уже задирала нос, как умудренная опытом женщина. Джейми с тех пор мне не звонил. Я говорила себе, что увижусь с ним после Пасхи, что таким современным людям, как мы, не нужны всякие кольца, цветы и телефонные звонки. Пришла пора ехать домой, в Пенсильванию. В шикарный красный чемодан «самсонит», купленный на распродаже, я положила бутылку «Абсолюта». Мне было хорошо.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В конце апреля, через месяц после пасхальных каникул, я шла по Маршалл-стрит. Дело было днем, часа в три. В северную часть штата Нью-Йорк наконец-то пришла весна — исподволь, словно после долгой игры в прятки. На земле еще лежал старый снег. Каждую зиму он придавал Сиракьюсу особую прелесть, маскируя буро-коричневые, как и на всем северо-востоке, здания и дороги. Но к апрелю снег уже всем осточертел, и студентки радовались наступлению тепла. Они влезали в шорты и футболки; руки-ноги тут же покрывались гусиной кожей, но девушкам не терпелось похвастаться своим загаром, привезенным из Флориды. На улице было полно народу. Близились последние дни учебного года, а вместе с ними долгожданные каникулы; студенты радовались жизни, закупая для родных и друзей университетские сувениры с атрибутикой Студенческого союза.

У меня в руках были пакеты с подарками для сестры. Она заканчивала «Пен» и шла на диплом с отличием. Возвращаясь по Маршалл-стрит, я столкнулась с группой парней из одного мужского университетского объединения, которые шли с девушками. Лица сияли улыбками. Двое ребят демонстрировали свою крутизну, надев крахмальные белые спортивные трусы и кроссовки на босу ногу. Я не могла не посмотреть в их сторону: они занимали весь тротуар и просто приковывали к себе внимание. Но по другую сторону кто-то пытался их обойти.

Я выросла на сериале «Зачарованные», в котором героиня, Элизабет Монтгомери, способна щелчком пальцев остановить на месте любого, кто находится рядом с ней и ее мужем Даррином. Супруги продолжают непринужденно беседовать, а остальные замирают в самых нелепых позах. В тот день произошло нечто подобное: я увидела Грегори Мэдисона, отделенного от меня веселой компанией. А потом и он увидел меня. Все прочее остановилось.

Почему-то я не была готова к такой встрече. Просто не представляла, что подобное возможно. Я думала, он сидит за решеткой, и не могла помыслить, что перед судом его понесет в сторону кампуса. Однако именно так и произошло.

В октябре он держался с предельной наглостью, даже не сразу меня узнал. На этот раз узнавание было мгновенным, и мы обменялись кивками. Без слов. Это была какая-то доля секунды. Нас разделяла компания оживленных парней с девушками. Мы прошли по разные стороны от них. Его глаза сказали мне все, что я хотела знать. Отныне я стала его противником, а не просто жертвой. Он это признал.

Еще зимой мы с Лайлой стали называть друг друга клонами. Обеим это пришлось по душе. Считаюсь моим клоном, она видела себя чуть более смелой и безрассудной, чем на самом деле; я же могла притворяться самой обычной студенткой, в жизни которой процесс об изнасиловании занимает не больше места, чем учеба и набеги на Маршалл-стрит. Став клонами, мы решили съехать из общежития, чтобы вместе квартировать в городе. В компанию взяли подругу Лайлы, которую звали Сью, и нашли четырехкомнатную квартиру за пределами кампуса, в районе, давно облюбованном студентами. Нас приятно будоражила перспектива поселиться в нормальном доме; ко всему прочему, я не сомневалась, что судебный процесс вскоре завершится, и рассматривала переезд как начало новой жизни. Срок аренды начинался осенью.

К началу мая у меня уже были собраны вещи для поездки домой на лето. Получив «хорошо» за семинар по Шекспиру, я распрощалась с Джейми. Никаких иллюзий, что он даст о себе знать, у меня не осталось.

В течение семестра я посещала курс под названием «Сервантес в английских переводах» и в своей курсовой развенчала миф о Ламанче, интерпретировав историю Дон Кихота как современную городскую притчу и сделав героем Санчо Пансу. Он обладал житейским умом, которого недоставало Дон Кихоту. В моей версии Дон Кихот тонул в придорожной канаве, полагая, что купается в озере.

Перед отъездом я позвонила Гейл, чтобы сообщить ей о своих перемещениях. Всю весну в районной прокуратуре мне отвечали: «Процесс начнется со дня на день»; так было и на этот раз. Гейл поблагодарила меня и поинтересовалась моими планами.

— Думаю летом подработать, — сказала я.

— По всей видимости, до начала процесса ждать уже недолго. Мы можем надеяться на ваше участие?

— А как же иначе? — удивилась я. — Для меня это на первом месте.

Подтекст ее вопроса дошел до меня много лет спустя: в делах об изнасиловании чуть ли не закономерностью был отказ пострадавшей от участия в процессе, даже если первоначально она требовала суда.

— Элис, у меня к вам один вопрос. — У Гейл едва заметно дрогнул голос.

— Да?

— Будет ли с вами кто-то из домашних?

— Не знаю, — ответила я.

Мы уже обсуждали это с родителями: сначала на рождественских каникулах, потом на пасхальных. Мама сразу побежала к своему психоаналитику, доктору Грэм. Отец не скрывал досады: из-за судебных проволочек его ежегодная командировка в Европу оказалась под угрозой срыва.

До недавних пор я считала, что решение отправить со мной отца было продиктовано одной-единственной причиной: у мамы в любую минуту мог случиться «глюк». На самом же деле доктор Грэм как раз рекомендовала ехать маме, невзирая на большую вероятность приступа.

По телефону мама стала рассказывать, как принималось решение; я помалкивала. Если и задавала вопросы, то делала это в репортерской манере. Бесстрастно собирала информацию. Мама затаила обиду на доктора Грэм: та, по ее словам, «всегда будет поддакивать тому, у кого престиж выше, то есть нашему папе».

— Значит, папа тоже отказывался меня сопровождать? — уточнила я.

— Разумеется, ведь его ждет драгоценная Испания.

Напрашивался вывод: родители отнюдь не горят желанием быть со мной на процессе. У каждого, не спорю, были свои резоны.

В конце концов решили, что поедет отец. Мы с ним уже поднимались по трапу самолета, а у меня еще теплилась надежда, что мама вот-вот выскочит из машины, поставленной на длительную стоянку, и присоединится к нам. Как я ни хорохорилась, она была мне нужна и желанна.

На последнем курсе Мэри уже владела пятнадцатью арабскими диалектами и получила фулбрайтовскую стипендию для стажировки в Сирии — в Дамасском университете. Я

испытывала и зависть, и благоговение. У меня с языка сорвалась первая (но не последняя) шутка о наших с ней разных путях: «Ты у нас главная по арабскому вопросу, а я — по бабскому».

За годы обучения Мэри достигла таких вершин, какие мне и не снились; при моей безалаберности нечего было и думать даже отдаленно приблизиться к ее академическим успехам. На самом деле, сестра ушла в науку как в спасительную нишу. Выросшая в семье, где цементирующей основой был недуг нашей матери, она избрала для себя примером жизненные принципы отца. Выучив чужой язык, беги в чужую страну, подальше от семейных проблем. Учи язык, на котором не говорят у тебя дома.

Мне все еще хотелось надеяться на безоблачные отношения с сестрой, каких желала нам мать, но обстоятельства, как нарочно, были против нас. Суд назначили на семнадцатое мая — день вручения дипломов в Пенсильванском университете. В значительные моменты нашей жизни именно я, а не сестра оказывалась в центре внимания, пусть и не по своей воле.

Я поговорила с Гейл. Сдвинуть дату оказалось невозможно, но она обещала начать с других свидетелей, чтобы я могла дать показания на второй день. Мы с отцом заказали авиабилеты на вечер семнадцатого. Сразу после церемонии мама собиралась отвезти нас в аэропорт. До этого момента, единогласно решили мы с родителями, все будет делаться ради Мэри — это ее праздник.

Мы с мамой и Мэри отправились покупать одежду: сестре — для выпускной церемонии, мне — для суда.

И я, и моя сестра далеко ушли от того стиля одежды, который в детстве навязала нам мама, отдававшая предпочтение цветам американского флага. Мэри остановилась на темно-зеленых и кремовых тонах, а я тяготела к черному и синему. Но на сей раз я пожертвовала своими готическими пристрастиями, полностью доверившись маминому вкусу. В результате мне были куплены красный пиджак, белая блуза и синяя юбка.

Вечером шестнадцатого числа мы с отцом заранее уложили вещи. Семнадцатого все оделись, каждый у себя в комнате, и приготовились ехать в «Пен». Напоследок я покрутилась перед зеркалом. Независимо от результатов процесса, подумалось мне, мое участие в нем закончится к тому моменту, когда я снова посмотрюсь в это зеркало. Я ехала в Сиракьюс, где мне предстояло множество встреч, но я думала лишь об одной. О встрече с Грегори Мэдисоном. На пороге комнаты я сделала глубокий вдох. Можно сказать, отключила себя, а потом включила заново: превратилась в настоящую младшую сестренку — восторженную, радостную, живую.

Для торжественного шествия выпускников и родителей отец надел свою принстонскую мантию. Они с Мэри стояли напротив нас в переполненном вестибюле, где родители хлопотали вокруг своих отпрысков, примеряя им квадратные академические шапочки; одна мамаша, недовольная, как дочь накарсила ресницы, слюнявила себе пальцы и стирала черные точки с девичьего лица. Вокруг счастливых выпускников толпилась родня, повсюду мигали вспышки фотоаппаратов, а девушки и парни смущенно сдвигали академические шапочки набекрень — кому охота выглядеть придурком?

Бабушка, мама и я нашли свои места в партере, сбоку от большой группы выпускников. Я залезла на стул и отыскала глазами Мэри: она, улыбаясь, болтала с незнакомой мне подружкой.

После церемонии состоялся торжественный обед в преподавательском клубе. Затем все вышли на свежий воздух, и мама без конца нас фотографировала, заставляя сесть так и этак на бетонных скамьях. Один из увеличенных кадров, оправленный в рамочку, до сих пор висит у мамы на стене. Помню, раньше я все ждала, когда же она его уберет, но там увековечен памятный день: для одной сестры — окончание университета, для другой — начало судебного процесса по делу об изнасиловании.

Аэропорт мне не запомнился. Запомнился перелет из праздника в ужас. В Сиракьюсе нас встретил детектив Джон Мэрфи из районной прокуратуры. Этот человек с ранней сединой и приветливой улыбкой приблизился к нам, когда мы разглядывали указатели главного терминала.

— Вы, должно быть, Элис? — спросил он и протянул руку для приветствия.

— Совершенно верно.

Как он меня узнал?

Представившись, он объяснил нам с отцом свою миссию — обеспечивать наше сопровождение в течение суток — и предложил взять у меня чемодан. На ходу он рассказал, где мы остановимся, и добавил, что Гейл встретится с нами в вестибюле гостиницы, за столиком кафе:

— Собирается обговорить с вами показания.

— А как вы меня вычислили? — не утерпела я.

Мэрфи не моргнул глазом:

— По фотографиям.

— Если это те фотографии, о которых я думаю, очень жаль, что вам показали меня в таком неприглядном виде.

Папа занервничал и приотстал.

— Такую красивую девушку узнаешь по любой фотографии, — сказал Мэрфи.

Он проявлял деликатность. Знал, как отвечать, о чем говорить.

Сидя за рулем служебного автомобиля, Мэрфи по пути в гостиницу заговаривал через плечо с моим отцом, когда у светофоров и на поворотах они встречались взглядом в зеркале заднего вида.

— Следите за спортивными событиями, мистер Сиболд? — спросил он.

Отец не следил за спортивными событиями.

Мэрфи попробовал завести речь о рыбалке.

Отец напруг все силы, но мало что смог из себя выжать. Вот если бы Мэрфи вставал в пять утра, чтобы полистать Цицерона, у них была бы какая-то точка соприкосновения.

Под конец речь зашла о Мэдисоне.

— Он сейчас в изоляторе, — сказал Мэрфи. — Я, кстати, могу к нему наведаться, сказать «спасибо, дружище», потрепаться по-свойски, а потом уйти. Это даром не пройдет: сокамерники заподозрят в нем стукача. Только скажите — я так и поступлю с этим гадом.

Уже не помню, что я ответила — кажется, вообще ничего. Я видела, как отец весь съежился, и про себя отметила, что сама за прошедший год научилась воспринимать такие вещи спокойно. Мне нравились молодые люди типа Мэрфи. Сообразительные. Без сантиментов.

— Насильников там не любят, — пояснил Мэрфи моему отцу. — Бывает, достается им по первое число. Больше всего ненавидят педофилов, но и насильников не жалуют.

Отец немного оживился, но, похоже, струхнул. Его коробили такие разговоры. По многолетней привычке он либо сам направлял беседу, либо вообще в ней не участвовал. Одно то, что он внимательно слушает, уже казалось невероятным.

— Представьте себе, мою девушку тоже зовут Элис, — сказал Мэрфи.

— Неужели? — Отец проявил интерес.

— Истинная правда. Мы уже довольно долго вместе. Когда я услышал, что вашу дочь зовут Элис, у меня возникли хорошие предчувствия насчет этого процесса.

— Да нам и самим нравится это имя, — сказал отец.

Я рассказала детективу, как папа сначала хотел назвать меня Хепзиба. Лишь благодаря бурным протестам моей матери эта идея заглохла.

История ему понравилась. Он рассмеялся, и мне пришлось повторять имя, пока он его не затвердил.

— Ну анекдот, — ухмыльнулся Мэрфи. — А ведь могли бы остаться с таким имечком.

Доехав до центра, мы свернули на главную улицу. Стоял май, в половине восьмого было еще светло, но магазины уже закрылись. Мы проехали мимо универмага «Фоулиз». Вывеска курсивом и потемневшие от времени латунные решетки на дверях и окнах подействовали на меня как бальзам.

Впереди слева я увидела тенты отеля «Сиракузы». Он тоже всплыл из благополучного прошлого. В стилизованном под старину вестибюле царило оживление. Мэрфи зарегистрировал нас у стойки администратора, показал, где находится ресторан, и обещал приехать за нами в девять утра.

— Как раз успеете поужинать. Гейл придет попозже, около восьми. — Он протянул мне синюю папку. — Вот материалы, которые, по ее мнению, вам полезно просмотреть.

Отец искренне поблагодарил его за сопровождение.

— Не стоит благодарности, мистер Сиболд, — сказал Мэрфи. — Поеду теперь к своей Элис.

Мы занесли чемоданы в номер и спустились в кафе. Есть мне не хотелось, но в горле пересохло. Устроившись за маленьким столиком возле стойки бара, мы заказали джин с тоником.

— Маме не обязательно об этом знать, — предупредил отец.

Это был его любимый напиток — джин с тоником. Когда мне было одиннадцать лет, я видела, как он выпил целый кувшин — с расстройства, что президент Никсон ушел в отставку. Сейчас отец пошел звонить маме: она сказала, что они с сестрой и бабушкой будут с нетерпением ждать вестей.

Пока его не было, я заглянула в синюю папку. Сверху лежал протокол моих показаний на предварительных слушаниях, ранее мною не читанный. Изучая этот документ, я прикрыла его папкой, чтобы ни молодые бизнесмены, ни более солидного возраста коммивояжеры, ни единственная среди присутствующих женщина, тоже деловая, не видели, какую бумагу я держу в руках.

Вернулся отец. Чтобы меня не отвлекать, он вытащил небольшую книжицу на латыни, привезенную из дому, и углубился в чтение.

— Это не улучшает аппетит!

Я подняла глаза. Передо мной стояла Гейл. Она указывала на синюю папку. Поскольку ей до ожидаемых родов оставалось всего три недели, на ней были мягкие брюки, просторная синяя футболка и кроссовки. На носу поблескивали очки, в которых я ее раньше не видела. В

руках был портфель.

— Вы, наверное, доктор Сиболд, — сказала она.

«Очко в пользу Гейл», — подумала я. Когда-то она от меня узнала, что отец имеет ученую степень и любит, чтобы ему говорили «доктор Сиболд».

Отец поднялся для рукопожатия:

— Можно просто Бад.

Он предложил ей что-нибудь выпить. Она попросила только стакан воды, и когда папа пошел к стойке, Гейл села рядом со мной и откинулась на спинку кресла.

— Господи, да вы на последнем сроке! — воскликнула я.

— Это точно. Уже подготовилась к родам. Дело забирает Билли Мастин, — сказала она, имея в виду районного прокурора, — потому что судья начинает психовать от одного вида беременной женщины.

Она засмеялась, а меня передернуло. В роли адвоката обвинения трудно было представить кого-то другого. Она, а не районный прокурор приехала в нерабочее время, чтобы лишний раз обсудить детали. Она была моим спасательным кругом, и мысль о том, что ее вроде как наказывают за беременность, представлялась мне очередным проявлением женоненавистничества.

— Между прочим, доктор Хуса, твой гинеколог, тоже в положении. На восьмом месяце. Пэкетт на стенку полезет. Кругом сплошные животы. От нас так просто не отмахнешься.

Тут вернулся отец. Гейл извинилась, что вынуждена перейти к разговору о низких материях.

— Мы с Биллом предполагаем, что адвокат ответчика будет строить защиту на импотенции.

Отец внимательно слушал, играя двумя луковичками на дне своего коктейля «гибсон».

— Как он собирается это доказать? — спросила я, и мы с Гейл засмеялись — представили, как в суд приходит врач и удостоверяет этот факт.

Гейл описала три типа лиц, склонных к совершению насилия.

— По имеющимся данным, Грегори попадает в самую распространенную категорию — силовую. Еще бывают насильники-психопаты, а самая страшная категория — насильники-садисты.

— И о чем это говорит? — спросила я.

— Силовые насильники обычно не способны поддерживать эрекцию и могут получить ее только после полного физического и психологического подавления жертвы. Им свойственна и некоторая степень садизма. Нам показалось существенным, что он возбуждился лишь после того, как поставил тебя на колени и принудил к оральному сексу.

Если я и косилась в сторону отца, то лишь для того, чтобы заставить себя забыть о его присутствии.

— Я ему наплела с три короба: какой он сильный и все такое, а когда он потерял эрекцию, сказала, что это не его вина — просто я в этом деле ничего не смыслю.

— Правильно сделала, — сказала Гейл. — От этого он решил, что подавил волю жертвы.

В общении с Гейл я могла быть собой и говорить что угодно. На протяжении нашей беседы отец сидел рядом. Иногда, чувствуя его интерес или непонимание, Гейл включала его в беседу жестом или кивком. Я спросила ее, какой срок светит Мэдисону, если его вина будет доказана.

— Тебе известно, что ему предложили сделать чистосердечное признание? Тогда он мог бы рассчитывать на смягчение приговора.

— Впервые слышу, — ответила я.

— От двух до шести; но он отказался. На мой взгляд, его защитник чересчур самонадеян. Кто отказывается от признательного заявления, к тому суд подходит с более суровой меркой.

— А сколько он может получить по максимуму?

— По обвинению в изнасиловании — от восьми лет четырех месяцев до двадцати пяти.

— До двадцати пяти лет?

— Да, но он имеет право на условно-досрочное освобождение после восьми лет и четырех месяцев тюрьмы.

— В арабских странах преступникам отрубают руки и ноги, — вставил мой отец.

Гейл, чьи предки жили в Ливане, усмехнулась:

— Око за око, да, Бад?

— Вот именно, — подтвердил отец.

— Мы бы и рады, да против закона не пойдешь.

— Элис рассказывала, как он сумел протащить на опознание своего ставленника.

Почему же закон молчит?

— Ах, вы об этом, — с улыбкой сказала Гейл. — Не беспокойтесь. Если Грегори и получил какие-то преимущества, он их очень скоро потеряет.

— Он будет давать показания? — спросила я.

— Это зависит от тебя. Если ты будешь держаться перед большим жюри так же уверенно, как на предварительных слушаниях, Пэкетту придется дать ему слово.

— Что он может сказать?

— Будет все отрицать, скажет, что восьмого мая его вообще там не было, а где был, не помнит. Для октябрьского инцидента тоже придумают какую-нибудь версию. Клэппер его видел, а Пэкетт не настолько глуп, чтобы советовать своему клиенту отрицать разговор с копом.

— Значит, я буду говорить, что произошло то-то и то-то, а он выйдет и заявит, что ничего не было?

— Да, верно. Твое слово против его слова.

— И что это означает?

— Это означает, что судья Горман будет одновременно выполнять и роль присяжных. Такой выбор сделал Грегори. Они с адвокатом опасаются, что на присяжных, рядовых граждан, повлияют суперфициалии.

К этому времени я уже знала, что суперфициалии — это привходящие обстоятельства, а они говорили в мою пользу. До изнасилования я хранила девственность. Не была ранее знакома с обвиняемым. Подверглась нападению на открытом пространстве. В темное время суток. На мне была одежда свободного покроя, не дающая никаких оснований говорить о провоцирующем поведении. Экспертиза не обнаружила в моем организме ни алкоголя, ни наркотиков. Мое имя никогда не фигурировало в полицейских протоколах — мне даже ни разу не выписывали штраф за неправильную парковку. Я — белая, он — черный. Имелись и очевидные доказательства физического насилия. У меня нашли внутренние травмы, потребовавшие наложения швов. Я совсем молода, учусь в частном университете, приносящем доходы городу. А за Мэдисоном тянется шлейф правонарушений и даже срок

тюремного заключения.

Гейл посмотрела на часы, а потом вдруг взяла меня за руку.

— Чувствуешь? — спросила она с улыбкой, приложив мою ладонь к своему животу. — Футболистом будет.

Как сообщила мне Гейл, Мэдисону предстояло ответить не только по моим обвинениям. Ему также инкриминировалась угроза действием полицейскому при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, будучи освобожденным под залог, он был задержан после Рождества за кражу со взломом.

Мы обсудили протоколы предварительных слушаний и кое-какие официальные показания, датированные днем совершения преступления. Она сообщила, что полицейских уже опросили.

— Клэппер показал, что знает Грегори по своему участку и не раз его задерживал. Билл постарается привлечь внимание к этому обстоятельству, если Мэдисон пожелает выступить.

Тут мой отец встрепенулся.

— Значит, все-таки можно использовать его уголовное прошлое? — спросил он.

— Только те факты, которые имели место после достижения им совершеннолетия, — пояснила Гейл. — Иное не допускается. Но мы будем стараться показать, что Грегори — наш старый знакомый. А если он сам по неосторожности проговорится, у нас появится право задать вопросы.

Я рассказала, в чем собираюсь прийти в суд. Гейл одобрила наш с мамой выбор.

— Главное — юбка, — сказала она. — Я и близко не подхожу к зданию суда в брюках. Горман в этих вопросах очень щепетилен. Однажды он просто выставил Билли из зала суда, когда тот явился в рубашке из марлевки!

Гейл поднялась.

— Ему пора домой, — сказала она, указывая на живот, а потом обратилась ко мне: — Говори прямо, четко и ясно. А если растеряешься, смотри туда, где стол обвинителя. Сразу увидишь меня.

Не помню, чтобы у меня когда-нибудь так раскалывалась голова, как в тот вечер. Весь прошедший год меня преследовали головные боли, но тогда я еще не знала, что это мигрень. Родителям ничего не говорила. Первые признаки надвигающегося приступа я почувствовала в ванной гостиничного номера. Чистя зубы перед сном и надевая ночную рубашку, я ощущала в затылке барабанный бой. Сквозь шум льющейся воды мне было слышно, как отец звонит маме и докладывает ей о встрече с Гейл. После знакомства с ней он испытал огромное облегчение.

Отец просто обезумел, заметив, что мне стало плохо. Особенно мучительной была резкая боль в глазах. Что с поднятыми веками, что с опущенными. Вся в испарине, я то свешивалась с кровати, сжав руками виски, то принималась расхаживать как маятник между кроватью и балконной дверью. Отец метался рядом, засыпая меня вопросами:

— В чем дело? Где болит? Вызвать «скорую»? Может, позвонить маме?

— Глаза, глаза... — простонала я. — Так больно — ничего не вижу.

Я попросила его оставить меня в покое. Но он вдруг решил, что знает верное средство.

— Поплачь, — сказал он. — Тебе нужно всплакнуть.

— Нет, папа, это не то.

— Как раз то, — сказал он. — Ты крепишься, а тебе необходимо поплакать. Не

упрямься!

— Не дави на меня, — сказала я ему. — Слезами процесс не выиграешь.

Я побежала в ванную, едва сдерживая рвоту, и заперла дверь у него перед носом.

В конце концов он прилег на постель и уснул. Я осталась в ванной. Включала и выключала свет, пытаюсь унять боль в глазах. В предрассветные часы прикорнула на краешке кровати, чувствуя, как боль постепенно стихает. Достав из ящика прикроватной тумбочки Библию, пробежала глазами пару строк, чтобы проверить, не пострадало ли зрение.

Тошнота все не проходила. В восемь утра Гейл уже поджидала нас в кафе. Приехал Мэрфи и сел рядом. Они вдвоем начали меня инструктировать. Я пила кофе и крошила рогалик.

— Ни под каким видом, — говорил Мэрфи, — не смотрите ему в глаза. Я прав, Гейл?

Я почувствовала, что она не склонна к такой категоричности.

— Он будет сверлить вас самым гнусным взглядом, чтобы подавить морально, — продолжил Мэрфи. — Когда вас попросят указать на него, смотрите в направлении стола обвинителя.

— Вот с этим я согласна, — сказала Гейл.

— А вы там будете? — спросила я Мэрфи.

— Мы с вашим папой займем места на галерее, — пообещал он. — Верно, Бад?

Пришло время отправляться в суд Онандаги. Гейл уехала на своей машине, чтобы встретиться с нами уже в суде. Мэрфи, отец и я сели в автомобиль с опознавательными знаками округа.

По прибытии на место устремились в сторону зала суда, но Мэрфи остановил нас на полпути.

— Подождем здесь: нас вызовут, — сказал он. — Как настроение, Бад?

— Спасибо, в норме, — ответил отец.

— А вы как, Элис?

— Лучше не бывает, — ответила я, но думала при этом только об одном. — А он-то где сейчас?

— Я ведь не зря вас остановил, — признался Мэрфи. — Во избежание случайных встреч.

Из зала суда вышла Гейл, которая направлялась в нашу сторону.

— А вот и Гейл, — сказал Мэрфи.

— Заседание будет закрытым.

— Что это значит? — удивилась я.

— Это значит, что Пэкетт в своем репертуаре, как и в прошлый раз. Потребовал закрытого заседания, чтобы в зале не могли присутствовать родственники.

— Не понимаю, — сказал отец.

— На опознании он выставил Тришу за дверь, — объяснила я отцу. — Вот скользкий гад, ненавижу!

Мэрфи усмехнулся.

— Разве у него есть такое право? — возмутился отец.

— Обвиняемый имеет право ходатайствовать о закрытом заседании, если считает, что поддержка свидетеля родными усугубляет обвинительные показания, — сказала Гейл. — Но в этом есть и положительный момент: ведь отец Грегори тоже здесь. Требуя закрытого

заседания, обвиняемый лишается поддержки собственного отца.

— Как можно поддерживать насильника?

Мэрфи грустно усмехнулся.

— Это же его *сын*, — негромко сказал он.

Гейл вернулась в зал.

— Может, оно и к лучшему, — рассудил Мэрфи. — Там придется говорить такие вещи, которые язык не повернется произнести при родителях.

Я собиралась было уточнить, но и без того знала, что он имеет в виду. Никакому отцу не захочется слушать, как незнакомец влез во влагалище его дочери всей своей грязной лапой.

Детектив Мэрфи и отец стояли ко мне лицом. Мэрфи посочувствовал моему папе. Указав на ближайшую скамью, он сказал, что отсюда их никто не прогонит. Отец предусмотрительно захватил с собой небольшую книжку в кожаном переплете.

В отдалении я заметила Грегори, направлявшегося в зал. Он появился из коридора, расположенного под прямым углом к нашему. На секунду я задержала на нем взгляд. Он меня не видел. Двигался неторопливо. Одет был в светло-серый костюм. Его сопровождали Пэкетт и еще какой-то белый мужчина.

Собравшись с духом, я перебила отца, который беседовал с Мэрфи:

— Хочешь на него посмотреть? Вот он, папа.

Но отец успел заметить только спину в сером синтетическом пиджаке.

— Он меньше, чем я думал, — сказал отец.

У меня екнуло сердце. Наступило молчание. Мэрфи поспешил на помощь:

— Поперек себя шире. Поверьте, у него железные бицепсы.

— Ты обратил внимание, какие у него плечи? — спросила я папу.

Не сомневаюсь: отец воображал Мэдисона гигантом.

Вдруг я увидела еще одного человека, с сединой на висках. Сложением он напоминал облегченную версию своего сына. Помедлив у двери зала заседаний, он заметил нашу небольшую группу. Я не стала указывать на него отцу. Ранее сделанное замечание Мэрфи заставило меня взглянуть на него по-иному. Потоптавшись на месте и посмотрев в мою сторону, он ушел в другой конец коридора. Очевидно, догадался, кто я. Больше я его никогда не видела, но запомнила. Стало быть, у Грегори Мэдисона есть отец. Этот простой факт врезался мне в сознание. Двое отцов, бессильных облегчить участь своих детей, томилась в разных коридорах здания суда.

Двери распахнулись. Появившийся из зала суда пристав одними глазами подал знак Мэрфи.

— Ваш выход, Элис, — сказал Мэрфи. — Помните: не надо на него смотреть. Он будет сидеть за столом защиты. Когда развернетесь к залу, найдите взглядом Билла Мастина.

Пристав — ни дать ни взять театральный билетер с армейской выправкой — подошел к нам, чтобы проводить меня в зал. Они с Мэрфи обменялись кивками, передавая меня с рук на руки.

Я сжала папину ладонь.

— Удачи тебе, — сказал он.

Обернувшись, я порадовалась, что Мэрфи остался рядом с отцом. Ведь отец мог, например, пойти в туалет и столкнуться там с мистером Мэдисоном. Мэрфи такого не допустит. Только теперь я перестала подавлять в себе то, что накануне терзало меня болью в

висках и весь год кипело под черепной коробкой — ярость.

В зале суда меня затрясло от страха. Я прошла мимо стола защиты, мимо судейского возвышения, мимо стола обвинения, направляясь к знакомому месту для дачи показаний. Утешало лишь то, что для Мэдисона теперь наступит сущий кошмар, хотя он еще этого не знал. Весь мой вид символизировал студенческую юность. К тому же я была одета в красное, синее и белое. Женщина-пристав, немолодая, в очках с тонкой металлической оправой, помогла мне подняться на ступеньку. Я развернулась лицом к залу. Гейл сидела за столом обвинения. Мастин стоял. На других присутствующих я не смотрела.

Пристав встала передо мной с Библией в руках.

— Положите руку на Библию, — сказала она.

И я повторила то, что тысячу раз видела по телевизору.

— Клянусь говорить правду... Да поможет мне Бог.

— Садитесь, — сказал судья.

Мама всегда учила нас аккуратно носить юбки и тщательно расправлять их, прежде чем сесть. Так я и сделала, прикрыв от посторонних глаз то, что легко читалось у меня над коленкой сквозь чулок телесного цвета. Еще утром, одеваясь, я прямо на коже вывела синей шариковой ручкой: «Сдохни». Разумеется, это было обращено не ко мне.

Мастин приступил к делу. Попросил меня назвать имя и место проживания. Домашний адрес. Плохо помню, как я отвечала. Мне требовалось хоть немного освоиться. Точно зная, где сидит Мэдисон, я не смотрела в ту сторону. Пэкэтт откашливался, шурша бумагами. Мастин спросил, где я училась в школе. В каком году окончила. На минуту он прервался, чтобы с разрешения судьи Гормана закрыть окно. Потом опять обратился к хронологии. Где я проживала в мае тысяча девятьсот восемьдесят первого года? Он попросил меня сосредоточиться на событиях седьмого мая восемьдесят первого и первых часах следующего дня, восьмого мая.

На каждый вопрос я отвечала детально и, как учила меня Гейл, с расстановкой.

— Угрожал ли он вам словесно, когда вы кричали и сопротивлялись?

— Он сказал, что убьет меня, если я не буду делать то, что он скажет.

Встал Пэкэтт:

— Прошу прощения, мне не слышно, что вы говорите.

Я повторила слово в слово:

— Он сказал, что убьет меня, если я не буду делать то, что он скажет.

Прошло немного времени, и я начала запинаться. Мастин с помощью наводящих вопросов подвел меня к тому, что было в тоннеле под амфитеатром.

— Что там произошло?

— Он приказал мне... чтобы... ну, в общем, я к этому моменту поняла, что ему от меня нужны не деньги.

Это было неудачное начало выступления, которому предстояло стать важнейшим в моей жизни. Я пыталась построить фразу, тут же сбивалась и начинала заново. Причем не по недомыслию. Нужно было произносить эти слова вслух — вот в чем загвоздка. Произносить, понимая, что от того, как я это скажу, зависит исход моего дела.

— ...Потом он заставил меня лечь на землю, снял брюки, остался в футболке и стал ощупывать мои груди, целовать их и прочее, одновременно заинтересовавшись тем, что я девственница. Он неоднократно спрашивал меня об этом. Потом полез рукой мне во влагалище...

Дышать становилось все труднее. Пристав, находясь рядом, смотрела на меня с тревогой.

Мастин не допустил, чтобы факт моей невинности остался незамеченным.

— Прервитесь на минуту, — сказал он. — Когда-либо до этого у вас были половые сношения?

Я смутилась:

— Нет, не было.

— Продолжайте, — сказал Мастин, возвращая меня к начатому рассказу.

Я говорила безостановочно почти пять минут. Описала нападение, минет, упомянула, как мне было холодно, подробно рассказала, как он забрал восемь долларов у меня из заднего кармана, о его прощальном поцелуе и об извинениях. О расставании.

— ...и он позвал: «Эй, крошка!» Я обернулась. «Тебя как звать-то?» Я ответила: «Элис».

Мастину требовалась конкретика. Он спросил, как был введен половой член. Сколько раз было осуществлено проникновение: один или более.

— Раз десять или около того, потому что он все пытался вставить, а эта штука вываливались. Это можно считать «проникновением», да? Извините, это и есть «введение полового члена»?

Похоже, моя неискушенность их смутила: Мастина, судью, женщину-пристава.

— Так или иначе, проникновение имело место?

— Да.

Снова вопросы об освещении. Предъявление фотографий. Снимки места преступления.

— Вы получили какие-либо телесные повреждения в результате нападения?

Я перечислила травмы.

— У вас шла кровь, когда вы покидали место нападения?

— Да, шла.

— Я предъявляю вам фотографии для опознания: номера тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и шестнадцать. Посмотрите на них, пожалуйста.

Он дал мне фотографии. Я не стала их долго разглядывать.

— Вы можете сказать, кто изображен на этих фотографиях?

— Могу, — сказала я, отодвигая их от себя на край барьера.

— Кто на них изо...

— Я.

Не дослушав вопрос, я заплакала. Сдерживая слезы, начинаешь хлюпать носом и только портишь впечатление.

— Воспроизводят ли эти фото в правдивой и достоверной форме ваш внешний вид после нападения на вас вечером восьмого мая тысяча девятьсот восемьдесят первого года?

— Я выглядела еще ужаснее, но это достоверные изображения.

Пристав подала мне стакан воды. Я потянулась за ним, но не удержала — стакан упал.

— Извините, — сказала я, заливаясь слезами.

У нее в руках была коробочка бумажных салфеток «клинекс»; я стала неловко вытирать ей лацкан.

— Вы отлично выступаете, — сказала мне железная женщина. — Дышите глубже.

Это напомнило мне слова санитарки, дежурившей в ночь изнасилования: «Отлично! По частям его расфасуем».

Мне повезло: люди меня всегда поддерживали.

— Вы готовы продолжать? — спросил меня судья. — Можно сделать небольшой перерыв.

— Я готова продолжать. — Откашлявшись, я утерла глаза.

Передо мной лежал мокрая, скомканная бумажная салфетка; не хотелось бы ей уподобиться.

— Можете сказать суду, во что вы были одеты в тот вечер?

— На мне были джинсы, голубая блузка рубашечного покроя и бежевая кофта толстой вязки, туфли-мокасины, нижнее белье.

Мастин, до этого стоявший у стола обвинения, теперь двинулся вперед с большим прозрачным пластиковым пакетом.

— Предъявляю вам пакет, который значится в материалах дела под номером восемнадцать. Посмотрите, пожалуйста, на содержимое пакета и скажите, знакомы ли вам эти предметы.

Он протянул мне пакет. Я не видела этой одежды с того злосчастного вечера. Содержимое пакета составляли плотно упакованные позаимствованные мною в тот день джинсы, мамина кофта-кардиган и блузка с воротничком. Я взяла у него мешок и прижала к бедру.

— Да.

— Что вы можете сказать о содержимом этого пакета?

— На вид это те джинсы, блузка рубашечного покроя и кардиган, которые были на мне. Не вижу белья, но...

— У вас под правой ладонью.

Я сдвинула руку в сторону. Белье было позаимствовано у мамы. Она любила телесный цвет, а я — белый. Трусы настолько пропитались кровью, что о настоящем цвете мне напомнил лишь один незамаренный кусочек.

— Да, это мое, — сказала я.

Суд учел этот пакет как вещественное доказательство.

Мастин подошел к концу событий того дня. Он установил, что я возвратилась в Пенсильванию, так и не сумев выбрать в картотеке Управления охраны общественного порядка фотографию своего обидчика. Далее мы перешли к событиям осени, предварительно установив дату моего возвращения к началу семестра.

— Теперь я прошу вас сосредоточиться на второй половине дня пятого октября. Помните события того дня?

— Да, помню одно конкретное событие.

— Находится ли сегодня здесь, в зале суда, человек, напавший на вас в Торден-парке?

— Да, находится.

Тут я сделала то, против чего меня предостерегали. Сосредоточила пристальный взгляд на лице Мэдисона. В течение нескольких секунд я не вспоминала ни о Гейл и Мастине, ни о суде.

— Вы можете сказать, где он сидит и во что одет? — донеслись до меня слова Мастина. Прежде чем я ответила, Мэдисон склонил голову.

— Он сидит рядом с мужчиной в коричневом галстуке; одет в костюм-тройку серого цвета, — сказала я.

Мне доставило мстительное удовольствие указать на безобразный галстук Пэкетта и одновременно описать Мэдисона не по цвету кожи, как кое-кто мог бы ожидать, а по

костюму.

— Попрошу внести в протокол, что потерпевшая опознала обвиняемого, — сказал Мастин.

В течение всего оставшегося допроса стороны обвинения я не отрывала глаз от Мэдисона дольше, чем на пару секунд. Я хотела вернуть отнятую жизнь.

События пятого октября Мастин выяснял долго. Мне пришлось описать Мэдисона: как он выглядел в тот день, что говорил. За это время он сам только раз поднял склоненную над столом голову. Встретив мой взгляд, Мэдисон отвернулся и стал смотреть в окно на городской пейзаж.

Не менее подробно Мастин расспросил, как выглядел патрульный Клэппер, где стоял. Видела ли я, как Мэдисон подходил к нему? Откуда, с какой стороны? Куда я направилась? Кому позвонила? Чем объясняется такой значительный промежуток времени между моментом встречи и звонком в полицию? Так-так, разрыв по времени объясняется тем, что я пошла на факультет предупредить лектора о своем вынужденном отсутствии? Естественно, сделала звонок родителям, чтобы поставить их в известность? Пыталась дожидаться провожатого? Напрашивался вывод: я сделала абсолютно все, что ожидается от порядочной девушки, пострадавшей от подонка обидчика.

Мастин ставил себе целью дезавуировать любые придирки Пэккетта при перекрестном допросе. Поэтому Клэппер и оказался такой важной фигурой. Если я узнала Клэппера, а он в свою очередь узнал Мэдисона, обвинение приобретало неопровержимый характер. Это было ключевым моментом идентификации, который Мастин ставил во главу угла. Ведь и Мастин, и Юбельхоэр, и Пэккетт, и Мэдисон, и даже я — все прекрасно знали, что дело буксует из-за моей ошибки при опознании.

Я заранее тщательно обдумала, как вести себя в суде. На этот раз я не стала разыгрывать самообладание, которого на самом деле у меня не было.

Мастин попросил уточнить, чем я руководствовалась, когда исключила четверых опознаваемых. Я обстоятельно разъяснила сходство между номерами четыре и пять; сказала, что сомневалась, делая отметку на бланке, но выбрала номер пять из-за того, что он все время на меня смотрел.

— Выбирая номер пять, вы были твердо уверены, что это он?

— Нет, не совсем.

— Почему же вы тогда поставили крестик в графе номер пять?

Это был самый трудный вопрос в моем деле.

— Я пометила эту графу потому, что была сильно испугана, а он на меня смотрел, и эти глаза оказались прямо передо мной, не то что в полицейских сериалах: тут стоишь прямо перед ним, на расстоянии вытянутой руки. Он смотрел на меня, вот я его и выбрала.

Я почувствовала, как судья Горман внутренне напрягся. Отвечая на вопросы Мастина, я смотрела на Гейл и пыталась думать о хорошем, представляя себе, например, как младенец плавает в ее утробе.

— А сейчас вы знаете, кто находился под пятым номером?

— Под пятым?

— Да, — подтвердил Мастин.

— Нет, не знаю, — ответила я.

— Вам известно, какое место в шеренге занимал обвиняемый в ходе процедуры опознания?

Если бы я вознамерилась говорить правду, то призналась бы, что поняла свою ошибку сразу, как только поставила крестик, и горько раскаялась. И еще: после этого вся обстановка в комнате для опознания, включая радостное облегчение на физиономии Пэккетта и мрачность детектива Лоренца, свидетельствовала о моей ошибке.

Если бы я вознамерилась говорить неправду, то есть сказала бы «нет, неизвестно», тогда суд поверил бы, что я действительно разрывалась между четвертым и пятым. «Настоящие двойники», — пожаловалась я тогда Трише, ожидавшей в коридоре. А у Лоренца первым делом спросила: «На самом деле это был четвертый?»

Я знала, что человек, совершивший насилие, сидит через проход от меня. На чаше весов было мое слово в противовес его слову.

— Вам известно, какое место в шеренге занимал обвиняемый в ходе процедуры опознания?

— Нет, неизвестно.

Судья Горман поднял руку. Он велел стенографистке зачитать последний вопрос Мастина и мой ответ.

Мастин спросил меня, имелись ли другие причины для моей нервозности и поспешности во время опознания.

— Адвокат ответчика прогнал... не допустил присутствия моего консультанта из Кризисного центра помощи жертвам насилия.

Пэккетт внес возражение. Он счел эти сведения не относящимися к делу.

Мастин продолжил. Расспросил меня о Кризисном центре, о Трише. Я познакомилась с ней именно в тот злополучный день. Мастин подчеркнул взаимосвязь всех этих фактов. Моя ошибка — одна-единственная — объяснялась, как он хотел показать, стечением обстоятельств. Он рассчитывал со всей определенностью показать, что эта оплошность не меняет дела, не перечеркивает ни события пятого октября, ни показания патрульного Клэппера.

— Вы абсолютно не сомневаетесь, мисс Сиболд, что человек, встреченный вами на Маршалл-стрит, и человек, совершивший нападение на вас в Торден-парке, — это одно и то же лицо?

— Абсолютно не сомневаюсь, — ответила я.

И действительно не сомневалась.

— На данный момент у меня все, ваша честь, — сказал Мастин, повернувшись к судье Горману.

Гейл подмигнула мне.

— Перерыв пять минут, — сказал судья Горман. — Предупреждаю, мисс Сиболд: вы не имеете права обсуждать свои показания с кем бы то ни было.

Именно к этому меня готовили: перерыв между допросом со стороны обвинения и перекрестным допросом. Я была вверена женщине-приставу. Она повела меня к выходу направо, а оттуда коротким коридором в небольшую совещательную комнату.

Пристав ко мне благоволила.

— Как у меня получилось? — спросила я.

— Вы присядьте, — сказала она.

Я села за стол.

— Не могли бы вы хотя бы дать мне знак? — спросила я, вдруг испугавшись, что комната прослушивается во избежание злоупотреблений. — Большой палец вверх или вниз?

— Обсуждать процесс не имею права. Осталось совсем немного.

Мы замолчали. Только теперь до меня донесся шум уличного движения. Давая показания, я не слышала ничего, кроме вопросов Мастина.

Пристав предложила мне жидковатый кофе в пластиковом стакане. Я обхватила теплый цилиндр ладонями.

В комнату вошел судья Горман.

— Приветствую, Элис, — сказал он, встав по другую сторону стола. — Как она, пристав?

— Неплохо.

— О процессе не говорили?

— Нет, — сказала пристав, — она у нас молчунья.

— Чем занимается ваш отец, Элис? — спросил судья.

Здесь он говорил более человечно, чем на заседании. Голос звучал мягче, но как-то настороженно.

— Преподает испанский язык и литературу в Пенсильванском университете, — сказала я.

— Не сомневаюсь, вы рады, что сегодня он здесь.

— Еще бы.

— У вас есть братья или сестры?

— Старшая сестра. Мэри, — добавила я, предвосхищая следующий вопрос.

Он походил и остановился у окна.

— Мне всегда уютно в этой комнате, — сказал он. — А Мэри чем занимается?

— Учится на арабском отделении, заканчивает «Пен», — сказала я, неожиданно обрадовавшись таким легким вопросам. — Ее как отличницу освободили от платы за обучение, а я даже не прошла туда по конкурсу, — призналась я и сделала попытку сострить: — Родители, наверное, теперь локти кусают, что отпустили меня в другой город.

— Это точно. — Сначала он примостился на батарее, а теперь поднялся и расправил мантию. — Ну ладно, вы еще посидите, скоро мы вас вызовем.

Горман вышел.

— Он хороший судья, — шепнула женщина-пристав.

В дверь заглянул пристав-мужчина.

— Мы готовы, — сказал он.

Его коллега загасила сигарету. Больше никто не проронил ни слова. Теперь я полностью собралась. Мой час настал.

Меня в очередной раз ожидало место для дачи показаний. Сделав глубокий вдох, я подняла глаза. Передо мной был враг. Такой пойдет на все, лишь бы выставить меня в неприглядном свете — как тупую да еще и рассеянную истеричку. Теперь Мэдисон мог беспрепятственно сверлить меня взглядом. Он бросил в бой своего человека. Я критически осмотрела адвоката, не упустив ни одной мелочи: щуплый, одет дурно, над верхней губой бусины пота. В чем-то — не отрицаю — он мог оказаться неплохим человеком, но сейчас я испытывала к нему безграничное презрение. Преступление совершил Мэдисон, но Пэккетт, взявшись представлять его в суде, оправдывал его злодеяния. Он казался мне злой силой природы, с которой я призвана бороться. Ненавидеть его не составляло труда.

— Мисс Сиболд, вы, насколько я помню, показали, что направились в Торден-парк

восьмого мая около полуночи. Вы это подтверждаете?

— Да.

— Ваш путь лежал от Уэсткотт-стрит?

— Да.

— Вы вошли в парк через какую-нибудь калитку, через ворота или как-то иначе?

— Там есть баня, перед ней тротуар, переходящий в выложенную кирпичом дорожку рядом с бассейном, и я пошла по этой кирпичной дорожке.

— Значит, баня примыкает к бассейну со стороны Уэсткотт-стрит?

— Да.

— Упомянутая вами дорожка проходит насквозь через центр парка, так?

— Да, так.

— И вы пошли по этой дорожке?

— Да.

— В своих показаниях вы сегодня утверждали, что вся территория была освещена и освещение было довольно хорошее.

— Да.

— Вы помните свои показания по этому делу на предварительном следствии?

— Да, помню.

Меня воротило от этих вопросов. Кто бы такого не помнил? Но я сдерживала свой сарказм.

— Помните, вы сказали, что все равно были включены какие-то фонари возле бани, но...

— Какая страница? — спросил Мастин.

— Материалы предварительного следствия, страница четыре.

— Это материалы предварительного следствия? — спросил Горман, беря со стола стопку бумаг.

— Да-да, — сказал Пэкетт.

— Четырнадцатая строка: «По-моему, между тропинкой и баней есть какие-то фонари. У меня за спиной было темно, но не до черноты».

Я помнила свою фразу «темно, но не до черноты».

— Да, это мои слова.

— Разве это означает то же самое, что «вся территория была освещена и освещение было довольно хорошее»?

Я поняла, к чему он ведет.

— Возможно, «вся территория была освещена» — более естественная фраза. Свет там был, и я видела то, что видела.

— Мой вопрос такой: было ли там темно, но не до черноты, как вы показали на предварительных слушаниях, или вся территория была освещена и освещение было довольно хорошим, как вы показали сегодня?

— Когда я сказала, что было хорошее освещение, я имела в виду хорошее по сравнению с темнотой.

— Допустим. Насколько далеко вы углубились в парк, прежде чем произошло первое домогательство?

— Я прошла мимо бани, мимо ворот и мимо ограждения бассейна, отошла примерно на три метра от ограждения, и тогда на меня напал этот человек.

— Сколько метров от входа в парк до той точки, которая, по вашему описанию, отстоит «на три метра от ограждения»?

— Метров семьдесят.

— Около семидесяти метров? Вы углубились в парк на семьдесят метров, когда произошло первое домогательство?

— Да.

— Тот человек подошел к вам сзади?

— Да, сзади.

— Схватил вас сзади?

— Да, схватил сзади.

— Вы сопротивлялись?

— Да, сопротивлялась.

— Эта борьба продолжалась долго?

— Да.

— Сколько примерно?

— Десять-пятнадцать минут.

— Потом наступил момент, когда нападавший переместил вас из той точки, где произошло первое домогательство, в другую часть парка. Правильно?

— Нет, не в другую часть парка. Просто оттащил подальше.

— Дальше в глубину парка?

— Нет, не в глубину парка: мы боролись перед входом в тоннель, а потом он затащил меня внутрь тоннеля.

— Не могли бы вы описать этот тоннель?

Вопросы были молниеносные и жесткие. Мне приходилось дышать чаще, чтобы поспевать с ответами. Я ничего не видела, кроме движущихся губ Пэкетта и капель пота у него под носом.

— Понимаете, я называю это место тоннелем, поскольку от кого-то слышала, что это тоннель, ведущий к амфитеатру. Насколько я понимаю, там вообще... в нем не пройти дальше чем на три метра. Это скорее грот с арочным входом. Сверху каменные своды, вход зарешечен.

— Как далеко вглубь уходит этот грот, от решетки до стены?

— Я бы сказала, на три-пять метров максимум.

— Максимум? — Он словно сделал выпад на фехтовальной дорожке. — Прошу вас посмотреть на материал номер четыре и ответить: вы узнаете это?

— Узнаю.

— Что это такое?

— Это дорожка, по которой он тащил меня в тоннель, а это решетка перед тоннелем и проход в ней.

— Значит, если смотреть на эту фотографию, он потащил вас по этой дорожке, так сказать, в глубь фото? Или я неверно излагаю?

— Тоннель находится за решеткой — вернее, грот находится за решеткой.

Его тактика была мне понятна. Решетка, тоннель, пулеметная очередь вопросов о том, откуда я шла и куда направлялась, на расстоянии скольких метров находилось то или другое. Он просто решил взять меня измором.

— Не могли бы вы указать мне какой-нибудь иной источник света или фонари уличного

освещения, которые видны на этой фотографии?

Расправив плечи, я внимательно осмотрела материал номер четыре. Приходилось медленно формулировать ответы, которые парировали бы каждый из его вопросов.

— Здесь я не вижу никаких уличных фонарей, но с правого края есть какой-то свет.

— Далеко на заднем плане?

— Да.

— Есть ли какие-то источники света, не запечатленные на фото?

— Да.

— Есть? — повторил он недоверчивым тоном, призванным показать: девчонка, право, не в своем уме. — Но на фотографию не попали? — Он посмотрел на судью, как будто мои слова могли его позабавить.

— На фотографии их нет, — сказала я. — Ведь эта территория не попала в кадр целиком.

На все, что недоговаривалось в его вопросах-инсинуациях, я старалась отвечать максимально четко и с полным самообладанием.

Он быстро подтолкнул ко мне еще одно фото.

— Это материал номер пять. Узнаете?

— Да, узнаю.

— Это территория, где вы подверглись нападению, не так ли?

— Да, верно.

— Есть ли какое-либо освещение на этом снимке, какие-либо источники искусственного освещения?

— Нет, я не вижу никаких искусственных источников освещения, но видимость была, и... должен же был гореть какой-то свет.

— Вопрос простой, — сказал он настойчиво, — видите ли вы какое-либо искусственное освещение? Разумеется, при полицейской съемке использовались осветительные приборы.

— Не вижу никаких искусственных источников света, — сказала я, — но на фотографии снят только камень, а в камне не может быть никакого света, — ответила я, подняв глаза на него и остальных в зале суда.

— Допустим, — скривился он. — Сколько примерно времени вы провели, по вашей оценке, в этой части парка?

— Я бы сказала, около часа.

— Около часа?

— Чуть больше.

— Прощу прощения, что вы сказали? — Он поднес руку к уху.

— Я сказала: час или около того.

— Час или около того? Сколько времени вы провели на дорожке, ведущей к месту, о котором мы говорим сейчас по поводу материала номер пять?

— На дорожке — около двух минут. Непосредственно перед гротом — около пятнадцати минут.

Я стремилась передать все точно.

— Хорошо. Значит, вы находились на дорожке около двух минут?

— Да.

— И снаружи грота, показанного на материале номер пять, около пятнадцати минут?

— Верно.

— А внутри грота немногим более часа?

— Верно.

Я была измотана, будто меня гоняли по залу пинками. Ход мысли этого человека, его логика были выше моего понимания — к чему он и стремился.

— Итак, я полагаю, вы видели этого человека еще раз в тот вечер? Мне кажется, вы показали, что видели, как он уходил по дорожке?

— Да.

— И это было на каком расстоянии от вас?

— Это было примерно в пятидесяти метрах от меня.

— Примерно в пятидесяти метрах от вас?

Меня раздражали бесконечные повторы моих слов.

Он хотел, чтобы я сбилась.

— Да.

— Примерно в пятидесяти метрах? Это верно? Половина длины футбольного поля?

— Да, я бы сказала, в пятидесяти метрах.

Этим я как бы забила свой гвоздь, но он его тотчас выдернул:

— Очков на вас в тот момент не было, верно?

— Да, не было.

— Когда вы потеряли свои очки?

— Когда я...

Ему не понравилось направление, по которому мог пойти мой ответ, поэтому он подсказал:

— Во время драки на дорожке, не так ли?

— Да.

— Значит, в течение первых двух минут этой потасовки вы потеряли очки?

Я хорошо помнила свой хронометраж:

— Во время борьбы, которая происходила за пределами садовой дорожки.

Он тоже ничего не забыл:

— Значит, вы находились две минуты на дорожке, а затем пятнадцать минут у решетки, снаружи, и именно в этот пятнадцатиминутный промежуток у вас упали очки?

— Да.

— Скажите, на дорожке вы боролись или он просто неким магическим образом переместил вас в пространстве?

От этих слов, «переместил вас в пространстве», сопровождаемых театральным движением вытянутых рук в сторону, меня охватила ярость. Чтобы куда-нибудь направить свое бешенство, я презрительно посмотрела на его туфли. Мне вспомнился совет Гейл: «Если собьешься или занервничаешь, попросту рассказывай, как было дело».

— Одной рукой он пригвоздил мне руки к бокам, а второй зажал мне рот, поэтому я практически не могла отбиваться и согласилась не кричать, а когда он убрал руку ото рта, я закричала, и вот тогда началась борьба.

— Вы все время находились в той первой точке, где вы остановились, или вас туда переместили?

Мы словно существовали в разных измерениях. Я продолжала выслушивать то, что было неоспоримой правдой, и отталкивалась от этого. А он использовал фразы вроде «где вы остановились», будто я действовала по своей воле, будто у меня был выбор.

— Я шла своими ногами, да.

— Он стоял позади вас, не так ли?

— Да, позади.

— Вы дали сегодня... довольно подробное описание. Вы показали, что находившийся там человек был ростом в метр шестьдесят — метр семьдесят, широкоплечий, невысокого роста, но очень мускулистый — и вы показали, что у него было что-то — не могу разобрать собственные записи — от...

— Боксерское, — сказала я.

— Приплюснутый нос?

— Да.

— Миндалевидные глаза?

— Да.

— Значит, согласно вашим показаниям, вы представили всю эту информацию полиции восьмого мая?

— Восьмого мая меня попросили воссоздать общий портрет по отдельным чертам.

— Представили ли вы полицейским, которые должны были вести розыск подозреваемого, сведения, сообщенные здесь сегодня?

— Повторите, пожалуйста.

— Представили ли вы полиции восьмого мая только что отмеченные мною сведения, которые дали в своих показаниях сегодня?

— Не помню, привела ли я все эти сведения. Привела большинство из них.

— Подписали ли вы восьмого мая заявление, излагающее вашу версию случившегося?

— Да, подписала.

— Не освежит ли вашу память, если я покажу вам заявление и дам возможность просмотреть его?

— Хорошо.

— Прошу рассматривать этот материал как вещественное доказательство в пользу моего подзащитного.

Пэкетт вручил один экземпляр мне, второй судье:

— Я предъявляю ваше заявление для того, чтобы вы его просмотрели, и обращаю ваше внимание на нижний абзац, в котором, по моему мнению, и содержится основное описание; а также для того, чтобы, изучив его, дали мне знать, что вы закончили ознакомление и тем самым освежили в памяти описание, данное вами в полицейском управлении восьмого мая тысяча девятьсот восемьдесят первого года.

Пока я просматривала записи, он специально говорил без умолку.

— Итак, вы получили возможность ознакомиться с заявлением?

— Да.

— Скажите, пожалуйста, что вы сообщили полиции восьмого мая?

— Я сказала: человек, напавший на меня в парке, — негр, возраст около шестнадцати — восемнадцати лет, рост ниже среднего, телосложение крепкое, вес около ста пятидесяти фунтов. Был одет в голубую футболку с длинными рукавами, джинсы темно-синие. Волосы короткие, африканского типа. В случае задержания намерена подать исковое заявление.

— Здесь ведь не упомянуты челюсти, приплюснутый нос или миндалевидные глаза, не так ли?

— Нет, не упомянуты, — ответила я.

Позднее ко мне пришло осознание. Если я не упоминала этих деталей, разве можно было составить полный словесный портрет? Почему полиция не записала все подробности? Когда мне продемонстрировали недостаточность моего заявления, я не могла даже подумать, что это чужая вина. Пэкетт в этом пункте победил.

— Итак, вы увидели этого... индивидуума вновь на Маршалл-стрит, и произошло это в октябре — верно?

— Да.

— Из ваших показаний я понял, что вам пришлось — поправьте меня, если я ошибаюсь, — сделать усилие, чтобы припомнить черты лица этого человека при воссоздании картины происшествия, это так?

— Да.

— А затем вы сделали вот что: вернулись к себе в общежитие и восстановили те черты, которые запомнились вам во время встречи на Маршалл-стрит. Верно?

— И во время нападения восьмого мая, — уточнила я и, предвосхищая его выпад, поспешила прибавить: — И я не могла бы узнать в нем мужчину, который меня изнасиловал, если бы это не был тот, кто меня изнасиловал.

— Повторите это, пожалуйста.

Я с радостью это сделала:

— Иными словами, я говорю, что выделила его на улице как насильника именно потому, что это и был тот самый мужчина, который меня изнасиловал. Я знала его приметы. Чтобы на него указать, мне нужно было прежде всего знать, как он выглядит.

— Вы находились на Маршалл-стрит и впервые в тот день увидели этого человека. Что он делал?

— Впервые я его увидела восьмого мая, а пятого октября — вторично.

Я заметила, что Гейл подалась вперед и внимательно слушает перекрестный допрос. При этом моем ответе она удовлетворенно откинулась на спинку стула.

— Я же ясно сказал: впервые в тот день. Я имел в виду...

— Не надо меня сбивать, — сказала я.

— Хорошо.

— Так вот, — начала я снова, — в первый раз я при виде его удостоверилась, что это он — то есть человек, который меня изнасиловал, — в тот момент, когда он, переходя через дорогу, сказал: «Эй, крошка, вроде мы с тобой знакомы?», а до этого я видела только его фигуру на другой стороне улицы, когда он разговаривал с каким-то мужчиной в переулке между барами «Уэйинн», «Джиноз» и «Джоз».

Я соблюдала максимальную точность. Сначала я заметила его фигуру со спины и лишь через несколько минут удостоверилась, что это он: когда он со мной заговорил и я разглядела его лицо.

— Он разговаривал с кем-то в переулке?

— Да.

— То есть на каком расстоянии от вас?

— В какой момент?

— В тот момент, когда вы остановились и увидели его.

— Я не останавливалась, я шла, когда увидела его, и... это же улица... он стоял на тротуаре, словом, на улице.

— Вы ему ничего не сказали?

— Нет. Я ему ничего не говорила.

— Он вам ничего не сказал?

— Он сказал: «Эй, крошка, вроде мы с тобой где-то встречались?»

Пэкетт вдруг пришел в возбуждение.

— Он так сказал? Вы утверждаете, что он сказал это тогда — или после того как вернулся из того переулка?

— Он не был в переулке, — сказала я.

Я хотела быть полностью уверенной в своих словах. Мне была непонятна причина такого возбуждения Пэкетта. И потом еще пятнадцать лет я не имела понятия, что защита утверждала, будто Мэдисон сказал «Эй, крошка, вроде мы с тобой где-то встречались?» в момент разговора с полицейским Клэппером. Я заколебалась. Пэкетт что-то замышлял, но я еще его не раскусила.

— В переулке стоял не он, а мужчина, с которым он беседовал. А эти слова он мне сказал в то время, когда я была на другой стороне улицы, возле Хантингтон-холла, и двигалась по направлению от университета. Обращаясь ко мне с этими словами, он пересекал улицу и двигался по направлению ко мне.

— Значит, тогда вы его увидели в тот день во второй раз?

— Да. Но тот раз был первым разом, когда я точно удостоверилась, что передо мной насильник.

— Столько событий, — протянул Пэкетт игривым тоном, будто я рассказывала, как повеселилась на ярмарке, и напридумывала невесть что. — Вы обратились в полицию и сделали заявление пятого октября?

— Да, это так.

— Это было сделанное под присягой заявление, скрепленное вашей подписью?

— Да.

— Вы попросили лейтенанта полиции указать, что это заявление полное, точное и законченное?

— Да, попросила.

— Вы сказали полиции пятого октября тысяча девятьсот восемьдесят первого года, что человек, увиденный вами на Маршалл-стрит, — это тот, кто вас изнасиловал, или вы сказали, что у вас такое ощущение, что это, возможно, он?

— Я сказала, что это человек, который меня изнасиловал восьмого мая.

— Вы уверены?

Он что-то подстраивал. Даже я это понимала. Мне лишь оставалось придерживаться своей версии, в которой он отыскивал изъяны.

— Да, уверена.

— Следовательно, если в заявлении содержатся иные сведения, они неверны?

Я шла вперед по минному полю.

— Да, неверны.

— Вы подписали это заявление, не так ли?

Он не торопился. Я смотрела ему прямо в глаза.

— Да, подписала.

— У вас была возможность прочитать его?

— Да, была.

— Полицейские просмотрели его вместе с вами, прежде чем вы поставили свою

подпись?

Это было нестерпимо.

— Они ничего не просматривали. Просто дали мне подписать.

— Как же их фамилии? — неодобрительно спросил он и сверился со своими записями.

Теперь у него был вид победителя.

— Вы проучились четырнадцать лет, — сказал он. — Читать умеете, проблем при чтении заявления не возникло и вы все поняли?

— Да, все поняла.

— Сегодняшнее показание заключается в следующем: вы были уверены, что это соответствует истине. Даже если в заявлении от пятого октября не говорится, что...

Мастин высказал возражение:

— Прошу придерживаться формулы «вопрос — ответ».

— Принято, — сказал Горман.

— Помните ли вы, — вновь начал Пэккетт, — как написали в своем заявлении: «У меня есть ощущение, что этот чернокожий мужчина...»

Мастин поднялся.

— Возражаю. Адвокат читает выдержки из заявления или использует заявление для подрыва доверия. Зачитывание заявления противоречит судебной практике, и на этом основании я возражаю...

— Зачитывать выдержки из заявления не возбраняется, — ответил Горман Мастину. — А вам, мистер Пэккетт, следует более четко сформулировать вопрос, например: «Помните ли вы свое утверждение, сделанное в полиции такого-то числа?» и только после этого зачитать выдержку. Прошу.

— Согласен, — ответил Пэккетт уже без прежнего апломба. — Помните ли вы свое утверждение, сделанное в полиции пятого октября?

— Да.

— Помните, как вы сказали полиции: «У меня есть ощущение, что этот чернокожий мужчина, возможно, тот человек, который изнасиловал меня в мае в Торден-парке»?

Теперь я поняла, на чем он играет.

— Я предпочла бы для большей уверенности взглянуть на заявление.

— Конечно, конечно. Прошу рассматривать этот материал в пользу моего подзащитного: заявление, сделанное Элис Сиболд пятого октября. А теперь попрошу вас просмотреть заявление и ответить, освежило ли оно в памяти данную в то время информацию.

Я пробежала глазами текст своего заявления, и мне все стало ясно.

— Ну да.

— Своим заявлением вы информировали полицию, что уверены...

Тут я его перебила. У меня появилась уверенность, что на последних минутах можно выиграть этот раунд.

— Я сказала, что в тот миг у меня было такое *ощущение*, потому что сначала я видела только его спину и жесты. Уверенность в том, что это был он, пришла ко мне во второй раз, когда я находилась на противоположной стороне улицы. Указанное *ощущение*, основанное на его фигуре и жестах, возникло у меня в первый момент, когда я увидела его со спины, но, поскольку тогда я не видела его лица, уверенности у меня еще не было. Увидев же его лицо, я уже не сомневалась, что это тот мужчина, который изнасиловал меня восьмого мая.

— Это заявление было сделано после того, как вы два раза увидели его на Маршалл-стрит, не так ли?

— Да, после того. Меня попросили изложить факты, причем в хронологическом порядке, что я и сделала.

— Следует ли понимать, что ваше заявление отражает переход от позиции «возможно» к позиции «является»?

— Нет.

— Спасибо.

Он сделал вид, что добился успеха. Ему хотелось изменить направление допроса, но на данном этапе он мог только мутить воду. «Ощущение», «уверенность», «возможно», «является» — разве все это не призвано было убедить суд, что я путаюсь в своих показаниях и потому не заслуживаю доверия?

— Кстати, — сказал он, делая новый заход, — в ноябре, во время процедуры опознания, находился ли в здании представитель Кризисного центра помощи жертвам изнасилования?

— Да.

— С вами провели консультацию перед опознанием?

— Консультацию?

— С вами провели беседу? Консультант был в пределах досягаемости?

— Да. Мне обеспечили сопровождение.

— Когда вы уходили с опознания, он все еще был с вами?

— Не он, а она.

— Она?

— Да, она.

— Вы разговаривали с ней и до процедуры опознания, и после, это так?

— Да.

— Присутствует ли сегодня в зале представитель Кризисного центра помощи жертвам изнасилования?

— Нет, сегодня не присутствует.

— Ни в зале заседаний, ни в здании суда?

— Нет.

Пэкетту не понравилось сделанное ранее Мاستином замечание о том, что его отказ допустить Тришу на опознание подорвал правомочность следственной процедуры.

— Процедура опознания состоялась, не так ли?

— Состоялась.

— Видимо, она была проведена четвертого ноября?

— Да.

— Вы помните, что там находился дознаватель Лоренц?

— Помню.

— Вы узнали его по прежней встрече?

— Да.

— По какой прежней встрече вы его узнали?

— Он принимал мое заявление восьмого мая.

— Он говорил вам, что подвергает сомнению ваше заявление, датированное восьмым мая?

Я и бровью не повела. Ни Гейл, ни Мастин никогда не упоминали, что Лоренц вначале

сомневался в моей правдивости.

— Нет, не говорил.

— Вы не помните, давал ли он вам какие-либо советы, когда вы вошли в зал опознания?

— Он сказал, что я должна посмотреть на тех пятерых мужчин и отметить крестиком в соответствующей графе номер того, о ком идет речь.

— Помните ли вы, кто еще присутствовал в зале опознания?

Я мысленно вернулась в это помещение, припоминая фигуры тех, кто там находился.

— Присутствовали миз Юбельхоэр, далее, стенографистка суда или стенографистка опознания — не знаю, как называется эта должность, и еще какой-то мужчина там сидел и чем-то занимался. Ну и я, конечно.

— А вы припоминаете?..

— Ах да, еще вы.

Тон его вдруг резко изменился. Стал отеческим, заботливым. Я на это не поддавалась.

— Помните, как дознаватель Лоренц советовал вам не спешить, тщательно осмотреть шеренгу и свободно перемещаться вдоль нее?

— Да, это я помню.

— Помните, как я попросил дознавателя объяснить вам, как...

— Простите?

— Вы помните, как я попросил дознавателя объяснить вам процедуру?

Улыбка его стала чуть ли не благожелательной.

— Что это сделали лично вы — не помню.

— Но вы помните его объяснения?

— Помню, что кто-то мне объяснил, как это делается.

— Но тем не менее, — сказал он уже без улыбки, — вы ведь встали и прошлись по комнате?

— Да.

— Более того, вы дали участникам опознания команду совершить конкретное движение — если не ошибаюсь, поворот головы влево. Помните это?

— Помню.

— Дознаватель приказывал: «Номер один, поворот налево!» — помните это?

Все это он вытягивал из меня клещами — отрабатывал свой номер.

— Да.

— Что вы сделали после этого? Что было дальше?

— Я довела отсчет до четвертого и пятого и выбрала пятого, потому что он на меня смотрел.

— Вами был выбран номер пять?

— Да, я поставила крестик в графе с пятым номером.

Это я повторяла тысячу раз: так оно и было.

— Вы поставили под этим свою подпись?

— Да, поставила.

— Поделились ли вы словесно с кем-либо из находившихся в зале своими сомнениями по поводу того, что это был номер пять?

— В зале я не сказала ни слова.

— Было ли вам известно, что, отмечая номер пять, вы тем самым указываете на причастность или возможную причастность данного лица к делу об изнасиловании?

— Да.

Моим оплошностям не было конца.

— Итак, лишь покинув помещение, вы осознали, что вам не следовало выбирать пятый номер?

— Я подошла к своему консультанту из Кризисного центра и сказала, что четвертый и пятый похожи, как близнецы. Действительно, я это сделала.

— А до этого вы никому не говорили того же?

— Я это сделала в зале, а до этого я их не видела и не могла ничего сказать.

Он не стал уточнять. Я-то имела в виду конференц-зал, а не зал опознания.

— Вы выбрали номер пять?

— Да, номер пять.

— Полагаю, суть вашего заявления состоит в том, что восьмого мая вы подверглись изнасилованию?

— Да.

— И вы не видели виновника до встречи на Маршалл-стрит?

— Не видела, вплоть до пятого октября.

— Затем вы увидели его на Маршалл-стрит?

— Да.

— В непосредственной близости находился полицейский, не так ли?

— Да.

— Вы подошли к этому полицейскому?

— Нет, я не подходила к этому полицейскому.

— Вы направились к ближайшему таксофону и позвонили в полицию?

— Я пошла на филологический факультет, чтобы отпроситься с занятий, и позвонила маме.

— Вот как? Вы позвонили маме?

В его тоне сквозила издевка. Мне вспомнились предварительные слушания, когда его коллега Меджесто смаковал слова «джинсы „Кельвин Кляйн“». Моя мама, мои джинсы «Кельвин Кляйн». Вот что вменялось мне в вину.

— Да.

— Затем вы обратились к профессору?

— Я позвонила маме, а потом позвонила знакомым, чтобы кто-нибудь проводил меня до общежития. Мне было очень страшно, но я знала, что по расписанию у меня семинар. Я никому не дозвонилась. Тогда я поднялась к профессору и объяснила, почему не могу присутствовать. Отпросилась у него, пошла в библиотеку, чтобы найти там себе провожатого из числа моих знакомых, чтобы он довел меня до общежития и поехал со мной в полицию, а потом пришла в общежитие и позвонила одному знакомому художнику, чтобы он помог мне нарисовать портрет, но он мне не помог. Тогда я вызвала полицию; одновременно с полицейскими прибыли сотрудники службы безопасности Сиракьюсского университета.

— Вы не обратились в службу безопасности, чтобы вас сопроводили домой?

Я расплакалась. В чем еще я виновата?

— Простите, — извинилась я за свои слезы. — Туда можно обращаться после пяти или в ночные часы.

Я поискала глазами Гейл и увидела, что она внимательно смотрит на меня. *Уже почти все*, говорили ее глаза. *Держись*.

— Сколько времени прошло с того момента, как вы увидели его на Маршалл-стрит?

— Сорок пять — пятьдесят минут.

— Сорок пять — пятьдесят минут?

— Да.

— Скажите, с того момента по сегодняшний день вы не опознали мистера Мэдисона, верно?

— То есть опознала ли я его в вашем присутствии?

— Опознали ли вы его в ходе официальной процедуры как лицо, совершившее над вами акт насилия?

— В ходе официальной процедуры — нет, но сегодня опознала.

— Сегодня вы его опознали. Скольких чернокожих вы видите в этом зале?

Опасаясь подвоха, я проявила излишнюю поспешность. Истолковала его вопрос как «*Скольких еще чернокожих помимо ответчика вы видите в этом зале?*» И ответила:

— Ни одного.

Он хохотнул, с улыбкой повернулся к судье, а потом махнул рукой в сторону Мэдисона, сидящего со скучающим видом.

— Не видите ни одного? — с нажимом повторил Пэккетт, словно говоря: «Ну и тупица!»

— Я вижу в зале одного чернокожего помимо... помимо остальных присутствующих.

Он торжествующе осклабился. Мэдисон тоже. Почва уходила у меня из-под ног. Мне в вину ставился еще и цвет кожи насильника, и недостаточный процент представительства его расы в правоохранительных структурах города Сиракьюс, и даже отсутствие других чернокожих в зале суда.

— Помните, как вы давали показания об опознании перед большим жюри?

— Да, помню.

— Это было четвертого ноября, в тот же день, что и опознание?

— Да.

— Вы помните — смотрим шестнадцатую страницу протокола заседания большого жюри, десятая строка — «*Какой номер вы отметили при опознании? Уверены ли вы, что это был именно тот человек?*» — «*Номер пять. Нет, полной уверенности у меня нет. Я колебалась между четвертым и пятым, но выбрала пятого, потому что он все время на меня смотрел*». Далее тот же присяжный спрашивает: «*Вы хотите сказать, у вас нет стопроцентной уверенности?*» — «*Да, верно*». — «*Значит, это номер пять?*» — «*Да, верно*». Иными словами, четвертого ноября у вас не было полной уверенности?

И опять я не понимала, что у него на уме. Я совершенно растерялась.

— В чем? В том, что номер пять — это правильный выбор? Ну да, я не была уверена, что номер пять — это правильный выбор.

— Вы, конечно же, не были также уверены и в том, что правильный выбор — это номер четыре, поскольку вы его не выбрали?

— Он на меня не смотрел. А я была очень испугана.

— Он на вас не смотрел?

Каждый слог его вопроса источал безжалостный сарказм.

— Не смотрел.

— Заметили ли вы какие-либо особые приметы у человека, который домогался вас восьмого мая, что-нибудь такое, о чем вы еще не сообщили суду: черты лица, шрамы, отметины и тому подобное — лицо, зубы, ногти, руки или что-то еще?

— Нет, ничего особенного.

Мне хотелось только одного — чтобы это скорей закончилось.

— Вы сказали, что, войдя в парк, посмотрели на свои наручные часы, это так?

— Да.

— Который был час?

— Двенадцать.

— А придя в общежитие, вы тоже посмотрели на часы?

— Нет, не посмотрела. Но я... очень хорошо знала, который час, потому что вокруг были полицейские... но, возможно, и на часы посмотрела: когда я добралась до общежития, было два пятнадцать.

— Когда вы добрались до общежития, было два пятнадцать? После вашего возвращения в общежитие была вызвана полиция?

— Да.

— Когда вы вернулись в общежитие в два пятнадцать, полиция еще не была вызвана?

— Верно.

— Полиция приехала через какое-то время?

— Да. Сразу же после того, как я вернулась в общежитие.

Он меня окончательно измотал. Впечатление было гнетущим: как я ни старалась, последнее слово всякий раз оставалось за ним.

— Продолжим. Согласно вашему официальному заявлению, тот человек вас целовал; это правда?

— Да.

— Один раз, дважды или много раз?

Я хорошо видела Пэккетта. За его спиной сидел Мэдисон, который оживился, услышав такой вопрос. Эти двое могли взять меня голыми руками.

— Раз или два — стоя, а потом, когда он повалил меня на землю, еще несколько раз. Да, он меня целовал.

У меня по щекам катились слезы; губы дрожали. Осушить глаза не было никакой возможности — бумажный носовой платок насквозь пропитался потом.

Пэккетт знал, что сломил меня, и тем удовлетворился. А слезы — это уже был явный перебор.

— Позвольте мне на минутку прерваться, ваша честь.

— Не возражаю, — сказал Горман.

У стола защиты Пэккетт посоветовался с Мэдисоном, полистал свой желтый адвокатский блокнот, перебрал папки.

Подняв голову, он обратился к судье:

— У меня все.

Мне сразу стало легче. Но тут поднялся Мастин:

— Позвольте пару вопросов, если суд не возражает.

Я устала, но не сомневалась, что Мастин по мере возможности будет обращаться со мной деликатно. Голос у него звучал жестко; тем не менее я ему доверяла.

Мастин задался целью пропахать территорию Пэккетта и отметить уязвимые места. Он вкратце остановился на пяти пунктах. Во-первых, выяснил, в котором часу я давала показания после изнасилования и ощущала ли усталость. Велел перечислить все без исключения процедуры, которым меня подвергли, и уточнил, как долго я оставалась без сна.

Вслед за тем он перешел к моему заявлению от пятого октября, которое так смаковал Пэккетт, упивавшийся разницей между *ощущением* и *уверенностью*. Мастин умело подчеркнул, что, как я и сказала, эти два понятия фигурируют в моем заявлении в хронологическом порядке. Сначала я увидела ответчика со спины, и у меня возникло *ощущение*, что это он. Позже я увидела его лицо, и у меня появилась *уверенность*.

Далее был вопрос, пришел ли кто-нибудь со мной на это заседание. Мастину хотелось довести до общего сведения, что я отказалась от услуг Кризисного центра, поскольку меня сопровождал отец.

— Да, меня ждет папа, — сказала я.

И сама с трудом в это поверила. За дверью, где-то в середине длинного коридора, сидел мой отец и читал по-латыни. Я выбросила его из головы, как только вошла в зал судебных заседаний. Иначе не могла.

Потом Мастин спросил, как долго я лежала под Мэдисоном в тоннеле и на каком расстоянии от меня было его лицо.

— На расстоянии одного сантиметра, — ответила я.

А под конец он задал неприятный для меня вопрос, которого, впрочем, можно было ожидать, учитывая позицию Пэккетта.

— Не могли бы вы дать судье представление о том, скольких молодых людей черной расы вы обычно встречаете за один день в транспорте, на занятиях, в общежитии или просто городе?

Пэккетт попытался отвести вопрос, и я знала почему. Его аргументация оказалась под угрозой.

— Возражение отклоняется, — сказал Горман.

Я сказала: «Очень много», и Мастин попросил меня дать ответ в цифрах:

— Больше пятидесяти или меньше?

Больше, ответила я. Эта тема мне претила: даже знакомых студентов я никогда не делила по расовому признаку, не разносила в столбцы и не подсчитывала процентное соотношение. Не в первый, но и не в последний раз я пожалела, что насильник не оказался белым.

У Мастина больше вопросов не было.

Поднялся Пэккетт, по настоянию которого я должна была повторить один ответ. Он хотел, чтобы я повторила расстояние от лица Мэдисона до моего во время самого акта насилия. Я повторила: один сантиметр. Позднее он попытался использовать мой уверенный ответ против меня. Процитировал эту цифру в последнем заявлении как свидетельство того, что меня нельзя считать заслуживающим доверия свидетелем.

— Попрошу без повторных вопросов, — сказал Мастин.

— Можете быть свободны, — обратился ко мне судья Горман, и я встала.

Ноги подкашивались, а юбка, чулки и комбинация намокли от пота. Пристав-мужчина уже ждал, выйдя на середину зала.

Он вывел меня в коридор.

Мэрфи, сидевший поодаль, заметил нас первым и помог отцу собрать книги. Пристав посмотрел на меня.

— Тридцать лет я на этой работе, — сказал он. — Лучше вас свидетеля в деле по изнасилованию не встречал.

Этот миг запомнился мне на долгие годы.

Пристав вернулся в зал.

Мэрфи стал меня поторапливать.

— Нам нужно убираться от двери, — сказал он. — Вот-вот объявят перерыв на обед.

— Как ты, ничего? — спросил папа.

— Прекрасно, — сказала я, не узнавая в нем отца.

Это был просто один из присутствующих, такой же, как и все остальные. Меня трясло, я не могла идти. Мы втроем — Мэрфи, отец и я — вернулись все к той же скамье.

Мне что-то говорили. Слов не помню. Все кончилось.

Из зала выплыла Гейл и направилась к нам. Повернувшись к моему отцу, она сказала:

— Ваша дочь — отличный свидетель, Бад.

— Спасибо, — ответил отец.

— Я ничего держалась, Гейл? — спросила я. — Ужасно волновалась. Он здорово подличал.

— Это его работа, — сказала Гейл. — Но ты выдержала. Я следила за судьей.

— И какой у него был вид? — спросила я.

— У судьи? Изможденный, — ответила она с улыбкой. — Да и Билли по-настоящему выдохся. Дорого бы я дала, чтобы быть на его месте. У нас сейчас перерыв до двух, а потом очередь врача. Еще одна беременная дама!

Прямо эстафетный бег, подумала я. Мой этап оказался тяжелым и длительным, но предстоят и другие: новые вопросы и ответы, новые важные свидетели и еще много часов рабочего дня Гейл.

— Если я что-нибудь узнаю, передам через нашего детектива, — сказала она, повернувшись ко мне, а потом протянула руку отцу. — Рада была знакомству, Бад. Вы можете гордиться дочерью.

— Надеюсь, в следующий раз мы с вами встретимся в более приятной обстановке, — сказал он.

До него только теперь дошло, что мы уходим.

Гейл обняла меня. Я никогда раньше не обнималась с беременной женщиной, и мне показалось неловким, чуть ли не манерным, это соприкосновение на уровне плечевого пояса.

— Ты невероятная молодчина, детка, — тихо сказала она.

Мэрфи опять доставил нас в отель «Сиракузы», где мы упаковали вещи. Кажется, я даже поспала. Отец позвонил маме. Совершенно не помню тот промежуток времени. До этого я была как натянутая пружина, а теперь расслабилась. Пока мы в ожидании Мэрфи, который должен был заехать за нами под вечер, аккуратно расправляли и складывали одежду, я вспомнила, что процесс по моему делу еще продолжается. Мы с отцом сидели на краешках одинаковых кроватей. Нашим общим невыразимым желанием было поскорее убраться из города Сиракьюс. Помочь в этом мог только самолет, и нам не терпелось его дожидаться.

Мэрфи приехал заблаговременно. Он привез нам известие.

— Гейл сама хотела сообщить вам об этом, но не смогла вырваться, — сказал он.

Мы с отцом уже стояли на ковре в вестибюле, а рядом был наготове наш багаж: красные чемоданы фирмы «Америкэн туристер».

— Его «закрыли»! — радостно выпалил Мэрфи. — Виновен по шести пунктам. Определен под стражу!

У меня потемнело в глазах, ноги стали ватными.

— Хвала Господу, — сказал отец.

Он произнес это тихо, словно в благодарность за услышанные молитвы.

В машине Мэрфи говорил без умолку. Его просто распирало от радости. Я сидела на заднем сиденье, отец — впереди, рядом с Мэрфи. Ладони у меня стали холодными и липкими. Хорошо помню, как они неподвижно, бесполезно лежали по обе стороны от меня на сиденье.

В аэропорту я отошла от отца и Мэрфи, сидевших в буфете, и позвонила маме по таксофону. Мэрфи тем временем заказал для отца какой-то напиток.

Торопливо набрав домашний номер, я ждала ответа.

— Алло, — отозвалась мама.

— Мам, это Элис. У меня есть новости.

Я отвернулась к стене и прикрыла трубку обеими ладонями.

— Мы победили, мамочка, — сказала я. — По всем шести пунктам, кроме оружия. Он определен под стражу.

Я смутно представляла, что значит «определен под стражу», но именно так и выразилась.

Маминому восторгу не было границ. Она носилась по нашему дому в Паоли и кричала вновь и вновь, не в силах сдерживаться: «Она победила! Победила! Она сделала это!»

Я сделала это.

Мэрфи и отец вышли из бара. Скоро должна была начаться посадка на наш рейс. Я выяснила, что такое «определен под стражу». Это означало, что Мэдисона не выпустят на период между оглашением обвинительного заключения и вынесением приговора. На него надели наручники прямо в зале суда, как только было зачитано обвинение. Мэрфи сиял.

— Эх, жаль, я не видел его морду!

Для Джона Мэрфи это был долгий, но счастливый день, и, как поведал мне в самолете отец, он крепко выпил. У кого бы повернулся язык его упрекнуть? Он ликовал и предвкушал свидание со своей Элис.

А мной овладела полная опустошенность. Прошло немало времени, прежде чем я поняла: меня тоже в каком-то смысле определили под стражу. На длительный срок.

Второго июня я получила письмо от Отдела условного осуждения и надзора округа Онондага. Мне сообщили, что «в настоящее время проводятся следственные действия, необходимые для вынесения приговора лицу, признанному виновным по статьям „изнасилование первой степени“, „изнасилование в извращенной форме первой степени“, а также по ряду смежных статей. Обвинения по указанным статьям, — говорилось далее, — были предъявлены в результате судебного разбирательства инцидента, в котором Вы являлись потерпевшей». Письмо заканчивалось вопросом: есть ли у меня пожелания относительно приговора?

Мой ответ не заставил себя долго ждать. Я рекомендовала наказание по всей строгости закона и процитировала слова Мэдисона, назвавшего меня «грязной сукой». Мне было известно, что в тот год, согласно опросам общественного мнения, Сиракьюс был признан седьмым в стране среди самых благоприятных для проживания городов, поэтому я написала, что присутствие на городских улицах таких лиц, как Мэдисон, вряд ли укрепит высокую репутацию города. Чтобы быть услышанной, мне, как я понимала, следовало нажимать на

то, что вынесение сурового приговора будет благим делом. Тогда получится, что служители закона действуют как бы не в моих интересах, а в интересах своих избирателей, которые, собственно, и платят им жалованье. Все мои способности пошли в ход.

Письмо я подписала своим полным именем, а ниже для официальности добавила: потерпевшая.

Тринадцатого июля тысяча девятьсот восемьдесят второго года суд под председательством Гормана, в присутствии Мастина, Пэкетта и обвиняемого, вынес обвинительное заключение Грегори Мэдисону. За изнасилование и изнасилование в извращенной форме полагался самый большой срок: от восьми лет четырех месяцев до двадцати пяти лет. Сроки меньшей длительности, назначенные по другим обвинениям, поглощались максимальным сроком.

Мне сообщил это по телефону Мастин. Еще он сказал, что Гейл родила. Мы с мамой отправились покупать подарок. Через пятнадцать лет я снова увиделась с Гейл, и она показала мне тот самый подарок, который сохранила на память.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Тем летом началась мое перерождение. Да, надо мной совершили насилие, но я ведь выросла на журналах «Севентин», «Гламур», «Вог». У меня в сознании прочно засели представления о том, какие возможности открываются «до того» и «после того». Вдобавок окружающие — точнее, мама, так как сестра работала в Вашингтоне перед командировкой в Сирию, а отец был в Испании — убеждали меня двигаться вперед.

— Ты же не хочешь, чтобы тебя всю жизнь воспринимали сквозь призму этого проклятого изнасилования, — сказала мама, и я согласилась.

Я устроилась на работу в захудалую лавку, торговавшую футболками, и вкалывала там в полном одиночестве. В чердачном помещении без вентиляции я своими руками делала трафареты и штамповала символику местных команд на спортивной форме. Мой босс, которому было двадцать три года, в основном носился по городу в поисках заказов. Напиваясь, он заваливался в магазинчик с толпой приятелей, чтобы посмотреть телевизор. Я в то время шила себе одежду необъятных размеров — мама говорила про мои балахоны: «чехлы на танк». Даже в жару, которая обрушилась на город в июне-июле восемьдесят второго, я ходила только в них. Однажды, когда мой хозяин и его дружки стали куражиться, требуя открыть хоть кусочек тела, я развернулась и ушла. Перепачканная краской, села в отцовскую машину и уехала домой.

Тогда мы с мамой были одни, как и в то лето, когда мне исполнилось пятнадцать. Я подыскивала себе другую работу. В дневнике у меня сохранилось много записей о беседах в обувных магазинах, о заявлениях, поданных в отделы канцелярских товаров, но в разгар лета вакансий почти не было. Мама пыталась сбросить вес. Я решила составить ей компанию. Мы смотрели фитнес-программу популярного актера Ричарда Симмонса, энтузиаста аэробики, и даже купили велотренажер. В памяти у меня осталась знаменитая Скардейльская диета:^[11] с утра до вечера мы давились небольшими порциями говядины и курицы. «На эту диету никаких денег не хватит», — сетовала мама. Никогда в жизни мы не поглощали столько мяса.

Как бы то ни было, я начала сбрасывать вес. С утра пораньше я усаживалась перед телевизором и смотрела, как тучные дамы плачут вместе с Симмонсом; таким способом в студии нагнеталось что-то вроде слезного поля. Я тоже нет-нет да и пускала слезу. Не потому что считала себя такой же толстой, как женщины на экране, а потому что в точности знала, какими уродинами они себя ощущают. Хотя моя фигура не вызывала насмешек прохожих, а живот не мешал рассматривать шнурки туфель, я чувствовала полное единение с гостями Симмонса. Это были отверженные представительницы рода человеческого, которые никому не причинили зла.

Потому я и плакала. И без конца крутила педали. Мое тело было мне ненавистно. Благодаря этой ненависти я сбросила пятнадцать фунтов.

Как-то в конце лета, после возвращения отца из Испании, мы втроем занимались садовыми работами на заднем дворе. Мне велели сесть на маленький трактор-косилку и подстричь траву. И тут разразился типичный сиболдовский скандал. «Не хочу», «не буду» и так далее. С какой стати Мэри умотала в Вашингтон, а потом поедет в Сирию? Отец назвал меня неблагодарной. И пошло-поехало. Все, как водится, стали друг на друга орать, и вдруг я разрыдалась. Да так, что не могла остановиться. Побежала наверх, к себе в комнату. Все мои

попытки унять слезы оказались тщетными. Я плакала до изнеможения, до иссушения, отчего глаза и веки подернулись мелкой сеткой лопнувших сосудов.

Я не любила вспоминать тот случай; просто мне не удавалось разом вычеркнуть из памяти изнасилование и судебный процесс.

Все лето мы с Лайлой переписывались. Она тоже сидела на диете. Наши письма больше напоминали страницы из дневников: длинные, задумчивые пассажи, написанные не столько для того, чтобы пообщаться, сколько для того, чтобы порассуждать о себе. Нам, девятнадцатилетним, застрявшим дома с родителями, было душно и тоскливо. В этих сумбурных письмах мы рассказывали друг другу истории своей жизни. Рассказывали о своем отношении к окружающим, от родственников до мальчиков из класса. Не помню, писала ли я ей подробно о судебном процессе. Если даже писала, то в ее ответах это никак не отразилось. В начале лета мне пришла от нее открытка с поздравлениями. Больше ничего. Те события исчезли с нашего горизонта.

Да и почти для всех других эта тема была закрыта. Процесс, казалось, стал надежной, тяжелой дверью, за которой осталось прошлое. Все, кто раньше входил со мной в эту дверь, бродил по коридорам или оглядывал комнаты, теперь с радостью унесли ноги. Дверь захлопнулась. Помню, мама совершенно справедливо сказала, что за год я пережила смерть и новое рождение. Из жертвы стала победительницей. Теперь у меня под ногами была новая площадка, и я могла взять старт по своему усмотрению.

Я, Лайла и Сью по переписке строили планы на новый учебный год. Лайла собиралась привезти с собой крошечного котенка от их домашней кошки. Мы с мамой вступили в сговор: если я буду усиленно скакать на диване, который она терпеть не могла, то мы, может быть, убедим отца, когда он вернется из Испании, что эту рухлядь нужно увезти ко мне на съемную квартиру. Я скооперировалась со Сью, которая жила неподалеку, и мы взяли напрокат грузовичок. Мама на радостях накупила мне с собой ворох новой одежды по моей новой фигуре. Этот год должен был стать поворотным. Как я говорила, «теперь буду жить нормальной жизнью».

Той осенью Мэри-Элис уехала в Лондон по студенческому обмену. И другие наши девчонки — тоже. Тэсс была в отпуске. Нельзя сказать, что я сильно скучала. У меня была задушевная подруга — Лайла. Мы стали неразлучны и строили безумные планы. Ни у одной не было постоянного парня. Я играла роль опытной наставницы при неискушенной девушке. За лето я сшила нам однотипные юбки, и мы носили их не снимая с чем-нибудь черным.

Кен Чайлдс в отсутствие Кейси, тоже уехавшего в Лондон, ходил как в воду опущенный, и мы стали водить компанию с ним. Мне он нравился, а главное — он уже знал обо мне. Мы втроем ходили на танцы в студенческие клубы и на тусовки студентов художественного цикла. Теперь я решила стать юристом. Людям нравилось слушать о таких честолюбивых помыслах, и я трепалась о них направо и налево. Под влиянием Тэсс у меня возникло желание посетить Ирландию; об этом я тоже любила поговорить. Я ходила на чтения поэзии и прозы; не пропускала ни одного фуршета. В университете выбрала поэтический спецкурс Хейдена Каррута и еще один спецкурс, который читал Раймонд Карвер — ему, по всей видимости, Тэсс поручила меня опекать.

Как-то я столкнулась на улице с Марией Флорес. В начале лета я отправила ей ликующее письмо о судебном процессе. Написала, что в зале суда ощущала рядом с собой ее присутствие, и выразила надежду, что это принесет ей хоть какое-то утешение. Ее ответ,

честно говоря, показался мне слишком приземленным: «У меня на ноге металлическая шина. Колено зажило, и я могу ходить, но с палочкой, так как поврежден нерв. Суицидные наклонности уменьшились, но, честно говоря, не прошли». Она также выразила опасение, что из-за палочки ей будет неловко встречаться с людьми, и покаялась, что не завершила работу куратора в общежитии. Письмо завершалось цитатой из арабского поэта Халиля Джибрана:^[12] «Все мы узники, но у одних камеры с окнами, а у других — без».

До меня это дошло только через многие годы, но если у одной из нас и было окно, то, конечно, у Марии.

— Я еще легко отделалась, — сказала я, помню, Лайле. — А она вечно будет жить под гнетом того насилия.

На танцах я влюбилась. Это был Стив Шерман — они с Лайлой были на одном потоке по математике. Мы сходили с ним в кино и надрались в баре, после чего я рассказала ему о себе всю правду. Помню, он оказался на высоте: выразил потрясение и ужас, потом от души посочувствовал и стал утешать. Нашел подходящие слова. Уверил меня, что я красавица, проводил и поцеловал в щечку. По-моему, ему нравилось меня опекать. К Рождеству он стал своим человеком в нашей квартире.

Между тем моя мама тоже переживала подъем. Она пробовала новые лекарства: элавил и ксанакс, плюс биоритмическую терапию, о чем раньше и не помышляла. Да и групповая терапия, похоже, была уже не за горами. «Ты меня вдохновляешь, дочка! — писала она. — Раз уж ты сумела пройти через все и выкарабкаться, думаю, что и эта большая девочка тоже сможет».

Мне удалось достичь некоей положительной базовой отметки; мир открывался передо мной заново.

Я сотрудничала с литературным журналом «Ревью», и на выпускном курсе меня избрали редактором. Мало этого: английское отделение выдвинуло меня на Глэскокский конкурс поэзии, который ежегодно проходил в колледже «Маунт-Холиоук».

Много лет назад моя мать бежала из «Маунт-Холиоук», где ей предложили аспирантуру. Она вспоминает, что ей это показалось смертным приговором. Все ее подруги повыходили замуж, а она, синий чулок, видела впереди только царство «монашек и лесбиянок».

Поэтому я поехала на конкурс с намерением победить ради мамы и со сцены заклеить изнасилование. Победить у меня не вышло. Заняла только второе место. Я читала «Заключение» При чтении этой гневной исповеди меня буквально трясло. Диана Вакоски,^[13] заседавшая в жюри, отвела меня в сторону и сказала, что поэзия не чурается таких тем, как изнасилование, но они не приносят ни наград, ни читательского успеха.

Мы с Лайлой обожали высмеивать дурацкие фильмы, и вскоре после моего возвращения с конкурса решили посмотреть «Первую кровь», с Сильвестром Сталлоне. Фильм крутили в дешевой киношке недалеко от нашего дома. Следя за карикатурным сюжетом, мы давились от хохота и отчаянно фыркали; глаза затуманились от слез, дыхание застревало в горле. Надумай кто-нибудь из публики пожаловаться билетеру, нас бы выставили за дверь, да только в этом обшарпанном зале, кроме нас двоих, не было ни души.

— Моя Рэмбо, твоя Джейн, — била себя в грудь Лайла.

— Моя хорошо мускул, твоя девочка мускул.

— Р-р-р.

— Ти-хи.

Перед самым концом фильма кто-то довольно громко откашлялся. Лайла и я замерли,

но продолжали смотреть на экран.

— Я-то думала, мы тут одни, — шепнула мне Лайла.

— Я тоже, — сказала я.

Мы затихли и попытались сохранять почтительное молчание во время последних кровавых сцен с перестрелками. Для этого нам приходилось впиваться ногтями друг другу в руку и прикусывать губы. Конечно, мы давились со смеху, но не позволяли себе рассмеяться по-настоящему.

Когда фильм кончился и зажегся свет, мы снова оказались одни. Наше веселье хлынуло через край; мы прошли к выходу и увидели стоящего там директора кинотеатра.

— По-вашему, Вьетнам — это смешно?

Он выглядел внушительно, хотя былая мускулатура сменилась жирком; над верхней губой была узкая, словно нарисованная карандашом, полоска усов, как у первого адвоката Мэдисона.

— Ничуть, — сказали мы как по команде.

Он преградил нам путь к выходу.

— Что ж вы так веселились? — сказал он.

— Все здорово преувеличено, — ответила я, думая, что он поймет.

— Я там был, — сказал он, — а вы?

Лайла перепугалась и схватила меня за руку.

— Нет, сэр, — сказала я, — но мы уважаем ветеранов, которые там сражались. Мы никого не хотели обидеть. Просто нас рассмешила преувеличенная удаль.

Он уставился на меня так, словно я остановила его с помощью аргументов, тогда как на самом деле я в момент опасности просто нашла нужные слова — это был мой благоприобретенный навык.

Нам дали уйти, но попросили впредь не показываться в этом кинотеатре.

Вернуть беззаботное настроение нечего было и думать. Когда мы шли вниз по склону, направляясь домой, меня переполняла злость.

— До чего противно быть женщиной, — высказала я очевидное. — Все тобой помыкают!

Лайла еще не готова была заходить так далеко. Она пыталась понять его точку зрения. Я же мысленно делала то, чем занималась теперь все чаще и чаще: дралась врукопашную с мужчиной, но, как ни старалась, терпела поражение.

Есть хорошие парни, есть плохие; есть светлые головы и тупые качки. Мысленно я стала именно так делить их на категории. Стив, у которого было поджарое тело бегуна и мягкие движения, больше всего заботился о своей учебе. Он мог часами просиживать над учебником, пока не вызубривал наизусть нужные главы. Его родители, иммигранты-украинцы, платили за учебу сына, как и за дом, и за машину, наличными, из своих скудных и нерегулярных заработков. Так что ему сам бог велел изо дня в день корпеть над книгами.

Когда у нас со Стивом дошло до интима, я безотчетно себя обманывала. Главным для меня было доставить удовольствие Стиву — цель, так сказать, всего путешествия, — так что если при этом были какие-то ухабы, воспоминания, болезненные отблески той ночи в тоннеле, я преодолевала их в бесчувствии. Радовалась, когда был доволен Стив. Я всегда готова была вскочить с постели и пойти гулять или прочитать свое последнее стихотворение. Если мне удавалось вовремя, как из кислородной подушки, подпитать свой

рассудок, секс оказывался менее мучительным.

И еще был запах его кожи. Я могла сосредоточиться на участке белого тела и начать. Поскольку Стив был нежным и пылким, я снова и снова внушала себе: *«Ты не в Торден-парке, с тобой твой друг, Грегори Мэдисон в тюрьме, у тебя все в ажуре»*. Часто это помогало мне справиться с собой, как зубовой скрежет при катании с американских гор, которое на первый взгляд доставляет огромное удовольствие всем, кроме тебя. Не можешь получить удовольствие — притворяйся. Мозги-то еще работают.

К концу учебного года за мной утвердилась репутация этакой пухленькой продвинутой дивы. Меня знали и студенты факультета искусств, и поэты. Я устроила вечеринку, не сомневаясь, что придет уйма народу; так и случилось. Стив купил мне танцевальные версии моих любимых песен на гибких пластинках из белого винила и переписал их на магнитофон, чтобы под него можно было потанцевать.

Вернувшиеся из Лондона Мэри-Элис и Кейси тоже пришли на вечеринку. Весь дом гудел, но на этот раз от моей музыки и моих друзей. По спецкурсам Каррута и Карвера я получила пятерки и посещала теперь занятия у поэта по имени Джек Гилберт.^[14] Невероятная удача: пришел даже Гилберт! По мере того, как гости пьянели, приготовленный в мусорном ведре пунш из дешевой бурды пополнялся все новыми и новыми ингредиентами. Пряности из запасов Лайлы полетели туда целиком, а мелкие предметы вроде столовых вилок и листьев комнатных растений присоединялись к мускатным орехам и арроуруту.

Вдруг стали появляться гости, которых мы не знали, — парни. Их, накачанных и бесцеремонных, как магнитом тянуло к хорошеньким девушкам. В первую очередь — к Мэри-Элис, которая успела надраться до чертиков. Танцы на пяточке стали сексуальными. Стив чуть не подрался из-за девушки с одним из чужаков. Музыка стала громче, динамик ревел, спиртное закончилось. В результате самые разумные и трезвые из тех, что еще не ушли, потянулись к выходу. Я стояла рядом с Мэри-Элис, как бойкий скотчтерьер. Когда к ней подваливали парни, я вводила их в сторону. Пришлось пригрозить им тем, что вызывало у них уважение: мужским присутствием. Я соврала, что ее парень, капитан баскетбольной команды, вот-вот придет сюда со своими игроками. Чтобы они не сомневались, я напускала на себя суровый вид и выражалась откровенно, без экивоков. У меня был большой опыт общения с полицейскими, которые неплохо владели языком улицы.

Мэри-Элис решила уйти, и мы со Стивом попросили надежного человека довести ее до дому. Прощаясь с нами у порога, она как-то резко вырубилась. Мы столпились вокруг, а она так и лежала пластом. Вначале я подумала, что это прикол, и сказала: *«Кончай, Мэри-Элис, поднимайся»*. Когда она падала, ее роскошные волосы золотистой россыпью взметнулись вверх и в стороны.

Опустившись на четвереньки, я стала ее теребить. Все было напрасно. Сквозь группу зевак и чужаков ко мне пробился Стив. Кто-то предложил отвезти Мэри-Элис домой на машине.

Когда я это вспоминаю, мне в голову приходят только сравнения с собаками. От бойкого скотчтерьера до жесткого фокса и какого-то зверя нечеловеческой силы. Я даже не позволила Стиву нести ее. Сама подняла Мэри-Элис на руки — без малого пятьдесят кило — и потащила в комнату Лайлы, а Стив и Лайла расчищали мне дорогу. Мы уложили ее на кровать. У этой пьяной студентки был вид спящего ангела. Остаток ночи я ее сторожила, чтобы так оно и осталось. Когда соседи, устав от пьяных криков, вызвали полицию, я

выпроводила последних гостей. Самых захмелевших вывели мы с Лайлой и Стивом. Мэри-Элис провела ночь у нас. Утром все поверхности в квартире оказались липкими, а на полу за кушеткой обнаружилась чья-то подруга, в полной отключке.

Летом между третьим и четвертым курсом мы со Стивом жили вместе все в той же квартире и посещали факультативные занятия летней школы. В моральном плане мама смирилась с нашим сожителем, говоря: «По крайней мере, у тебя есть бесплатный телохранитель». После летней школы я впервые попробовала себя на преподавательской работе в качестве ассистента в лагере искусств для одаренных студентов Бакнеллского университета. Если не стану юристом, решила я, то буду преподавать. Тогда мне еще не дано было знать, что преподавание станет делом всей моей жизни, дорогой к себе.

К четвертому, выпускному, курсу я стала постоянной участницей чтений поэзии и прозы в нашем кампусе. Помимо этого, я подрабатывала официанткой в пиццерии «Космос» на Маршалл-стрит, и мой рабочий график, вкупе с посещением литературных вечеров, означал, что я нечасто бывала дома. Лайла, как мне казалось, ничего не имела против. Квартира была либо в ее полном распоряжении, либо в мирном совместном пользовании с нашим новым квартирантом Пэтом.

Лайла нашла Пэта через кафедру антропологии. Двумя годами младше нас, он был только на втором курсе. В его комнате мы с Лайлой видели порножурналы, фетишистские издания вроде «Буферов» и один журнал, целиком посвященный голым толстухам. Но за комнату он платил исправно и не совался в наши дела. Я была рада, что хотя бы внешность у него не затрапезная, в отличие от остальных студентов-антропологов. Он был высок и строен, с черными волосами по плечи и гордился своими итальянскими корнями. Пэт обожал шокировать публику. Он показал нам с Лайлой «зеркало»-расширитель, который стащил у родича-гинеколога и повесил к шнуру выключателя у себя над головой.

К концу ноября мы, все трое, стали кое-как притираться друг к другу. Еще через пару месяцев Лайла и я привыкли к его розыгрышам. Он мог коснуться твоей ключицы и спросить: «Ой, что это у тебя?» Наклонишь голову посмотреть, а он возьмет да и щипнет тебя за подбородок. Или приносит тебе чашку кофе, но, как только захочешь ее взять, отдергивает назад. Он вечно нас дразнил, но, если не заходил слишком далеко, мы не роптали. Лайла, у которой был младший брат, говорила мне, что из-за присутствия Пэта у нее такое чувство, будто она и не уезжала из дому.

На лекциях курса под названием «экстатические культы» я сидела рядом с парнем, которого звали Марк. Как и Джейми, это был высокий блондин. У нас в университете он посещал лекции вольнослушателем. Марк изучал ландшафтную архитектуру в Лесотехническом институте штата Нью-Йорк, арендовавшем у Сиракьюсского университета здания и территорию. Его детство прошло в нью-йоркском районе Челси. Благодаря этому в двадцать один год он оказался не по летам ушлым и опытным — во всяком случае, мне так казалось. У него были друзья, имевшие мансарды в Сохо. Он обещал меня когда-нибудь свозить к ним в гости.

После лекций по религиозным культам у нас с ним возникали чисто дружеские, но от этого не менее страстные дискуссии на пройденные темы. Особо жаркие дебаты вызвала история шаманства и оккультизма. Зная намного больше меня о музыке и искусстве, Марк

давал мне послушать записи Филипа Гласса.^[15] Он с сарказмом рассуждал о таких вещах, как, например, любовь Жаклин Сьюзен к Этель Мерман. В нем воплотилось то, что моя мама считала главным достоинством Нью-Йорка, — культурная среда, хотя мама и не включала в это понятие любовные свидания «Мерм» и автора «Долины кукол».

Почему-то серьезность Стива, его заботливое внимание к моим болям и невзгодам вдруг отошли на второй план в сравнении с бесшабашностью Марка, который у нас все видел и все испытал. Когда я при нем начала рассказывать анекдот собственного сочинения («Почему процесс по делу об изнасиловании не упомянут в вашем резюме?..»), Марк захохотал и предложил свой вариант ответа, но Стив перебил, положив руку мне на плечо: «Ты ведь сама знаешь, что это не смешно, правда?» Марк разъезжал на машине, смотрел кабельное телевидение и сводил с ума девчонок. Он пил без меры, дымил как паровоз и не стеснялся в выражениях. Как и требовала его специальность, неплохо рисовал.

С самого начала он вел себя со мной честно и открыто. Год назад, когда мы познакомились на какой-то вечеринке, нас сразу потянуло друг к другу. Позже он рассказал, как трое ребят, заметив его интерес ко мне, позвали его в ванную.

— Имей в виду, Марк: эта телка была изнасилована.

— Ну и дальше что? — спросил Марк.

Они неодобрительно покосились на него:

— Тебе это нужно?

Но Марк был прирожденным феминистом. Его отец бессовестно бросил мать, променяв ее на молодую. Одна из его сестер была лесбиянкой и называла двух своих котов «девочками». Вторая сестра выучилась на юриста и работала в штате районного прокурора Манхэттена. Он прочитал больше книг Вирджинии Вульф, чем я, и познакомил меня с творчеством знаменитых феминисток Мэри Дейли и Андреа Дворкин. Он и сам стал для меня открытием.

А я — для него. Он сыпал именами и терминами, о которых я и слыхом не слыхивала, но на момент нашего знакомства я была единственной среди его знакомых жертвой изнасилования. Насколько он мог знать.

Я наслаждалась обществом Марка, но терпела и Стива.

— Сколько телохранителей нужно одной девушке? — спросила как-то Лайла, когда у меня вошло в привычку дважды в день болтать по телефону с каждым из них.

Мне нечего было ответить, кроме как сказать, что я никогда не пользовалась популярностью у мальчиков, а тут вдруг стала интересна двоим сразу.

Прежняя квартирантка, Сью, писала курсовую с элементами фотоочерка и бросила у нас кучу всевозможного грима. Однажды вечером, когда Пэт сидел в библиотеке, мне взбрело в голову попробовать себя в качестве фотографа модных моделей и отщелкать снимки Лайлы. Я ее нарядила. Заставила снять очки, и мы сделали ей жирную подводку глаз. Я не поскупилась на темно-синие и черные тени для век. Губы у нее стали густо-вишневого цвета. Она по моей указке позировала в прихожей, а я наводила объектив. Нам обоим это было в кайф. Я велела ей лечь на пол и смотреть вверх, а потом приспустить с плеча бретельку для фото, которое мы называли «обнаженка». Я сыпала репликами, которые, как мне казалось, употребляют настоящие фотографы модных журналов, чтобы помочь моделям войти в образ. «Зной; ты в пустыне Сахара; эффектный мужчина приносит тебе бокал „пинья-колады“» или «Твой возлюбленный замерзает в Антарктике. Но у него в руках одна-единственная фотография, которая его согревает. Работаем. Покажи мне

сексуальность, искренность и пронзительный интеллект». Когда Лайла не гримасничала, создавая требуемый эффект, она болтала. Я поместила ее перед высоким, в полный рост, зеркалом и взяла общий план, куда попала и сама. В кадре был ее профиль и руки в черных перчатках.

Самыми удачными я сочла тогда более шокирующие снимки, сделанные в коридоре перед моей спальней. Она ползет по полу на четвереньках, с широко раскрытыми невидящими глазами, акцентированными цветом. Теперь я мысленно называю их снимками Лайлы «до того».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В середине ноября тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, за неделю до Дня благодарения, на филологическом факультете выступал знаменитый поэт Роберт Блай. Я до смерти хотела его послушать, так как перед этим с жадностью прочла его стихи — по настоятельному совету Тэсс и Хейдена Каррута. Лайла осталась дома, готовясь к убийственному тесту, который мне не грозил, так как я специализировалась в области поэзии. Пэт отправился заниматься в библиотеку Бэрда.

На поэтическом вечере присутствовали Тэсс и Хейден. Явились все заведующие кафедрами. Поскольку Блай был именитым поэтом, в аудитории яблоку негде было упасть. Я сидела в самой середине этого небольшого помещения. Мой друг Крис окончил университет годом раньше, так что я пришла одна. Через двадцать минут после начала выступления у меня схватило живот. На часах было 20.56.

Я хотела перетерпеть, но острая, режущая боль стала невыносимой. Живот крутило. В конце очередного стихотворения я встала и начала с грохотом пробираться между спинками стульев и коленями сидящих.

Из вестибюля позвонила Марку. У него была машина. Я попросила его забрать меня от библиотеки Бэрда. Мне было слишком плохо, чтобы тащиться на автобусную остановку. Два года назад, когда я звонила родителям, у меня в руках была трубка этого же телефона, и с тех пор я не подходила к нему на пушечный выстрел. Но в тот вечер мне было не до предрассудков.

Марку требовалось принять душ.

— Двадцать минут, не больше, — сказал он.

— Буду ждать, не щадя живота своего, — попыталась я пошутить. — Приезжай скорее.

Пока я ждала у библиотеки, мне стало еще хуже. Случилось что-то серьезное, но я не представляла, в чем дело.

Марк подъехал минут через сорок. Мы выехали из кампуса по направлению к Эвклиду, где в обветшалых деревянных домах жило много студентов.

Наконец мы свернули за угол и оказались на моей улице. В конце квартала, где жили мы с Лайлой, стояло пять черно-белых полицейских машин с мигалками. Полицейские сновали взад-вперед, опрашивали прохожих.

Мне все стало ясно.

— О боже, боже мой! — воскликнула я. — Выпусти меня, выпусти!

Марк запротестовал:

— Дай припарковаться — я пойду с тобой.

— Нет, высади меня сейчас же.

Он въехал на подъездную аллею, и я выскочила, не дожидаясь его помощи. В нашем доме горели все огни. Дверь в парадную была распахнута. Я не медлила ни минуты.

В тесной прихожей меня остановили двое полицейских в форме.

— Сюда нельзя. Покиньте место преступления.

— Я здесь живу, — сказала я. — Это Лайла? Что случилось? Умоляю, скажите.

Не помня себя, я стала раздеваться и бросать на пол одежду: зимнюю шапку, шарф, перчатки, пиджак, безрукавку. Меня охватило неистовство.

В гостиной тоже были копы. Один из тех, что в форме, жестом указал на меня кому-то

через порог и сказал:

— Вот — говорит, что живет...

— Элис? — удивился детектив в штатском.

Я тотчас же узнала его.

— Сержант Клэппер?

Когда я произнесла его имя, полицейские в форме перестали меня удерживать.

— Теперь уже детектив Клэппер, — улыбнулся он. — Что ты здесь делаешь?

— Я здесь живу, — сказала я. — Где Лайла?

Лицо у него вытянулось.

— Извини, — пробормотал он.

Я заметила, что полицейские теперь смотрят на меня иначе. В квартиру вошел Марк. Я сказала полицейским в форме, что это мой друг.

— Никак, это Элис Сиболд? — переспросил один из них.

Я повернулась к Клэпперу.

— Ее изнасиловали?

— Да, — сказал он. — На кровати в дальней комнате.

— Это моя комната, — сказала я. — Как она себя чувствует?

— С ней женщина-детектив. Сейчас повезем в больницу. Можешь поехать с нами. Она не сопротивлялась.

Я попросила пустить меня к ней.

— Сейчас узнаю, — ответил Клэппер и отправился сообщить Лайле, что я пришла.

Я стояла среди полицейских, ощущая на себе их взгляды. Они знали мое дело, потому что оно, в отличие от большинства аналогичных дел последних лет, завершилось судебным приговором. В их среде это было знаменательным событием. Клэпперу, например, дали повышение в должности. Все, кто работал по моему делу, оказались в выигрыше.

— Не могу поверить. Не могу. Такого не может быть, — твердила я Марку.

Не помню, что он отвечал. Я старалась взять себя в руки, чтобы как-то держаться.

— Она не хочет тебя видеть, — сказал Клэппер по возвращении. — Опасается, что не выдержит. Да она через пару минут выйдет, можешь поехать с нами в больницу.

Меня больно задел этот отказ, но я ее понимала.

Оставалось только ждать. Марку я сказала, что мне предстоит долгая волокита: больница, полиция, так что ему лучше поехать домой и навести у себя порядок, чтобы там можно было переночевать втроем: мы с Лайлой ляжем на кровати, а он в гостиной.

Полицейские говорили о своем. Я мерила шагами комнату. Один из офицеров собрал в прихожей мою одежду, принес в комнату и положил на кушетку рядом со мной.

Тут в дверях показалась Лайла. Она пребывала в состоянии шока. Волосы у нее были всклокочены, но следов побоев на лице я не заметила. За ней семенила темноволосая женщина небольшого росточка в полицейской форме.

На Лайле был мой халат, подвязанный каким-то неподходящим поясом. Глаза ее казались бездонными — от потерянности. В тот миг я не смогла бы, при всем старании, до нее достучаться.

— Как мне тебя жалко, — вырвалось у меня. — Все пройдет. Ты с этим справишься. Я же справилась.

Мы стояли, глядя друг на друга, и обе плакали.

— Теперь-то мы настоящие клоны, — сказала я.

Женщина-детектив перебила:

— Лайла говорит, здесь есть еще один жилец.

— Господи, конечно, — Пэт, — сказала я.

До сих пор я о нем и не вспоминала.

— Вам известно, где он сейчас находится?

— В библиотеке.

— Кто может за ним сходить?

— Я хочу поехать с Лайлой.

— Тогда оставьте ему записку, что ли, чтобы ничего не трогал. И пусть найдет, где переночевать, пока здесь не починят высаженную раму.

— Вначале я подумала, это Пэт меня разыгрывает, — сказала Лайла. — Выхожу из ванной — дверь моей комнаты приоткрыта, будто кто-то за ней прячется. Я толкнула ее внутрь, а он наружу, и опять туда и обратно, пока мне это не надоело, тогда я и говорю: «Ну хватит, Пэт» — и вошла. Он бросил меня на кровать.

— Нам известно точное время, — сказала детектив. — Она посмотрела на часы. — Было восемь пятьдесят шесть вечера.

— Как раз когда мне стало плохо, — сказала я.

— Что-что? — переспросила она в недоумении.

В такой ситуации мне не находилось места. Одно дело, если бы я была жертвой. А так — подруга жертвы. Детектив повела Лайлу в машину, а я торопливо прошла в комнату Пэта.

Там я сделала одну гадость. Поскольку в комнате был полный кавардак, я придавила записку, оставленную на его подушке, гинекологическим зеркалом. Чтобы он на сто процентов ее заметил. *«Пэт, Лайлу изнасиловали. Физическое состояние приемлемое. Позвони Марку. Переночуй в другом месте. Прости, что сообщаю таким способом».*

Я оставила в комнате свет и осмотрелась. Беспokoиться о Пэте не стоило, да на это и не было сил. С ним все будет нормально, он оправится. Сейчас главное Лайла.

В больницу мы ехали молча. Я сидела на заднем сиденье рядом с Лайлой; мы держались за руки.

— Какой ужас, — вдруг произнесла она. — Я вся грязная — хочу только в душ, и больше ничего.

Я стиснула ее ладонь:

— Понимаю.

Ожидание в приемном покое показалось мне бесконечно долгим. Там было полно народу, и Лайлу заставили ждать в общей очереди: поскольку она, в моем понимании, не сопротивлялась, у нее не было открытых ран, она была в состоянии сидеть и говорить. Я не раз ходила в регистратуру и спрашивала: в чем дело, почему так долго? Присев рядом с Лайлой, я помогла ей заполнить бланк страховки. В моем случае этого не было. Меня сразу повезли на каталке в смотровой кабинет.

Наконец ее вызвали. Мы прошли по коридору и нашли смотровую. Осмотр был неспешным, длительным да к тому же несколько раз прерывался, так как врача вызывали в другие кабинеты. Я держала ее за руку, как меня держала Мэри-Элис. По лицу у меня катились слезы. Под конец Лайла сказала: «Хочу, чтобы ты ушла». Она попросила позвать женщину-детектива. Я привела ее и, дрожа, вышла в комнату ожидания.

В моих ночных кошмарах Лайле никогда не случалось быть изнасилованной. Она и Мэри-Элис не подвергались опасности. Лайла была моим клоном, подругой, сестрой. Она

знала все подробности моей истории — и все же любила меня. Принадлежа к остальному миру — чистой его половине, — она теперь оказалась в моем положении. Пока я сидела и ждала, у меня крепло убеждение, что изнасилование Лайлы можно было предотвратить. Если бы я приехала домой быстрее, если бы доверилась предчувствию, если бы, наконец, в свое время не навязалась ей в подруги. Очень скоро мне пришла в голову мысль, не раз потом произнесенная вслух: *это должна была быть я*. Мне стало страшно за Мэри-Элис.

В ознобе я обхватила себя руками за плечи и принялась раскачиваться на стуле. Меня затошнило. Весь мой мир переворачивался; все, что я имела, что знала, теряло смысл. Спасения нет, поняла я; это останется навечно. В моей жизни и в жизни тех, кто рядом со мной. Изнасилование.

Ко мне вышла женщина-детектив.

— Элис, — сказала она, — Лайла в сопровождении детектива Клэппера едет в полицейское управление. Она попросила меня поехать к вам на квартиру и привезти ей что-нибудь из одежды.

Я не знала, как вести себя. Уже тогда мне стало ясно, что и Лайла не знает, как держаться в моем присутствии. Есть ее подруга Элис и есть другая Элис — одержавшая победу жертва изнасилования. Ей нужна была одна без другой, а это невозможно.

Меня подвезли до дому, и я отперла дверь. Пэт еще не приходил. Свет, который я оставила включенным, кто-то выключил. Я шагнула через порог. Помнится, Три с Дианой принесли мне совсем не то, что нужно: джинсы с цветными латками, а белье вообще забыли. Пусть хоть у Лайлы будет по-другому. Из стенного шкафа я достала большую матерчатую сумку-цилиндр и выдвинула ящики комода. Сложила в сумку белье, пару фланелевых халатов, шлепанцы, носки, спортивные брюки и рубашки свободного покроя. Еще захватила какую-то книгу, а с кровати взяла плюшевого медвежонка и подушку.

Мне и самой требовалось забрать вещи. Понятно, ни Лайле, ни мне больше не улыбалось ночевать в этом доме. Я прошла в дальнюю часть квартиры, где находилась моя комната. Дверь была заперта. Я спросила у детектива, можно ли войти.

Помолившись неизвестно кому, повернула ручку. В комнате было холодно из-за открытого окна, в которое пролез преступник. Я щелкнула выключателем около двери.

С моей постели было сорвано покрывало. Я подошла ближе. В центре краснело небольшое пятно свежей крови. Рядом были пятнышки поменьше, как слезы.

Она вышла из душа, завернулась в полотенце и направилась в свою комнату, подурачилась с дверью, думая, что это Пэт. Затем насильник швырнул ее на кровать, животом вниз. Она успела заметить время по настенным часам. В темноте она видела его лишь несколько секунд. Он завязал ей глаза поясом от моего халата, а затем перевернул на спину и заставил держать руки перед грудью в молитвенной позе, связывая ей запястья эластичным шнуром для багажника и кошачьим поводком, которые отрыл у нас в стенном шкафу. Это значит, что он обыскал квартиру, пока Лайла была в ванной, и убедился, что дома никого нет. Он заставил ее встать и перейти в мою комнату, где приказал лечь на мою кровать.

Именно там он ее и насиловал. По ходу дела спросил, где я. Откуда-то он знал мое имя. Каким-то образом пронюхал, что Пэта долго не будет. В какой-то момент спросил про мои чаевые, лежавшие на трюмо, и забрал их себе. Она не сопротивлялась. Делала все, что он говорил.

Он велел ей надеть мои халат и оставил ее с завязанными глазами.

Лайла стала кричать, но у соседней сверху гремел магнитофон. Ее не услышали, а если и услышали, то не пришли на помощь. Ей пришлось выйти из квартиры, подняться по лестнице и изо всех сил колотить в дверь, пока из квартиры не вышли ребята с банками пива в руках. Они улыбались, думая, что пришел еще кто-то из друзей. Она попросила развязать ее, что они сделали, и позвонить в полицию.

Все это Лайла рассказала мне в последующие недели. А сейчас я старалась не видеть крови на собственной постели, перерытых вещей, выброшенной на пол из стенного шкафа одежды, фотографий и моих стихов, оставленных на столе. Я схватила фланелевый халат, такой же, как у Лайлы, и подняла с полу кое-что из одежды. Хотела захватить свою старую пишущую машинку «Ройял», но всем, кроме меня, это показалось бы нелепым и эгоистичным. Я задержала на ней взгляд и еще раз посмотрела на кровать.

Стоило мне повернуться к выходу, как сквозняком резко захлопнуло дверь. Все надежды на то, что я буду жить нормальной жизнью, улетучились.

Женщина-детектив остановила машину возле Управления по охране общественного порядка. Мы поднялись на лифте и вышли в знакомый вестибюль третьего этажа, где за пуленепробиваемым стеклом находилась диспетчерская. Диспетчер нажал кнопку, дверь открылась, и мы вошли.

— Туда, — указал кто-то из полицейских.

Мы прошли дальше.

Фотограф наводил камеру. Лайла стояла спиной к стене, держа у груди номер. Номер, как и у меня в свое время, был написан жирным маркером на обороте конверта полицейского департамента.

— Элис! — обратился ко мне фотограф.

Я поставила сумку с нашей одеждой на пустой стол.

— Не узнаешь? — спросил он. — Я в восемьдесят первом снимал улики по твоему делу.

— Привет, — сказала я.

Лайла все стояла у стены. Подошли еще двое полицейских.

— Ух ты! — сказал один из них. — Какая встреча! После суда нечасто увидишь потерпевшего. Вы довольны своим процессом?

Я бы охотно поболтала с этими парнями. Они это заслужили. Как правило, им была видна лишь та сторона насильственных преступлений, примером которой стала всеми забытая Лайла, прислонившаяся к стене, — жертва, живая или полуживая.

— Довольна, — сказала я, понимая, что надо ее выручать, и пораженная своей неожиданной известностью. — Вы, ребята, были на высоте, просто молодцы. Но я пришла сюда к Лайле.

Им это показалось странным, но разве хоть что-то в этой истории не было странным?

Они начали готовить Лайлу к съемке, беседа при этом со мной.

— У нее практически нет следов. У тебя, помню, был жуткий вид. Мэдисон здорово тебя отделал.

— А запястья? — сказала я. — Он же связал ее. А я не была связана.

— Но у того был нож, верно? — спросил какой-то полицейский, которому хотелось припомнить подробности моего дела.

Фотограф подошел к Лайле.

— Ну-ка, — сказал он, — держи запястья прямо перед собой. Да, вот так.

Лайла делала, что приказано. Повернулась боком. Подняла вверх запястья. Тем временем меня окружили полицейские, жали мне руку, улыбались, задавали вопросы.

Затем пришло время сделать телефонные звонки. Нас с Лайлой посадили за столом в углу. Я сидела прямо на столе, а Лайла передо мной на стуле. Под ее диктовку я набрала номер.

Был поздний час, но ее отец еще не спал.

— Мистер Райнхарт, — сказала я, — это Элис, мы с Лайлой вместе снимаем квартиру. Даю вам теперь Лайлу.

— Папа, — начала она.

Заплакала. Сообщила ему о случившемся и протянула трубку мне.

— У нее все пройдет, мистер Райнхарт, — сказала я, пытаюсь успокоить его. — Со мной это тоже случилось, и я пришла в норму.

Мистер Райнхарт знал о моем случае от Лайлы, которая поделилась с домашними.

— Вы мне никто, — сказал он. — Я убью этого гада.

Мне следовало быть готовой к такой злобе по отношению к насильнику, но я почувствовала, что агрессия направлена и против меня. Я дала ему номер телефона Марка. Сказала, что мы будем ночевать там и что он сможет позвонить по этому номеру и сообщить, когда прибывает его рейс. У Марка есть машина, сказала я, и мы встретим его в аэропорту.

Лайла ушла с полицейскими писать заявление о возбуждении дела. Время было позднее, а я все сидела на металлической столешнице и думала о своих родителях. Мама только что вернулась на работу после двухлетнего перерыва, связанного с усилением приступов. Теперь я это все разрушу. Логика начала покидать меня, уходить как в песок. Бремя тяжелейшей вины за совершенное преступление возложить было не на кого, кроме как на убежавшего насильника, которого Лайла даже не могла толком описать, и я почему-то взяла этот груз на себя.

Я набрала номер.

Ответила мама. Любой ночной звонок она воспринимала однозначно: как известие о моей смерти.

— Мам, — сказала я, — это Элис.

Параллельную трубку взял отец.

— Привет, папа, — сказала я. — Во-первых: у меня все в порядке.

— О боже, — сказала мама, предчувствуя недоброе.

— Иначе чем прямо об этом не скажешь: Лайлу изнасиловали.

— Не может быть...

Они засыпали меня вопросами. Я только успевала отвечать:

— Да у меня все нормально... На моей кровати... Нам еще не сказали... В комнате для допросов... Без оружия... Перестаньте, противно слушать.

Последняя реплика была ответом на их неоднократные причитания: «Слава богу, не тебя».

Я позвонила Марку.

— Мы его видели, — сказал он.

— Что?

— Пэт позвонил, я примчался, и мы поехали его искать.

— Это безумие!

— А что было делать? — сказал Марк. — Мы оба хотели прикончить ублюдка. Пэт ничего не соображает, он просто обезумел.

— Сейчас-то пришел в себя?

— Какое там! Я оставил его у приятеля. Он хотел ночевать с нами.

Я выслушала рассказ Марка. Оба они изрядно выпили, а потом стали ездить в темноте по близлежащим улицам. Марк держал в машине лом. Пэт озирал лужайки и дома, Марк то притормаживал, то прибавлял газу. Наконец они услышали крик, а потом увидели мужчину, выбегающего на улицу между домами. У тротуара он заметил автомобиль Марка, развернулся и пошел по улице, замедлив шаг до обычного. Марк и Пэт в машине за ним. Могу лишь представить себе, что они говорили и замышляли.

— Пэт сдрейфил.

— А вдруг это был не он? — сказала я. — Вам такое не приходило в голову?

— Говорят, преступники иногда болтаются поблизости от места преступления, — возразил Марк. — Да еще эти крики и его поведение.

— Так ведь вы преследовали его, — сказала я. — Марк, самим нельзя ничего делать — таков порядок. Самосуд — это не метод.

— Представляешь, он развернулся и бросился на машину.

— Как это?

— Бросился на нас с криком и ревом — я чуть в штаны не наложил.

— Ты его хорошо рассмотрел?

— Да, — сказал он, — думаю, да. Это наверняка был он. Стоял под фонарем и орал на нас как оглашенный.

К тому времени, когда меня и Лайлу отвезли в квартиру Марка, находившуюся по другую сторону кампуса, я была слишком подавлена, чтобы вести разговоры. Мне не хотелось, чтобы Лайла узнала о действиях Марка и Пэта. Их мотивы были понятны, но выводили меня из терпения. Насилие лишь порождает насилие. Неужели непонятно, что главные тяготы выпадают на долю женщин? Только им дано успокоить и, что почти невозможно, заставить принять случившееся.

У Марка в спальне мы с Лайлой облачились во фланелевые халаты. Когда она переодевалась, я отвернулась и пообещала держать дверь.

— Марка не впускай.

— Ни за что, — ответила я.

Она легла в постель.

— Сейчас вернусь. Я лягу с краю, чтобы тебе было спокойнее.

— А окна?

— У Марка на них шпингалеты. Он ведь, как ты помнишь, вырос в городе.

— А ты тогда попросила Крейга починить заднее окно? — спросила Лайла, не поворачиваясь ко мне лицом.

Этот вопрос и сопутствующее обвинение резанули меня как ножом. Крейг был нашим квартирным хозяином. За две недели до нападения я поднималась к нему в квартиру и просила починить задвижку на моем окне.

— Попросила, — сказала я. — Но без толку.

Я выскользнула из комнаты и посоветовалась с Марком. Вход в единственную в квартире ванную был через спальню. Мне хотелось предусмотреть все мелочи, даже такую: если Марку среди ночи приспичит, пусть воспользуется кухонной раковиной.

Вернувшись в спальню, я нырнула в постель.

— Растереть тебе спину? — предложила я Лайле.

Она все так же лежала спиной ко мне, свернувшись в комок.

— Попробуй.

Я попробовала.

— Стоп, — сказала она. — Я хочу спать. Хочу, чтобы я проснулась и все закончилось.

— Можно, я тебя обниму? — спросила я.

— Нет, — сказала она. — Понимаю, ты хочешь мне помочь, но это невозможно. Я не хочу, чтобы ко мне прикасались. Ни ты, ни другие.

— Я не буду спать, пока ты не уснешь.

— Как хочешь, Элис, — сказала она.

На следующее утро в дверь постучал Марк, который приготовил чай. Звонил мистер Райнхарт и сообщил свой номер рейса. Я пообещала Лайле как можно скорее забрать из квартиры ее имущество. Она составила список всего, что мы с ее отцом должны были упаковать к обратному рейсу. Мне, между прочим, тоже требовалось где-то оставить на хранение свои вещи. Одна из подруг Лайлы вызвалась взять ее пожитки. Переезд и упаковка — это было мне понятно. Этим я могла сослужить ей службу.

Я стояла у того же выхода, где, помню, меня встречал и ловил глазами детектив Джон Мэрфи. Однажды я уже видела отца Лайлы, когда ездила летом к ним в гости. Это был высокий грузный человек. При его приближении я заметила у него слезы. Глаза были красные, опухшие. Он подошел ко мне, поставил сумку, и я обняла этого плачущего великана.

Несмотря ни на что, рядом с ним я чувствовала себя посторонней. Мне-то все было нипочем — по крайней мере, так считали другие. Пережила насилие, прошла через судебный процесс, попала в газеты. Остальные мало что смыслили в таких делах. Пэт, Райнхарты — жизнь не подготовила их к жестоким ударам.

Мистер Райнхарт так и не проникся ко мне добрыми чувствами. Позднее он заявил нам с мамой, что они решат свои проблемы без нас. Он сказал моей матери, что его дочь совершенно не такая, как я, и они обойдутся без моих советов и ее рекомендаций. Лайлу, сказал он, нужно оставить в покое.

Но поначалу он плакал, а я его обнимала. Ему не дано было понять так, как понимала я, что испытала его дочь и какова степень его отцовского бессилия. А в тот момент, когда еще не возникло ни обвинений, ни отчуждения, он был в шоке. Моя ошибка состояла в том, что я сама не признавала, насколько сломлена. Я вела себя в меру своего разума: строила из себя специалиста.

Когда мы приехали к Марку, Лайла, завидев отца, встала. Они обнялись, и я закрыла дверь в комнату. Отошла как можно дальше, чтобы оставить их наедине. В чуланчике, который представляла собой кухня в чердачной квартире Марка, я выкурила сигарету из его пачки. Одновременно прикидывала, как лучше упаковать вещи и развезти их по адресам знакомых. В голове крутились тысячи разных мыслей. Когда в раковину упала вилка, я вздрогнула от неожиданности.

В тот вечер мистер Райнхарт повел нас в ресторан «Красный лобстер»: Марка, меня Пэта и Лайлу. Там как раз проводилась акция «Ешь креветки до отвала» и он все время предлагал нам брать еще. Пэт уминал за обе щеки; Марк не отставал, хотя предпочитал

сычуаньскую лапшу и снежный горошек. Ни Марк, ни Пэт не были настоящими мачо; разговор не клеился. Мистер Райнхарт смотрел перед собой опухшими, красными глазами. Не помню, что я говорила. Мне было не по себе. Я видела, как моей подруге хочется уйти. Мне не хотелось отдавать Лайлу ее родителям. Вспомнилось, как утром после изнасилования Мэри-Элис заплетала мне косу с приплетом. Я почувствовала с самого начала, еще в аэропорту, что другие люди, в первую очередь ее родители, найдут причины, чтобы не дать мне ей помочь. Меня хотели отстранить. Я была носителем болезни, причем заразной. Сама это знала, но продолжала цепляться за Лайлу. Цеплялась судорожно, грозя удушить ее своим присутствием.

Мы отвезли их в аэропорт. Прощания не помню. Я уже была занята мыслями о переезде и о сохранении того, что мне осталось.

В течение суток я вывезла из квартиры все наши пожитки, мои и Лайлы. Управилась без посторонней помощи. Марк был на лекциях. Я позвонила Роберту Дейли, студенту, у которого был грузовичок, и договорилась, что он вывезет вещи, если я уложу их в коробки. Я отдала ему свою мебель, сказав: бери все, что захочешь. Пэт тянул с переездом.

Никто, кажется, не понимал моей спешки. Занимаясь упаковкой, я задела бедром кухонный стол. Маленькая, ручной работы кружечка в виде кролика, которую подарила мне мама после процесса, упала со стола и разбилась. Я посмотрела на нее и заплакала, но остановила себя. На это нет времени. Не позволю себе привязываться к вещам. Это слишком опасно.

С утра пораньше я освободила комнату и теперь повернула дверную ручку, чтобы до приезда Роберта в последний раз оглядеть свое жилище. Дело было сделано. Однако на полу возле трюмо я нашла фотографию, где мы со Стивом Шерманом были сняты летом на крыльце этого дома. На фото у нас был счастливый вид. Выглядела я вполне прилично. Потом в шкафу я еще нашла валентинку, полученную от него же в начале года. И фотография, и валентинка теперь никуда не годились — предметы с места преступления.

Я пыталась быть такой, как все. Попробовала еще на третьем курсе. Но продолжения, как нетрудно заметить, не последовало. Я, казалось, появилась на свет для того, чтобы изнасилование шло за мной по пятам; так я и начала жить.

Забрав фото и валентинку, я в последний раз прикрыла дверь своей спальни. С двумя карточками в руках медленно прошла на кухню. В другой комнате раздался стук подошв. Он отозвался эхом от пустых стен.

Я отпрянула.

— Привет, — послышался чей-то голос.

— Пэт?

Я заглянула соседнюю комнату. Он принес зеленый мешок для мусора, чтобы забрать часть одежды.

— Почему ты плачешь? — спросил он.

Мне самой это было невдомек, но когда он задал свой вопрос, я почувствовала, что щеки у меня влажные.

— А что, нельзя?

— Да нет, не в том дело...

— А в чем?

— Ну, я думал, ты проще отнесешься...

Я накричала на него. Мы никогда не были близкими друзьями, а теперь даже простому знакомству пришел конец.

Появился Роберт. Надежный как скала. Таким я его помню. У нас обоих была склонность к честной критике на семинарах по литературе; разделяли мы также уважительное отношение к Тобиасу Вульфу и Раймонду Карверу. Мы с Робертом тоже были не особенно близки, но он пришел на помощь. Я разрыдалась прямо перед ним, и он смутился, когда я начала извиняться. Он забрал себе мое кресло-качалку, кушетку и что-то еще. В течение нескольких последующих лет, пока не стало ясно, что я не приеду за своими вещами, он посылал мне открытки, сообщая, что моя мебель чувствует себя прекрасно и скучает без хозяйки.

Я изменилась, сама того не зная.

На День благодарения я съездила домой. Потом, чтобы не оставлять меня одну, из Нью-Джерси приехал Стив Шерман. Прежде чем мы с ним сблизились, он дружил с Лайлой, и мысль о том, что нас обеих изнасиловали, не давала ему покоя. Он рассказал, что услышал о Лайле, когда мылся в душе. Пришел сказать ему об этом товарищ, с которым они снимали квартиру. Стив посмотрел на свой член и вдруг ощутил жгучую ненависть к себе, понимая, сколько страданий выпало на долю его подруг из-за этой части тела. По мере сил он хотел нас поддержать. Взял на хранение остальные мои вещи и приготовил для меня свободную спальню. Когда через две недели Лайла приехала сдавать экзамены в магистратуру, она тоже остановилась у него. Он все время был рядом и, по сути, стал моим телохранителем, провожая меня домой после работы или после занятий.

Предстоящий разрыв, думаю, был неминуем. Люди по обыкновению принимают либо одну, либо другую сторону. Первая трещина пролегла в ночь изнасилования Лайлы, когда полицейские проявили ко мне такой большой интерес. Подруги Лайлы стали меня избегать, отворачиваться или отводить глаза. В день ее экзамена полицейские приехали в дом Стива провести опознание по фотографиям. Я находилась в спальне с Лайлой и двумя полицейскими. Они разложили на столе небольшие фотографии — из тех, что помещаются в бумажнике. Я смотрела на них через плечо Лайлы.

— Зуб даю, тут вы кое-кого узнаете, — обратился ко мне полицейский в форме.

В стопку снимков они положили фотографию Мэдисона и похожего на него приятеля — участника опознания, Леона Бакстера. От злости у меня отнялся язык.

— Здесь есть тот, который ее изнасиловал? — спросила Лайла.

Она сидела за столом спиной ко мне. Я не видела ее лица.

Я вышла в гостиную. Мне стало дурно. Стив обнял меня и прижал к себе:

— Что такое?

— Они вложили туда фотографию Мэдисона, — сказала я.

— Но ведь он еще сидит, разве нет?

— Вроде бы сидит. — Я даже не удосужилась спросить.

— В Аттике, — подсказал один из полицейских.

— Ей же нужно указать на своего насильника, а она видит *его* — это подтасовка, — сказала я Стиву. — Это нечестно.

Дверь открылась. Держа в руках конверт с фотографиями, в гостиную вошел полицейский, а следом за ним — Лайла.

— Здесь мы закончили, — сказал детектив.

— Ты его опознала? — спросила я Лайлу.

— Кого-то там опознала, — недовольно буркнул детектив.

— С меня хватит. Я забираю заявление, — объявила Лайла.

— Что?

— Рад был повидаться, Элис, — сказал детектив.

После ухода полицейских я уставилась на Лайлу.

В моих глазах читался вопрос.

— Мне такое не под силу, — объяснила Лайла. — Хочу вернуться к жизни. Я же вижу, что стало с тобой.

— Но я победила, — сказала я, не веря своим ушам.

— Я хочу, чтобы все закончилось, — сказала она. — Потому и ставлю на этом крест.

— От этого так просто не отмахнешься, — сказала я.

Но она, как я заметила, пыталась делать именно это. Сдав экзамены, она уехала домой до окончания рождественских праздников. Мы планировали жить вместе в общежитии для магистрантов. Ее семья собиралась подарить ей машину, так как это был единственный способ добираться оттуда до кампуса и обратно — не считая, конечно, автобуса, на котором собиралась ездить я.

Мне уже никогда не узнать, что сказали ей полицейские и сумела ли она опознать своего обидчика среди мужских лиц на фотографиях. Я не понимала ее решения прекратить дело, хотя поначалу думала, что все понимаю. У полиции была версия, что на нее могли напасть из мести. Доводов было несколько. Хотя Мэдисон сидел в Аттике, у него были дружки. Ему дали максимальный срок — от восьми лет. Насильник знал мое имя. Надругался над Лайлой на моей кровати. Расспрашивал обо мне. Знал мое расписание, знал, что я подрабатываю официанткой в «Космосе». Все это либо служило доказательством его связи с Мэдисоном, либо свидетельствовало, что преступник основательно подготовился, чтобы застать жертву в одиночестве. Я и по сей день считаю, что ужас этого преступления отчасти состоит в чудовищных совпадениях. Возможность злого умысла казалась мне слишком надуманной.

Лайла ничего не желала знать. Она хотела с этим покончить.

Полиция допросила моих друзей. Копы явились в «Космос», чтобы побеседовать с хозяином и с продавцом, который зазывно подбрасывал пиццу за стеклом витрины. Но в этот период были зафиксированы и другие случаи изнасилования, совершенные тем же способом. Коль скоро Лайла забрала заявление, любые ассоциации со мной были теперь несущественны. Нет свидетеля — нет и дела. Полиция прекратила расследование. Лайла уехала домой до января. Она дала мне свое расписание, и я объяснила ее преподавателям, почему ее не будет на последних занятиях семестра. Обзвонила всех ее подруг.

Жизнь моя обеднела, да к тому же начались всякие побочные осложнения.

На Рождество я поехала домой.

Сестра ходила как в воду опущенная. Она окончила университет и съездила на стажировку по Фулбрайтской стипендии, но сейчас жила с родителями и работала в цветочном магазине. Ее специализация в арабистике не принесла ей желаемой должности. Я зашла к ней в комнату, чтобы ее приободрить. В какой-то момент она сказала:

— Да что ты понимаешь, Элис? Ты счастливая, тебе все так легко дается.

Я ахнула, не веря своим ушам. Между нами выросла стена. Я перестала общаться с

сестрой.

Теперь у меня случались еще более явственные ночные кошмары, чем прежде. Мои эпизодические дневниковые записи тех лет изобилуют их описаниями. Наиболее часто повторялась реально увиденная мною сцена в кинохронике о холокосте: пятьдесят или шестьдесят истощенных трупов, белых как мел. Без одежды. Киноплёнка показывает, бульдозер сваливает их сплошной массой в глубокую открытую могилу. Лица, рты, черепа с глубоко провалившимися глазами — и в них разум, изо всех сил стремящийся уцелеть. А потом темнота, смерть, грязь — и мысль о том, что там, в этой массе, возможно, кто-то барахтается и бьется, стараясь не умереть.

Я просыпалась в холодном поту. Иногда кричала. Обычно отворачивалась лицом к стене. Затем наступил следующий этап. Уже бодрствуя, я сознательно проигрывала сложный сюжет своей чуть не наступившей смерти. Насильник находится в доме. Поднимается по ступенькам, инстинктивно зная, которые из них выдадут его скрипом. Крадет по коридору. Из окна тянет сквозняком. Даже если кто-то в других комнатах не спит, он не станет беспокоиться. Все чувствуют запах чужого человека, но он, как и легкий шум, не предупреждает никого, кроме меня, о том, что вот-вот случится неизбежное. Затем я чувствую, как открывается моя дверь, чувствую еще чье-то присутствие в комнате, а также вытесненный им из помещения объем воздуха. Что-то вдали, у моей стены, вдыхает мой воздух, крадет мой кислород. Дыхание у меня становится реже, и я даю себе обещание: сделать все, что захочет этот мужчина. Он может насиловать и резать, отсечь мне пальцы. Он может лишит меня зрения или искалечить. Мне же хочется одного: жить.

Приняв это решение, я собираюсь с силами. Чего он тянет? Я медленно поворачиваюсь в темноте. Там, где он стоял, нарисованный моим воображением, совсем как живой, никого нет: только дверь стенного шкафа. И все. После этого я, как правило, включала свет и проверяла дом, подходя к каждой двери и поворачивая ручку, совершенно уверенная в том, что дверь откроется и он будет стоять за порогом, смеясь надо мной. Пару раз от поднятого мною шума просыпалась мама.

— Элис? — окликала она.

— Да, мама. Кто же еще — конечно я.

— Ложись спать.

— Ложусь, ложусь, — отвечала я. — Хотела чего-нибудь пожевать.

Поднявшись к себе в комнату, я пробовала читать. И не смотреть на стенной шкаф или, чего доброго, на дверь.

Я не давала себе труда задуматься, что со мной происходит. Все казалось нормальным. Действительно, опасности подстерегают всюду. Нет безопасного места или человека. Моя жизнь сложилась не так, как у других; естественно, я и веду себя по-иному.

После Рождества мы с Лайлой пытались снова наладить нашу жизнь в Сиракьюсе. Я хотела оказать ей помощь, но и сама в ней нуждалась. Мне верилось, что большую пользу приносят беседы о случившемся. Чтобы не оставлять ее одну после наступления темноты, я уволилась из «Космоса». Это не составило труда, поскольку никто меня не удерживал. Когда я пошла узнать о работе в дневную смену, хозяин повел себя высокомерно и пренебрежительно. Потом ко мне подошел парень, который подбрасывал пиццу в витрине.

— Ты что, не врубаешься? — спросил он. — Здесь были копы, задавали вопросы. Кому это надо?

Я ушла в слезах, наткнувшись при выходе на какого-то покупателя.

— Смотри, куда идешь, — рявкнул он.

Падал снег.

Из «Ревью» я тоже уволилась. Автобус, на котором приходилось ездить, постоянно ломался. Тэсс была в отпуске. Ходить на поэтические чтения не было никакого интереса. Однажды вечером я возвращалась домой чуть позже обычного, уже затемно, и на пороге меня встретил Стив.

— Где ты была? — спросил он сердитым, недовольным тоном.

— За продуктами ходила, — ответила я.

— Мне позвонила Лайла: ей страшно. Просила, чтобы кто-нибудь с ней посидел.

— Спасибо, что приехал, — сказала я.

В руках у меня был пакет из продуктового магазина; я замерзла.

— Вечно ты где-то ходишь.

Я вошла в дом, глотая слезы.

Когда Лайла сказала, что ничего не получается, квартира ей не нравится и она уедет на несколько недель домой, а потом переедет к своей новой подруге Моне, у меня случился настоящий шок. Я-то думала, мы всегда будем вместе: клоны.

— Элис, — сказала она, — у нас просто ничего не клеится. Я не могу беседовать на эту тему, как ты требуешь, и здесь я чувствую себя в изоляции.

Единственными, кто регулярно заходил к нам в дом, были Стив и Марк. Оба, хотя и старательно избегали друг друга, готовы были — можно сказать, горели желанием — нас охранять. Но они были моими друзьями — точнее, бойфрендами, — и Лайла это знала. Они приходили в первую очередь ради меня, то есть хотели помочь ей, чтобы мне стало легче. Ей нужно было определиться. Но до меня это дошло только сейчас. Тогда же я считала, что меня предали. Мы перебрали наши пластинки и другие вещи, которыми владели сообща в течение двух с лишним лет. У меня текли слезы; если ей хотелось взять что-то себе, я отдавала. Отдавала и то, что она не просила. Себе оставляла какие-то мелочи, чтобы отметить ими новое место жительства. Смогу ли я когда-нибудь вернуться туда, где была раньше? Туда, где это случилось? Туда, где я была невинной? Первокурсницей? Восемнадцатилетней?

Иногда я думаю, что больнее всего меня укололо решение Лайлы перестать со мной разговаривать. Это означало полный разрыв отношений. Когда мне наконец удалось выведать через общих знакомых ее номер телефона, мои звонки оставались без ответа. Сталкиваясь со мной на улице, Лайла не говорила ни слова.

Я окликала ее по имени. Ноль эмоций. Я преграждала ей путь — она меня обходила. Если она была с подругой, они просто пялились на меня, кипя ненавистью, понять которую я была не в состоянии, из-за чего переживала еще острее. Я переехала к Марку. За четыре месяца до окончания университета. Никуда не выходила из его квартиры, кроме как на занятия. Он возил меня, куда требовалось, безропотно исполняя роль личного шофера, но большей частью вел себя отчужденно. Допоздна просиживал в архитектурной мастерской и нередко оставался там на ночь. Когда он бывал дома, я просила его, едва заслышав какой-нибудь звук, посмотреть, что там такое, проверить замки или просто обнять меня.

За неделю до выпуска я опять встретила Лайлу. Я была со Стивом Шерманом. Мы делали покупки в студенческом универмаге на Маршалл-стрит. Она увидела меня, я увидела ее, но она прошла мимо, не проронив ни слова.

— Просто не укладывается в голове, — сказала я Стиву. — У нас выпуск через неделю, а она меня не замечает.

— А тебе хочется с ней поговорить?

— И хочется, и колется. Даже не знаю, как подступиться.

Мы решили, что Стив останется там, где стоял, а я пойду по кругу в другую сторону.

Очень скоро мы с Лайлой встретились.

— Лайла, — окликнула я.

Она не удивилась:

— Я так и думала, что ты подойдешь.

— Почему ты со мной не разговариваешь?

— Мы разные, Элис, — сказала она. — Ты уж прости, если я тебя обидела, но мне нужно жить собственной жизнью.

— Вспомни: мы с тобой были клонами.

— Только на словах.

— Я никогда не была так близка ни с кем.

— У тебя есть Марк и Стив. Тебе мало?

После этого мы каким-то образом сумели пожелать друг другу приятного выпускного праздника. Я сказала, что мы со Стивом сейчас идем в ближайшее кафе выпить по бокалу «мимозы». [\[16\]](#)

— Может, и я там буду, — сказала она и ушла.

Я бросилась в книжный отдел, перед которым мы стояли, и купила ей сборник стихов Тэсс — «Напутствие двойнику». Тут же сделала дарственную надпись, сейчас уже не помню, какую именно. Что-то сентиментальное и от чистого сердца. Типа того, что я всегда ее жду, стоит только позвонить.

Мы действительно столкнулись у стойки бара. Она успела немного выпить; с ней был мальчик, в которого, как я знала, она была влюблена. Лайла отказалась посидеть с нами, но остановилась у нашего столика и завела речь о сексе. Она сказала мне, что начала предохраняться и что я была права: секс — это здорово. Теперь я была для нее только слушательницей, а не подругой и не родственной душой. Она была слишком поглощена тем же, чем и я: уверением всего света, что у нее все превосходно. Подарить ей книгу я забыла. Они ушли.

По пути домой мы со Стивом проходили мимо более шикарного злчного места, где тусовались студенты. Я увидела, что Лайла сидит со своим избранником и кучей незнакомых мне людей. Попросив Стива подождать, я влетела в кафе с книгой в руках. Все головы повернулись в мою сторону.

— Держи, — сказала я, протягивая подарок Лайле. — Это книга.

Ее друзья засмеялись: и так было видно, это книга.

— Спасибо, — сказала Лайла.

Подошла официантка, чтобы взять заказы.

— Там есть надпись, — сказала я.

Пока ее компания заказывала выпивку, Лайла смотрела на меня. Как мне показалось, с жалостью.

— Потом посмотрю. Еще раз спасибо. Наверное, хорошая книга.

Больше мы не встречались.

В день выпуска я передумала идти на торжественную церемонию. Не могла себе

представить, как буду праздновать и веселиться под взглядами Лайлы и ее подружек. Марк сдавал очередной проект. У него еще продолжались занятия. А Стив церемонию не пропустил. И Мэри-Элис тоже. Я еще раньше сказала родителям, что хочу убраться к чертям из Сиракьюса. Они согласились. «Чем скорее, тем лучше».

Я уложила оставшиеся вещички во взятый напрокат серебристый «крайслер нью-йоркер» — автомобили поменьше уже разобрали. На нем и поехала в Паоли, зная, что родители будут помирать со смеху.

Сиракьюс остался позади. С избавлением, сказала я себе. Осенью мне предстояло ехать в хьюстонский университет. Я решила получить степень магистра поэзии. А до этого, в течение лета, создать себя заново. Хьюстон я еще не видела: никогда не бывала южнее Теннесси. Но там все будет по-другому. Изнасилование не будет следовать за мной по пятам.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Тот вечер, когда Джона отметелили, пришлось где-то на осень девяностого. Я стояла на Первой авеню, возле «Де Робертис», ожидая, когда Джон вернется с дешевым героином, которым баловались мы оба. У нас была такая договоренность: задержись он слишком долго, я поднимаю крик и бегу за ним. Заготовка невразумительная, однако она создавала иллюзию, что ситуация у нас под контролем. В тот вечер на улице было холодно. Правда, те дни сливаются воедино. В то время именно этого я и добивалась.

Годом раньше «Нью-Йорк таймс мэгезин» опубликовал мой материал — рассказ от первого лица о том, как меня изнасиловали. В нем я убеждала читателей говорить об изнасилованиях в открытую и выслушивать потерпевших, если тем необходимо выговориться. Мне прислали уйму писем. Я взяла в компанию бойфренда-грека, своего бывшего студента, и мы отметили это дело четырьмя дозами дешевой наркоты. Через пару дней позвонила Опра,^[17] которая тоже прочла мою статью. Она пригласила меня на свое ток-шоу. Я олицетворяла жертву, которая не сдалась. В студии была и другая участница, которая, насколько можно судить, повела себя иначе. Как было и с Лайлой, на лице Мишель не осталось видимых шрамов. Но я сомневаюсь, что Мишель каждый вечер спешила домой нюхать героин.

Мне так и не удалось получить магистерский диплом в Хьюстоне. Да, я не любила этот город, но, если честно, я для него и не годилась. Я спала со спортсменом-десятиборцем, с женщиной, покупала дурь у какого-то парня на задворках «7-11»^[18] и напивалась с очередным неудачником, который тоже вылетел из университета, — верзилкой из Вайоминга; временами, когда спортсмен меня обнимал или когда парень из Вайоминга усаживался поудобнее и пристально меня разглядывал, я начинала что-то истерически выкрикивать, причем сама не понимала, что именно. Я считала, что во всем виноват Хьюстон. Мне казалось, все дело в том, что приходится жить в жарком климате, где слишком много насекомых, а женщины ходят в рюшках и оборочках.

Я переехала в Нью-Йорк и сняла жилье в дешевом квартале на углу Десятой улицы и Централ-авеню, где селились представители национальных меньшинств. Моя соседка и квартирная хозяйка, пуэрториканка Зульма, вырастила здесь всех своих детей и теперь сдавала освободившиеся комнаты. Она частенько прикладывалась к бутылке.

Поработав на Манхэттене администратором зала в кафе под названием «Ля Фондю», я неожиданно получила (познакомившись с пьяным в баре «У Тутанхамона») преподавательскую работу в Хантер-колледже. Меня взяли на должность ассистента. Требуемых научных степеней и опыта работы (не считая годичной педагогической практики в Хьюстоне) у меня не было, однако приемная комиссия отдела кадров уже отчаялась хоть кого-нибудь найти, а в моем резюме значились громкие имена: Тесс Гэллагер, Раймонд Карвер. Во время собеседования у меня ушло минут пятнадцать, чтобы вспомнить значение термина «тезисный» в словосочетании «тезисное предложение», хотя это основа основ любого курса творческого письма. Когда председатель комиссии позвонил мне домой и Зульма позвала меня к телефону, моему изумлению не было границ: впервые в жизни от пьянства была такая польза!

Мои тамошние студенты поддерживали во мне жизнь. Я растворялась в них. Это были

иммигранты, представители национальных меньшинств, уличные ребята, путаны, ставшие на путь исправления, рабочие, бывшие алкоголики и наркоманы, родители-одиночки. Днем я выслушивала их признания, а вечером обдумывала, как помочь им найти себя. Я ладила с ними так, как не ладила никогда и ни с кем, даже до изнасилования. Моя собственная история бледнела по сравнению с тем, что выпало на их долю. Один из них шел по трупам своих соотечественников, чтобы убежать из Камбоджи. У другого прямо на глазах поставили к стенке и расстреляли родного брата. Третья в одиночку растила ребенка-инвалида на чаевые официантки. Встречались и рассказы об изнасилованиях. Одну девушку специально для этой цели удочерил священник. Другую изнасиловали в квартире сокурсника, а полиция ей не поверила. Третья, воинствующая лесбиянка, сплошь в татуировках, разрыдалась у меня в кабинете, когда стала рассказывать, как ее насиловали негодяи из уличной шайки.

Студенты, хочу верить, делились со мной потому, что я никогда ничего не выпытывала и полностью им доверяла. Кроме того, в их глазах у меня была безупречная репутация. Вне сомнения, на меня работал стереотип. Белая молодая женщина, представительница среднего класса. Преподавательница колледжа. Что могло с такой приключиться? А мне настолько хотелось забыться, что однобокий характер наших отношений меня не смущал. Я выслушивала их, как бармен выслушивает посетителей, и, как бармен, была отгорожена стойкой. Для них я была только слушательницей, но меня исцеляли трагические истории моих студентов. Во мне нарастал какой-то внутренний протест. Приготовившись говорить в открытую, я и написала статью для «Нью-Йорк таймс». Кое-кто из студентов ее прочел. Они были потрясены. Затем вышла программа Опри. Многие увидели на экране меня, свою преподавательницу английского, которая рассказывала о том, как была изнасилована. В последующие несколько недель я встречала на улице бывших студентов. «Надо же, кто бы мог подумать, что вы... — бормотали они, — ну, то есть... сами понимаете... потому что...» Конечно. Потому что белая. Потому что выросла в благополучном городке. Потому что подписала рассказ своим именем, а иначе он бы остался выдумкой, а не фактом.

Героин я любила. У спиртного имелись недостатки — слишком уж много требовалось в себя влить, чтобы погрузиться в забвение; к тому же мне были противны и вкусовые ощущения, и воспоминания, связанные с алкоголем: моя мать пила. А вот кокаин валил меня с ног. Однажды в клубе под названием «Пирамида» я рухнула на пол в паралитических судорогах. Растаманы и белые девицы танцевали вокруг моего скрюченного тела. Я повторила эксперимент с кокаином еще несколько раз, просто чтобы удостовериться. «Экстази», грибы, кислотные «путешествия»? Говорят, они обостряют чувства? Моей целью было избавиться от чувств раз и навсегда.

Меня заносило в самые неожиданные места. То на пустыри, то в глухие переулки, да что там — даже в Афины. Как-то вечером, очухавшись от кайфа, я обнаружила, что сижу в крошечной греческой таверне. На столе стояло блюдо мелкой серебристой рыбы. Двое парней подбирали хлебом масло с моей тарелки. Мы поехали в какой-то дом на холме. Краем уха я слышала имя моего студента-грека, но его самого там не было. Мы курили гашиш и время от времени выходили проветриться. Один парень куда-то исчез, другой захотел со мной переспать. Еще бы: ведь меня, ни много ни мало, показывали по американскому телевидению.

Все в том же доме, где в задней комнате ширялись вновь прибывшие гости, я закуталась в чью-то куртку, потому что замерзла. В кармане оказалась использованная игла. Она

впилаась мне в бок. На секунду меня охватил ужас, сразу вспомнился СПИД, но тут я сделала то, в чем уже стала крупным специалистом: просчитала свои шансы. Это же Греция. Какой тут может быть риск?

Ровно через месяц настало время возвращаться домой. Я написала для «Нью-Йорк таймс» путевые заметки, которые напечатали только весной, специально для отпускников. Пока материал не вышел, я успела еще раз слетать в Европу с другим бывшим студентом, Джоном. Они с приятелем доставали по блату, через какого-то родственника, дешевые билеты в Амстердам. Накурившись до одурения, мы поехали ночным поездом в Берлин. Как раз в то время рушилась Берлинская стена. Уже за полночь мы добрались до бетонной громады, разделявшей Восток и Запад. Джон и Киппи споро взялись за дело. Попросили лом у компании охрипших, ликующих немцев и работали по очереди. Я держалась особняком. Здесь была чужая страна, да к тому же я оказалась единственной женщиной среди множества мужчин. Ко мне подвалил какой-то немец, предложил сигарету, бутылку, что-то проговорил и ухватил меня за ягодицу. Сверху, со стены, равнодушно взирал пограничник из Восточной Германии.

Как раз после этого, в Нью-Йорке, Джону и вмазали. Помню, как он появился из-за угла. Отсутствовал дольше обычного. Вернулся без очков, из носа сочилась кровь. Он был подавлен.

— Не дали? — спросила я.

Он мотнул головой. Не произнес ни слова. Мы двинулись по тротуару.

— Дали. По морде.

От этих слов я вздрогнула, как тогда, уколовшись об иголку в Афинах. Выплыл вопрос: сколько же может длиться черная полоса? Я не хотела, чтобы Джон впредь рисковал в одиночку, и заявила об этом без обиняков. Без нужды он и не рисковал, но временами, когда на нас накатывала безнадега, все же уходил один.

Неприятности росли как снежный ком, а затем, весной девяносто первого, когда я только что переехала в квартиру на Седьмой улице, для меня прозвучал звонок. Со мной что-то было не так, но поди знай, что именно. Я валялась в постели. Много ела, чего со мной не бывало со времен колледжа, и носила старые фланелевые ночнушки. Коробки после переезда так и стояли нераспакованными. Джон работал до изнеможения. Рядом со мной ему теперь было неудобно. Когда он появлялся, я посылала его купить травки. Меня разнесло. Я перестала заботиться о том, как выгляжу и за какое время смогу доплестись до клуба, если по пути не делать передышку. Распускаться не хотелось, но я не знала, что с собой делать.

Как-то мне позвонил друг детства и рассказал, что меня цитировали в одной книге. Он стал врачом и работал в Бостоне. Мою статью, опубликованную в «Нью-Йорк таймс», цитировала доктор Джудит Льюис Герман в своей монографии «Травма и восстановление». Я над этим только посмеялась. Когда-то мне и самой хотелось написать книгу, но было ясно, что я не справлюсь. Теперь, через десять лет после изнасилования Лайлы, моя фамилия появилась в качестве сноски в чужой книге. Я подумывала ее купить, но книга оказалась в твердом переплете — дороговато, — и, кроме того, я посчитала, что воспоминаний с меня хватит.

Прошло еще полгода, и мы с Джоном перестали встречаться; я записалась в спортивный клуб и обратилась к врачам. Джон по-прежнему сидел на наркотиках. Иногда я так отчаянно скучала, что совершала унижительные поступки. Умоляла его вернуться. Я четко сознавала,

что он себя губит. Первая авеню стала для меня запретной чертой. Я не могла противиться притяжению моего старого района, и потому, когда подвернулся шанс провести пару месяцев в загородной творческой общине, я за него ухватилась.

Поселение «Дорленд маунтин артс колони», которое находится в горах сельской, фермерской Калифорнии, незамысловато по любым меркам. Домики выстроены из шлакоблоков и фанеры. Электричества нет. Бюджет у общины крошечный.

По приезде меня встретил человек по имени Роберт Уиллис. Боб. Он разменял восьмой десяток. Мне в глаза бросились его «рэнглеры», белая шляпа-стетсон и джинсовая рубашка. У него были серебристо-седые волосы, голубые глаза и дружелюбная манера держаться, однако говорил он мало.

Он зажег мою газовую лампу, зашел на следующий день удостовериться, что все в порядке, свозил меня в город за продуктами. Боб жил тут уже долгое время и видел, как люди приезжают и уезжают. Как ни странно, мы сдружились. Говорили о Нью-Йорке и о Франции. Боб провел там полгода, в похожей общине, на коневодческой ферме. В конце концов, у него в домике, после наступления темноты, при свете газовой лампы, я призналась ему, как меня и Лайлу изнасиловали. Он выслушал, произнес лишь несколько слов. «Досталось же тебе». «От такого невозможно оправиться».

Боб рассказал мне, как служил в пехоте во время Второй мировой войны и потерял всех своих однополчан. Прошли годы; зимой тысяча девятьсот девяносто третьего, во Франции, он выглянул из окна фермы и увидел дерево.

— Не знаю, что тогда случилось, — сказал он. — Я видел это дерево из окна сотни раз, но расплакался, как ребенок. Хочешь — верь, хочешь — нет: ревел, стоя на коленях. Глупо, конечно, но я не мог остановиться. Утирая слезы, я понял, что это из-за моих друзей: все потому, что я по-настоящему их не оплакал. Они все похоронены на кладбище в Италии, у такого же дерева, только далеко отсюда. Просто невозможно было сдержаться. Кто бы мог подумать, что прошлое может обладать такой силой?

Перед моим отъездом мы в последний раз вместе поужинали. Он приготовил блюдо, которое называл «овощи по-солдатски» — консервированные томаты с консервированной кукурузой, разогретые на огне, — и поджарил бекон. Мы пили дешевое вино и глотали дешевые «колёса».

Дорленд и при свете дня выглядел мрачновато. Ночью же в поселке царила непроглядная тьма, и только пара керосиновых или газовых ламп служила ориентиром на местности. После ужина, когда мы сидели у Боба на крыльце, вдали показался свет, который Боб принял за фары грузовика.

— Похоже, к нам гости, — произнес он.

Но тут огни погасли. Мы не слышали, чтобы работал двигатель.

— Подожди-ка здесь, — сказал мне Боб. — Пойду разберусь.

Он прошел в заднюю комнату и вытащил свою винтовку, которую прятал от чересчур нервных свободных художников и от властей Дорленда.

— Сделаю кружок по кустам и выйду на дорогу, — прошептал Боб.

— Сейчас выключу свет.

Замерев на крыльце, я напрягала слух, чтобы услышать хоть что-нибудь: шорох гравия под шинами, хруст сломанной ветки — что угодно. В моем воображении злоумышленники

из грузовика уже ранили или убили Боба, а теперь двигались к хижине. Но я же дала Бобу обещание. Ни под каким видом не трогаться с места.

Через несколько секунд мне послышался шум в листьях у дальней стены хижины. Я вздрогнула.

— Это я, — раздался из темноты шепот Боба. — Стой спокойно.

Мы стали следить за дорогой. Свет фар грузовика так и не показался вновь. Наконец Боб перелез через заросли карликового дуба вместе со своей верной лайкой Шейди, и мы опять зажгли газовую лампу. Наглотавшись «колёс», мы десять раз обсудили весь ход событий, поделились своими чувствами, поговорили об угрозе и о том, как ее почувствовать. Все-таки нам повезло: кто прошел через войну или изнасилование, тот приобрел неведомое другим шестое чувство, которое включается, когда мы чувствуем опасность, грозящую нам самим или тем, кого мы любим.

Я вернулась обратно в Нью-Йорк, но не в Ист-Виллидж. Слишком уж много воспоминаний. Мы с бойфрендом переехали на Сто шестую улицу, между Манхэттеном и Коламбусом.

Родители навестили меня всего дважды за десять лет. Увидев мою берлогу, мать бросила:

— Только не рассказывай, что хочешь провести так всю оставшуюся жизнь.

Она рассуждала о недвижимости, о полезной жилой площади, а я повторяла за ней, но слова приобретали для меня иной смысл.

Той осенью я завязала с героином. И потому, что достать дозу становилось все труднее, и в силу разных других причин. Я снова начала пить и курить, но ведь то же самое делали все вокруг. Потом купила книгу доктора Герман. Ее переиздали в мягкой обложке. Я рассудила, что надо бы иметь свидетельство того, что мое имя хоть раз, да упоминали в печати.

Герман выбрала одно предложение из моей статьи, чтобы использовать его в начале главы под названием «Разобщение». Предложение, в том виде, в каком оно было опубликовано в книге, таково: *«Когда меня изнасиловали, я лишилась девственности и чуть не лишилась жизни. Я также рассталась с некоторыми заблуждениями насчет того, как устроен мир и насколько он безопасен»*. Оно было напечатано на пятьдесят первой странице монографии в триста страниц. В книжном магазине, перед тем как приобрести книгу, я перечитала это предложение и свою фамилию. До меня дошло, только когда я возвращалась домой на метро: в книге под названием «Травма и восстановление» меня процитировали в первой половине. Я решила не просто сохранить эту книгу на память, но прочитать ее целиком.

Для них характерен не обычный «базовый» уровень бдительности, а ослабленное внимание. Вместе с тем они отличаются повышенным уровнем возбудимости: их организм постоянно находится в предчувствии опасности. У них также отмечается повышенная тревожность и обостренная реакция на неожиданные раздражители... Пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством труднее засыпают, более чувствительны к шуму и в течение ночи просыпаются чаще, чем здоровые люди. Таким образом, события, послужившие причиной травмы, перестраивают нервную систему человека.

С подобных абзацев начиналось наиболее захватывающее чтение, которое мне когда-

либо попадалось: я читала о самой себе. Я читала также и о ветеранах войны. К несчастью, мой мозг снова оказался перегружен. Я неделю провела в главном читальном зале нью-йоркской Публичной библиотеки, создавая сюжет романа, в котором посттравматический синдром использовался бы в качестве великого уравнивателя и собирал вместе женщин и мужчин, которые страдают одним и тем же расстройством. Но потом, уже прочитав добрую половину имевшихся материалов, я потеряла желание подвергать все это литературной обработке.

Там была подборка воспоминаний о Вьетнаме, которые я снова и снова перечитывала и сохранила на будущее. Каким-то образом чтение этих историй заново пробудило мои чувства. Одна из них — история героя войны — произвела на меня особое впечатление. Этот человек участвовал в кровопролитных боях, у него на глазах гибли его друзья. Он перенес это стоически. Прямо как Боб.

Ветеран с почестями вернулся домой, устроился на работу. А через пару лет сорвался. Что-то в нем надломилось. Он пошел вразнос. А потом стал по крупицам собирать в себе мужчину. Его исповедь прерывалась как раз на этапе нового становления. Он выжил и старался не сдаваться. Не принадлежа ни к одному вероисповеданию, я все же помолилась и за того ветерана, и за Боба.

Книгу Герман я прочла до конца. Волшебного исцеления не произошло, но начало было положено. Еще я посещала хорошего психотерапевта. На самом-то деле во время своих сеансов она давным-давно использовала термин «посттравматический стресс», но я только отмахивалась, посчитав это психологической заумью. Вот уж действительно, я всегда шла окольными путями: написала статью в газету, ее процитировали, я купила книгу и узнала себя в историях пациентов. У меня было посттравматическое стрессовое расстройство, но чтобы в это поверить, мне потребовалось дойти до всего своим умом.

Когда я жила на Сто шестой улице, мой бойфренд, бармен, работал допоздна, и я коротала вечера в одиночестве. Подолгу смотрела телевизор. Дом был старый, многоквартирный, в неблагополучном районе. Только такое жилье и можно было себе позволить в Нью-Йорке на зарплату рядового преподавателя. На окнах были решетки; едва ли не каждая ночь прошивалась строчкой выстрелов. Самой модной пушкой во всей округе тогда считался «Тех-9».

Однажды вечером я включила тостер и одновременно кофеварку. В квартире вылетели пробки. Электрощит находился в подвале. Чтобы туда попасть, мне пришлось бы выйти из дому и спуститься по темной лестнице. Я позвонила своему другу на работу. Он разговаривал со мной резко. К нему в бар только что ввалилась огромная толпа народу.

— От меня-то ты чего хочешь? Возьми фонарик да пойдешь вверни пробки — или сиди в темноте. Решай сама.

Мне стало стыдно за эту дурацкую беспомощность. И, чтобы вдохновить себя на подвиг, я воспользовалась «внутренним диалогом», которому обучилась на сеансах психотерапии. Было около одиннадцати вечера. Я сказала себе: это гораздо лучше, чем два часа ночи. Мягко выражаясь, внутренний диалог не имел успеха.

Вниз на два лестничных пролета, из подъезда на улицу, свернуть за угол, перелезть через кованые железные ворота, намертво запертые на ржавый замок, там спуститься по лестнице, включить фонарик. Найдя замочную скважину, я вставила в нее ключ и вошла внутрь. Задвинула щеколду изнутри и немного постояла, прислонившись к стене. Сердце

бешено колотилось. В глухом подвале царила непроглядная тьма. Луч моего фонарика метался по дальней стене, за которой находились комнаты, уходившие в глубь подвала. Я узнала вещи доминиканца, которого выселили пару месяцев назад. Услышала недовольный писк подвальных крыс, растревоженных светом. Соберись, приказала я себе, нащупала холодные фаянсовые пробки, а потом услышала шум. Я выключила фонарь.

Шум доносился снаружи. От входной двери. Люди. Вскоре, прислушавшись к смеси испанского с английским, я поняла, что мне придется какое-то время выждать. На расстоянии вытянутой руки от меня мужчина прижал женщину к двери. «Трахайся, сучка», — визгливо крикнул он. Я попятилась как можно дальше назад, но все же лучше было оставаться вблизи электрощитка, ради которого я сюда и пришла, чем углубляться в темные закоулки глухого подвала. Мой бойфренд рассказывал, что когда-то здесь жил племянник домовладелицы. Тот баловался крэком, и однажды ночью кто-то его пристрелил, высадив дверь.

— Бот почему она больше не сдает жилье доминиканцам, — объяснил мне бойфренд.

— Но ведь она же сама доминиканка.

— Да их тут фиг поймешь.

Снаружи парень пыхтел, а женщина не издавала ни звука. Потом эти двое закончили. И пошли прочь. Он бросил ей какое-то испанское ругательство и захохотал.

Только тут я позволила себе испугаться по-настоящему. Сменив пробки, стала убеждать себя вернуться в дом. Теперь мною двигали только соображения безопасности, а наверху, в стенах здания, опасностей было куда меньше, чем здесь, в пыли, в компании с крысами и призраком убитого наркомана, под дверью, у которой только что оттрахали женщину.

Я себя убедила.

Той ночью я приняла решение покинуть Нью-Йорк. Помню, где-то я читала, что многих ветеранов Вьетнама тянуло в места вроде гавайских деревень или непроходимых зарослей Флориды. Они воссоздавали для себя знакомую обстановку, которая больше отвечала их настроениям, чем благополучные пригородные дома, разбросанные по не столь цветущим и зеленым Соединенным Штатам. И я могла их понять.

Я всегда снимала жилье в неблагополучных районах и только раз поселилась в бруклинском Парк-Слоуп, но даже там, в квартире ниже этажом, обретался тип, который зверски избивал жену. Нью-Йорк для меня означал насилие. В жизни моих студентов, в жизни прохожих насилие стало обыденностью. Но это повсеместное насилие меня не отпугивало. Оно отвечало моему настроению. Мои поступки и мысли, моя повышенная бдительность и ночные кошмары — все это оказалось здесь вполне естественным. Что мне нравилось в Нью-Йорке — он не притворялся безопасным городом. Даже в самые лучшие дни жить там было — что в самом центре шумной перебранки. Выживание в таких условиях становилась знаком отличия, который носят с гордостью. Через пять лет зарабатываешь право хвастаться. После семи начинаешь вписываться. Я продержалась в Ист-Виллидж десять лет, превысила, считай, все лимиты — и ни с того ни с сего, к удивлению друзей и знакомых, уехала.

Я вернулась в Калифорнию. На время отъезда Боба заменила его в Дорленде. Жила в его домике, кормила собаку. Встречала колонистов и показывала им территорию, учила разводить огонь в дровяной плите и шутки ради запугивала полчищами кенгуровых крыс, горных львов и призраков, якобы наводняющих эти места. О себе почти ничего не рассказывала. Никто не знал, откуда я взялась.

Четвертого июля девяносто пятого года я работала над рассказом в своем домике. На улице было темно. Поселение опустело. Колонисты всем скопом уехали в город. Я осталась одна, если не считать Шейди. За последние два года, прошедшие после моего двухмесячного пребывания в Дорленде, я писала не так уж много. Уму непостижимо, почему мне потребовалось столько лет, чтобы разобраться в случившемся со мной и с Лайлой, но я начала смиряться с тем, что все вышло именно так. Приняв это как данность, я испытала чувство, которое не поддается описанию. Ад остался позади. Впереди была уйма времени.

Шейди вбежала в хижину и положила морду мне на колени. Она была напугана.

— Что случилось, девочка? — спросила я, поглаживая ее по голове.

Потом я тоже это услышала; звук напоминал гром, предвестье летней грозы.

— Давай-ка посмотрим, что там такое, — обратилась я к Шейди.

Схватив свой тяжелый черный фонарь, я погасила лампу.

С крыльца хорошо просматривались окрестности. Мне было видно, как из-за темного склона горы взметается фейерверк. Тогда я успокоила Шейди и села на стул.

Фейерверки полыхали долго. Шейди все держала голову у меня на коленях. Будь у меня бокал, я бы его подняла, но бокала под рукой не оказалось.

— Мы победили, девочка, — обратилась я к Шейди, почесывая ей бок. — Поздравляю с Днем независимости.

Наконец пришло время двигаться дальше. За сутки до отъезда из Дорленда я переспала с одним своим другом. У меня больше года не было секса. Добровольный обет безбрачия.

Секс той ночью вышел непродолжительным и неловким. Перед этим мы съездили в город поужинать, выпили по стакану вина. В свете керосиновой лампы я сосредоточилась на лице своего друга, отмечая, насколько он не похож на насильника. Позднее, находясь в разных концах страны и болтая по телефону, мы сошлись во мнении, что в той близости присутствовало нечто особенное. «Почти как с девственницей, — сказал он. — Словно у тебя это было в первый раз».

С одной стороны, так оно и было, с другой — такого быть не могло. Однако прошло время, и теперь я живу в мире, где сосуществуют две истины; где ад и надежда рядом лежат у меня на ладони.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Слово «счастливая» в сжатом виде передает идею о том, что мне достался подарок судьбы. Подарком судьбы стали те, кто вошел в мою жизнь.

Глен Дэвид Голд, мой любимый и единственный.

Эйми Бендер и Кэтрин Четкович, милые мои кариатиды. Замечательные литераторы, замечательные читательницы, замечательные подруги.

Настоящий мастер, Джеффри Вульф, который, увидев первые сорок страниц, произнес: «Ты должна написать эту книгу» — и стал читать дальше с ручкой наготове.

Посол Уилтон Бернхардт, который в самые темные и ужаснее для меня времена сказал: «Пришли мне эту книгу, черт побери! Я передам ее своему агенту».

Гейл Юбельхоэр. По прошествии пятнадцати лет она ни разу не дрогнула. Ее помощь в сборе материалов сделала возможным написание этих страниц.

Пэт Макдональд. Все началось на тринадцатом этаже.

Эмиль Жарро. В ходе работы над книгой именно он доводил до моего сознания, что такое настоящие муки. Делал он это примерно так: «Как хочешь, выдай еще три реплики!»

Нэтомби, моя морщинистая муза. По утрам она несла вахту на коврике у моих ног, не претендуя на прогулки, которые так любила.

Эйтне Керр. Храбрая.

Я также хочу поблагодарить учреждения, благодаря которым у меня имелась еда на столе и бесценное время: Хантер и «FIND/SVP» в Нью-Йорке, Художественную колонию имени Миллей, фонд Регдейл, а особенно — колонию искусств Дорленд Маунтин и программу по подготовке магистров изящных искусств в Калифорнийском университете, город Ирвин.

Благодарю моего агента, Генри Даноу, потому что даже после сорока минут восхвалений в мой адрес я все еще думала, что он собирается мне отказать, и еще потому что, когда я ему об этом рассказала, он понял мои чувства.

Спасибо Джейн Розенман, моему издателю. Я надеюсь, что еще много-много лет буду в благодарности оставлять на ее туфлях следы губной помады.

Благодарю тех моих друзей, которые появляются на этих страницах, и тех немногих, кого там нет: это Джудит Гроссман, Дж.-Д. Кинг, Мишель Латьоле, Деннис Паоли, Орре Перлмен и Ариэль Рид. Ваша поддержка переполняет меня признательностью.

Спасибо моей сестре Мэри и моему отцу за то, что они разделяли мою публичность и поддерживали во мне боевой дух. Они никогда не считали, что нужно выкладывать всю свою подноготную, но тем не менее позволили мне выложить очень многое.

Наконец, я просто обязана высказать бесконечную благодарность своей матери. Она была моей героиней, моим спарринг-партнером, моим вдохновением, моим стимулом. С самого начала — я имею в виду рождение — она верила. Нелегкий путь, мама. Вот он, здесь.

Фейхоо-и-Монтенегро, Бенито Жеронимо (1676–1764) испанский ученый, литератор и философ.

«Робкий цыпленок» и «Капли дождя все падают и падают мне на голову» (англ.).

Этель Мерман (1909–1984) — американская певица и актриса, звезда бродвейских мюзиклов.

Вышедший в 1979 г. фильм-биография Дженис Джоуплин (выведенной там под именем Мэри Роуз Фостер) с Бетт Мидлер в главной роли.

Либераче, Владзиу Валентино (1919–1987) — популярный американский пианист.

В 20-х гг. XX века обеденный клуб «Круглый стол» располагался в Розовом зале отеля «Алгонкин». Членами этого клуба были видные литераторы (Дороти Паркер, Роберт Бенчли, Гарольд Росс и др.), усилиями которых был создан журнал «Нью-Йоркер».

«Только факты, мэм» — излюбленная фраза сержанта Джо Фрайди, одного из главных героев теле- и радиосериала 1960-х гг. о буднях полиции Лос-Анджелеса.

«Убийца-психопат» (англ.).

Тобиас Джонатан Анселл Вульф (р. 1945) — известный американский писатель и мемуарист, лауреат премии им. Фолкнера за повесть «Казарменный вор» (1984); по его автобиографии «Жизнь этого мальчика» (1989) был снят фильм с Леонардо Дикаприо и Робертом Де Ниро. В Сиракьюсском университете преподавал в 1980–1997 гг.

Раймонд Карвер (1938–1988) — известный американский писатель, мастер короткой формы.

Одноименная книга доктора Гарновера; по сей день остается бестселлером.

Халиль Джибран (1883–1931) — американско-ливанский писатель, поэт, художник и мистик; его книга «Пророк» (выпущенный в 1923 г. сборник поэтических эссе) стала очень популярна в 1960-е гг.

Диана Вакоски (р. 1937) — видная американская поэтесса, примыкающая к исповедальной школе.

Джек Гилберт (р. 1925) — американский поэт; после успеха своего первого сборника «Виды на опасность» (1962) избегал публичности.

Филип Гласе (р. 1937) — известный американский композитор минималист.

Коктейль из шампанского с апельсиновым соком.

Опра Уинфри — известная американская телеведущая.

Сеть недорогих супермаркетов.